



Гравюра с портрета раб. М. Кантена де ля Тура (1780).

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

П. Р. ЗАБОРОВ

РУССКАЯ
ЛИТЕРАТУРА
— и —
ВОЛЬТЕР

XVIII—
ПЕРВАЯ ТРЕТЬ
XIX
ВЕКА



ЛЕНИНГРАД
«НАУКА»
Ленинградское отделение
1978

Ответственный редактор
академик М. П. АЛЕКСЕЕВ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Великий писатель и мыслитель, один из тех великих людей, «которые во Франции просвещали головы для приближавшейся революции» и «сами выступали крайне революционно»,¹ Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ, 1694—1778) был центральной фигурой, вождем своего века, наиболее полным и ярким его воплощением. Он был, говоря словами В. Гюго, «более чем человек — он был эпоха».

Вольтер был крупнейшим поэтом XVIII столетия — творцом национальной эпопеи, создателем самой замечательной из французских героико-комических поэм, автором поэм философских, стихотворных сказок, сатир, эпиграмм, од, посланий и всевозможных образцов легкой поэзии — мадригалов, надписей, экспромтов. Он был первым драматургом столетия: его перу принадлежало более пятидесяти драматических сочинений — трагедий, стихотворных и прозаических комедий, драм, оперных либретто и т. д., лучшие из которых сыграли исключительно важную роль в истории французского театра. Он был блестящим беллетристом и публицистом — автором знаменитых философских повестей, сказок, рассказов, памфлетов, диалогов, рассуждений, трактатов. Он был также одним из самых больших мастеров эпистолярного искусства: в грандиозном фонде его писем с необычайной рельефностью и полнотой отразилась вся его жизнь и жизнь его эпохи. Вольтер был выдающимся историком, который впервые внес, по определению Пушкина, «светильник философии в темные архивы истории» и ознаменовал своими многочисленными трудами новый этап в развитии европейской историографии. Он оставил отчетливый след в истории философской мысли XVIII в. и в истории науки. Наконец, Вольтер был неутомимым «практическим деятелем», смело выступавшим против злоупотреблений феодальной юстиции, против религиозного мракобесия и фанатизма.

¹ Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 189.

Поразительно разнообразное и вместе с тем на редкость цельное и целеустремленное творчество Вольтера, во всем его объеме и на всем протяжении подчиненное общественному служению, просветительским задачам, оказало огромное воздействие на его соотечественников — современников и потомков, ближайших и отдаленных, а также получило широчайшее распространение за пределами Франции.

Выдающееся место занимает Вольтер в истории русского общества и русской литературы. Знакомство с ним началось в 1730-е гг. Позднее, вследствие усиления в России просветительских тенденций, известность его необычайно возросла. Большое значение имело вольтеровское наследие и в последующий период. Даже в конце XVIII в., когда антипросветительское движение и правительственные гонения вызвали некоторый спад «вольтеризма», интерес к творчеству фернейского патриарха не исчезал, а с начала XIX в. он вновь утвердился на первом плане русской умственной жизни. Немалую роль сыграл Вольтер и в романтическую пору, сосуществуя в русской культуре с представителями европейского романтизма и его «предтечами». Дальнейшая же его судьба у нас была связана главным образом с русским освободительным движением, с русской общественной жизнью.

Наиболее важному с историко-литературной точки зрения первому столетию «русского Вольтера» и посвящена настоящая работа. При этом с максимальной тщательностью в ней прослеживалось, как правило, восприятие Вольтера-художника и лишь затем восприятие Вольтера — историка, публициста, философа и т. д. Впрочем, провести рубеж между различными аспектами вольтеровского наследия трудно — и вообще, и в каждом отдельном случае: «Философский словарь», например, находится на грани публицистики и беллетристической прозы, «История Карла XII» многими своими чертами напоминает роман, а «делкам и купчим», заключенным в переписке Вольтера с президентом де Броссом, «передана», по наблюдению Пушкина, «вся заманчивость остроумного памфлета».

Избранная тема привлекала к себе внимание с давних пор. Еще в середине прошлого века к ней обращался С. Д. Полторацкий, а позднее — Д. Д. Языков, А. П. Кадлубовский и В. В. Сиповский.

В советское время ряд существенных эпизодов из истории восприятия у нас вольтеровского творчества осветили М. П. Алексеев, В. С. Люблинский, Б. В. Томашевский, П. Н. Берков, И. М. Полонская и др. Несколько трудов на эту тему появилось за рубежом (Франция, Швейцария, ФРГ). Неоднократно делались также попытки проследить историю восприятия в России наследия Вольтера в целом, но все они сводились к характеристике лишь основных фактов этого рода, хотя круг этих фактов постепенно расширялся и в двух последних по времени очерках —

М. В. Нечкиной и С. Д. Артамонова² — достиг значительных размеров.

В отличие от указанных трудов данная работа задумана как обобщение всех сколько-нибудь интересных и важных сведений о судьбе Вольтера в русской литературе XVIII—первой трети XIX в. — и обнаруженных ранее отечественными и зарубежными исследователями, и никому не известных.

С этой целью было предпринято изучение рукописных библиографических материалов — «Азбучной росписи русским переводчикам Вольтера», составленной С. Д. Полторацким,³ и библиографии «Вольтер в России» П. А. Картавова,⁴ соответствующих разделов «картотеки» Н. Н. Бахтина (ПД) и «Картотеки переводов им. А. Д. Умикян» (ГПБ), — а также осуществлен систематический просмотр русской печати: книг, журналов и отчасти газет. Кроме того, производились поиски в крупнейших архивохранилищах Москвы и Ленинграда, где удалось обнаружить ряд рукописных переводов вольтеровских сочинений, не попавших в печать из-за цензурных затруднений, и множество списков с печатных изданий; благодаря этим спискам Вольтер проникал в наиболее демократические для того времени читательские круги.⁵

Однако главной задачей настоящей работы было осмысление выявленных фактов в тесной связи с эволюцией русского общества и русской литературы. Наметить основную периодизацию усвоения у нас Вольтера, выяснить его роль в общественно-литературном движении каждого из намеченных периодов, определить причину его созвучности русской литературе на различных этапах ее развития, уловить трансформацию его образа от

² Нечкина М. В. Вольтер и русское общество. — В кн.: Вольтер. Статьи и материалы. М.—Л., 1948, с. 59—93; Артамонов С. Д. Вольтер. М., 1954, с. 137—159.

³ ГПБ, ф. 603, № 7.

⁴ Там же, ф. 341, № 105—114.

⁵ На некоторые из этих материалов в разное время указывалось в печати. См., например: Строев П. М. Рукописи славянские и российские, принадлежавшие И. Н. Царскому. М., 1848, с. 103; Отчет по Отделению рукописей Московского Публичного и Румянцевского музея за 1879—1882 гг. — ЖМНП, 1884, с. 24, 29; Отчет Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1883—1885 гг. М., 1886, с. 33; Пыпин А. Н. Для любителей книжной старины. Библиографический список рукописных романов, повестей, сказок, поэм и пр., в особенности из первой половины XVIII в. — В кн.: Сборник общества любителей российской словесности на 1891 г. М., 1891, с. 216, 244, 245, 546, 547; Перетц В. Н. Описание собрания рукописей проф. И. А. Шляпкина. — Археогр. ежегодник за 1959 г., 1961, с. 374; Описание рукописей Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского, вып. 13. Казань, 1963, с. 29; Путеводитель по фондам личного происхождения Отдела письменных источников Государственного Исторического музея. М., 1967, с. 23, 280; Новые поступления в Отдел рукописей ГПБ. (1952—1966). Краткий отчет. М., 1968, с. 100; Описание Рукописного отделения Библиотеки Академии наук СССР, т. 3, вып. 3. Исторические сборники XVIII—XIX вв. Л., 1971, с. 93, 323.

эпохи к эпохе — иными словами, обнаружить некоторые существенные закономерности этого сложного процесса — необходимо и важно для лучшего понимания мирового значения Вольтера и в такой же мере для более глубокого постижения русской литературы, которой французский писатель служил неоскудевавшим источником обогащения и воодушевляющим примером.

Восприятие какого-либо писателя в иноязычной стране складывается из нескольких компонентов. Это знакомство с ним в оригинале; перевод, с помощью которого совершается приобщение к его творчеству преобладающего большинства читателей; критическая интерпретация; подражание ему и творческое претворение его открытий и заветов; полемика с ним (явная и скрытая), а для драматургов еще и сценическое воплощение его произведений. В данной работе уделено внимание всем перечисленным компонентам, но распределяется оно неравномерно, в зависимости от своеобразия изучаемой эпохи.

Что же касается подражаний Вольтеру и его воздействию на творчество русских писателей, то подобные явления привлекались с большой осторожностью. В русской литературе XVIII—первой трети XIX в. было немало всевозможных подражаний Вольтеру в стихах и в прозе, однако еще больше было в ней точек зрения, настроений, мотивов, художественных решений, которые в одинаковой степени могли восходить и к самому Вольтеру, и к его единомышленникам, и не иметь иностранного источника вообще. Вольтеровское воздействие в русской литературе — факт неоспоримый, но считать, например, едва ли не всякого русского рационалиста, деиста, антиклерикала, проповедника религиозной терпимости и защитника страждущих непременно последователем и тем более простым подражателем Вольтера (как это иногда делалось) было бы неправомочно.

Почти не рассмотрено в данной работе русское вольтерьянство в широком смысле слова — явление по преимуществу идеологическое и социально-бытовое: и в XVIII столетии, и позднее к «вольтерианцам» у нас обычно причисляли не столько почитателей и сторонников фёрнейского мудреца, сколько людей определенного образа мыслей, мироощущения и поведения — вольнодумцев, безбожников, скептиков, себялюбцев, эпикурейцев и т. п. Наконец, не получили освещения эпистолярные и личные связи с Вольтером русских людей, изученные с исключительной обстоятельностью и полнотой.

Существует и ряд иных вопросов, относящихся к теме данного исследования, но не затронутых в предлагаемой книге. Исчерпывающая история «русского Вольтера» указанного периода (и в целом) — дело будущего. Она потребует еще многих и разнообразных усилий историков отечественной культуры,

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ



I

Первым русским писателем, обратившим внимание на творчество Вольтера, был В. К. Тредиаковский. В 1735 г. в «Эпистоле от российского поэзии к Аполлину» он упомянул сравнительно молодого еще тогда поэта наряду с великими галлами — Корнелем, Расином, Мольером и Буало:

Молодой хоть в них Волтер, но весьма чист в слоге.¹

Впрочем, интерес к Вольтеру, по всей вероятности, возник у Тредиаковского раньше, в период пребывания во Франции, и, возможно, не без влияния его французского «приятеля» — аббата Г. Жирара, видного грамматиста и критика вольтеровского «Эдипа».²

Первым же русским переводчиком Вольтера был, как известно, А. Д. Кантемир. Один из образованнейших людей своего времени, владевший многими иностранными языками, он внимательно следил за современной западноевропейской литературой. С рядом иностранных писателей Кантемира связывало и личное знакомство: последние двенадцать лет его жизни прошли в Лондоне и Париже, где он находился в качестве русского дипломатического представителя («резидента»).³

Вольтер не принадлежал к числу друзей русского поэта. Высказывания о нем Кантемира свидетельствуют скорее об обратном. Еще в начале 1730-х гг., — возможно, под воздействием Паоло Ролли, автора полемических «Замечаний», направленных

¹ Тредиаковский В. К. Новый и краткий способ к сложению российских стихов. СПб., 1735, с. 38.

² См.: Berkov P. N. Des relations littéraires franco-russes entre 1720 et 1730. Trediakovskij et l'abbé Girard. — Rev. des études slaves, 1958, t. 35, p. 7—14; Mazon A. L'abbé Girard grammairien et russisant. — Ibid., p. 15—56.

³ См.: Александренко В. Н. Русские дипломатические агенты в Лондоне в XVIII веке, т. 1. Варшава, 1897; Ehrard M. Le prince Cantemir à Paris (1738—1744). Paris, 1938.

против «Опыта об эпической поэзии» Вольтера,⁴ — Кантемир весьма критически отозвался об «Истории Карла XII» и несколько позднее — о намерении Вольтера заняться философией Ньютона,⁵ а дошедшая до нас переписка Кантемира с Вольтером имеет характер ученый и деловой и выдержана в почтительных, но далеко не дружеских тонах.⁶

И тем не менее Кантемир не смог равнодушно пройти мимо такого поэта как Вольтер. На это указывает и наличие в его библиотеке (помимо «Истории Карла XII» и «Основ философии Ньютона») Собрания сочинений Вольтера 1740 г., а также трагедии «Меропа»,⁷ и в особенности — сделанный им незадолго до смерти перевод на русский язык стихотворения «Два рода любви».

Впервые это стихотворение появилось в 1725 г. в «Mercure de France», а затем неоднократно перепечатывалось. Вошло оно и в упомянутое Собрание сочинений Вольтера, где его и обнаружил Кантемир, по-видимому с сочувствием относившийся к галантному жанру и, кстати, сам отдавший ему дань сочинением мадригала на французском языке.⁸ В письме из Парижа к гр. М. Л. Воронцову от 6 (17) октября 1743 г. он «для забавы» своего покровителя привел текст этих «изрядных стишков» и их поэтический перевод под названием «Стихи Вольтеровы о двух любях к госпоже де***» (т. е. маркизе де Рюпельмонд).⁹ Правда, по сообщению комментатора, «стихи эти приложены на особом листке и не рукою князя Кантемира». Но в его эпистолярной практике это случай нередкий, а кроме того, о принадлежности перевода Кантемиру убедительно свидетельствует его стихотворный размер.

Десятисложник Вольтера передан в переводе Кантемира с помощью тринадцатисложного силлабического стиха, которым написаны все его сатиры, «Петрида», басни и т. д. Более того, самое построение каждого стиха в точности соответствует правилу, изложенному им в «Письме Харитона Макентина» (1743). По мысли Кантемира, стих состоит из двух полустипий, причем первое непременно должно иметь или мужское, или дактили-

⁴ См.: Boss V. Kantemir and Rolli-Milton's «Il Paradiso perduto». — Slavic Rev., 1962, vol. 21, № 3, p. 446—447.

⁵ См.: Grasshoff H. A. D. Kantemir und Westeuropa. Berlin, 1966, S. 193—195; Прийма Ф. Я. Антиох Кантемир и его французские литературные связи. — В кн.: Прийма Ф. Я. Русская литература на Западе. Статьи и размышления. Л., 1970, с. 22—36.

⁶ См.: Voltaire's Correspondence, vol. 9, № 1845, 1893. — Здесь и далее ссылки на переписку Вольтера даются по изд.: Voltaire's Correspondence ed. by Theodore Besterman. Vol. 1—107. Les Délices—Genève, 1953—1965.

⁷ См.: Александренко В. Н. К биографии кн. Кантемира. — Варш. унив. изв., 1896, вып. 3, № 575, 684, 693, 723.

⁸ Об этом см.: Lozinskij G. Le prince Antioche Cantemir, poète français. — Rev. des études slaves, 1925, t. 5, fasc. 3—4, p. 238—243.

⁹ Архив кн. Воронцова, кн. 1. М., 1870, с. 370—372.

ческое окончание.¹⁰ В последний период своей жизни Кантемир следует этому правилу с большой тщательностью. Исходя из этой точки зрения, он перерабатывает стихи, написанные ранее, и создает новые, среди которых и перевод стихотворения о «двух любях». Что же касается соотношения перевода с подлинником, то, за исключением нескольких деталей, он довольно точен. Лишь последнее двустопное, весьма лаконичное у Вольтера, передано Кантемиром несколько тяжеловесно, с добавлением «от себя» двух объяснительных строк.

Перевод Кантемира предназначался для одного человека и в лучшем случае мог стать достоянием узкого круга людей. Но его историко-литературное значение несомненно: то была первая и в целом удачная попытка «преложить» на русский язык одно из сочинений «господина де Вольтера».

Автором другого раннего стихотворного перевода был М. В. Ломоносов. «Волтерова муза» и самая личность его не вызывали особой симпатии русского поэта. Однако за творчеством Вольтера он внимательно следил. Так, несколько вольтеровских сочинений фигурирует в двух из четырех дошедших до нас списков книг, составленных Ломоносовым; по крайней мере одно из названных там произведений (комедия «La femme qui a raison») находилось в его личной библиотеке; на Вольтера Ломоносов ссылался в «127 заметках по физике»¹¹ и т. д.

Характерным свидетельством этого настороженного, подчас смешанного с раздражением и даже возмущением интереса к Вольтеру является отзыв Ломоносова (в письме И. И. Шувалову от 3 октября 1752 г.) о его стихотворном послании кардиналу Джироламо Квирини, незадолго до того появившемся в свет.¹² «Не могу преминуть, — писал он, — чтоб вашему превосходительству не прислать Волтеровой музы нового исчадия, которое объявляет, что он и его государь безбожник, и то ему в похвалу приписать не стыдится перед всем светом. Приличнее примера нагги во всех Волтеровых сочинениях невозможно, где бы виднее было его полоумное остроумие, бесовестная честность и ругательная хвала, как в сей панегирической пасквиле, которую на ваше пронизательное рассуждение отдаю, с глубоким почитанием непременно пребываю вашего превосходительства всепокорнейший слуга Михайло Ломоносов».¹³

¹⁰ См.: Кантемир А. Д. Собр. стихотворений. Л., 1956, с. 414—415, 439—441.

¹¹ См.: Коровин Г. М. Библиотека Ломоносова. М.—Л., 1961, с. 134—135, 343—344, 428—431.

¹² В первой публикации письма (Материалы для истории русского образования. СПб., 1862, с. 23) и при его перепечатке в десятитомном Полном собрании сочинений Ломоносова (М.—Л., 1950—1959; т. 10, с. 810) слова эти ошибочно отнесены к стихотворению «Au roi de Prusse» («On dit que tout prédicateur...»).

¹³ Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. 10, с. 473—474.

Неприязнь Ломоносова обнаруживается здесь с предельной ясностью. Но вместе с тем весьма показательно упоминание обо «всех Вольтеровых сочинениях». Разумеется, это не означает знакомства Ломоносова со всем, что к тому времени вышло из-под пера Вольтера, но, по-видимому, он действительно знал многое, причем источником его осведомленности были как печатные издания, так и списки, имевшие широкое распространение на протяжении всего XVIII в. К списку восходил и единственный перевод Ломоносова из Вольтера.

Речь идет о стихотворении «Прусскому королю» (1756). Произведение это долгое время оставалось неизданным, да и принадлежность его Вольтеру вызвала сомнения, чему в немалой степени способствовал сам поэт, всячески пытавшийся доказать свою полную непричастность к «кровавым стихам», направленным против его бывшего «покровителя» и «друга».¹⁴ Но несмотря на все старания современники неизменно связывали стихотворение с именем Вольтера. Во всяком случае, когда М. Л. Воронцов, посылая перевод Ломоносова в Париж Ф. Д. Бехтеву, поинтересовался (в письме от 21 декабря 1756 г.), является ли Вольтер автором этих стихов,¹⁵ тот ответил весьма решительно: «Оные действительно сим славным стихотворцем сочинены, и мы их здесь уже с полтора месяца имеем».¹⁶

Стихотворение Вольтера сразу же стало известно в Петербурге, и вскоре к нему обратился Ломоносов. При переводе русский поэт стремился по возможности точно следовать оригиналу. Скорее всего, он в основном был согласен с Вольтером и рассматривал это «преложение» как свой ответ на вероломство Фридриха II, как выражение собственных патриотических чувств.¹⁷ По всей вероятности, именно так стихотворение и было воспринято в русских читательских кругах, где оно, подобно оригиналу во Франции, распространялось в списках — очевидно, не без успеха. Не случайно, что М. Л. Воронцов столь поспешно сообщил ломоносовский перевод в Париж.

Заключительная «встреча» писателей состоялась позднее, в связи с работой Вольтера над «Историей Российской империи при Петре Великом». Начиная с 1757 г. Ломоносов деятельно участвовал в подготовке материалов по истории и географии России, которые затем при содействии И. И. Шувалова пересылались Вольтеру.¹⁸ В числе других он высказал также немало

¹⁴ См.: Voltaire's Correspondence, vol. 30, № 6361, 6374, 6375.

¹⁵ Архив кн. Воронцова, кн. 33. М., 1887, с. 212.

¹⁶ Там же, кн. 3. М., 1871, с. 237. — Еще об одном свидетельстве интереса русских людей 1750-х гг. к Вольтеру см.: Русско-европейские литературные связи. Л., 1966, с. 97—98.

¹⁷ Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. 8, с. 615—617, 1059.

¹⁸ Показательно, что к этому периоду относится рекомендация Ломоносова (в проекте регламента Академической гимназии) для овладения французским языком «читать и толковать... в стихах — Мольера, Расина и Вольтера» (Полн. собр. соч., т. 9, с. 495).

критических суждений о рукописи первого тома. Однако, воспользовавшись некоторыми из них, Вольтер, как известно, в целом отнесся к ним довольно пренебрежительно, что, конечно, не могло не обидеть Ломоносова.¹⁹ Более того, в его незавершенной поэме «Петр Великий» (по-видимому, создававшейся не без воздействия Вольтера — эпического поэта) присутствует скрытая, хотя и весьма отчетливая полемика с этим вольтеровским трудом.²⁰

Едва ли одобрял Ломоносов и другой, более ранний историографический труд Вольтера, посвященный шведскому королю Карлу XII, непримиримому врагу русского государства и Петра. Однако прямых его высказываний по этому поводу не известно. Что же касается вновь найденной недавно французской «рефутации» этого сочинения, в которой утверждалось, что «из всех иностранных писателей, когда-либо говоривших о Петре Великом, никто не изобразил его в столь мрачных тонах, как Вольтер», а сам Вольтер был назван «клеветником» и «борзописцем», то к Ломоносову она никакого отношения не имела. Прийти к подобной точке зрения могли в середине века многие русские люди.²¹

Такие настроения вполне отвечали и официальному взгляду на этот вольтеровский труд, в результате чего он не попал до конца столетия в печать. Но знакомство русских читателей с этой увлекательной биографией-романом все же состоялось, и притом весьма рано: анонимный рукописный перевод «Истории Карла XII» датируется 1746 годом. Не ослабел интерес к ней и позднее, что подтверждается множеством списков, относящихся к последней трети XVIII в.²²

В 1756—1759 гг. появились наконец и русские печатные переводы из Вольтера. Речь идет о трех его философских по-

¹⁹ См.: Шмурло Е. Ф. Петр Великий в оценке современников и потомства, вып. 1. СПб., 1912, с. 52—60, 68—83; Прийма Ф. Я. Ломоносов и «История Российской империи при Петре Великом» Вольтера. — В кн.: Прийма Ф. Я. Русская литература на Западе, с. 58—76.

²⁰ См.: Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. 8, с. 1130.

²¹ L'Apothéose de Pierre le Grand... Trois études historiques présumées de M. V. Lomonosov, destinées à Voltaire. Publ. d'après le manuscrit de Prague avec une Introd. sur les relations de Lomonosov et Voltaire, par V. Cerny. Prague, 1964, p. 109—146. — Атрибуция В. Черным этого, равно как и двух других обнаруженных им в Праге текстов Ломоносову не выдерживает критики. В ходе развернувшейся в связи с «пражской находкой» дискуссии наиболее убедительную атрибуцию предложил П. Н. Берков: по его мнению, автором их был П. А. Левашев (Степанов В. П. О пражской находке проф. В. Черного. — Рус. лит., 1964, № 2, с. 214—216). См. также: Hoffmann P. Lomonosov und Voltaire. — In: Studien zur Geschichte der russischen Literatur des 18. Jahrhunderts, Bd 3. Berlin, 1968, S. 417—425.

²² См., например: ГПБ, собр. Н. М. Михайловского, № 151-F; ф. 905, НСРК, 1921, 54 (1—2)-F; ф. 341, № 417; ф. 777, № 688; ГБЛ, ф. 218, № 699; ГИМ, ф. 1, № 263; БАН, осян. собр., 31.6.I; ЦГАДА, ф. 181, оп. 1, ч. 1, № 615/866.

вестях, увидевших свет на страницах «Ежемесячных сочинений» — первого академического журнала, рассчитанного на сравнительно широкий читательский круг.²³

Раньше других был напечатан перевод «Микромегаса», автором которого иногда называют А. Р. Воронцова.²⁴ Сходство этого перевода — по языку и манере — и перевода вольтеровского «Мемнона», опубликованного несколько позднее с прозрачной криптонимической подписью А. В., отчасти подтверждает эту мысль, но для окончательного решения вопроса недостает более точных данных. Впрочем, кто бы ни был автором этого перевода, его одаренность несомненна: им удачно переданы не только многие смысловые нюансы, но и некоторые особенности вольтеровского стиля.

Наибольшую трудность для переводчика представляла французская естественнонаучная терминология, которой обильно уснащена и авторская речь, и речь обоих «космических» героев. Правда, в ряде случаев он мог опереться на сложившуюся или, точнее, складывавшуюся тогда традицию, у истоков которой стоял Ломоносов.²⁵ Однако далеко не каждый встретившийся у Вольтера термин был переводчику понятен, и тем более не всегда ему был известен его русский эквивалент. Поэтому термины, переведенные до него, он подчас переводил заново — с большим или меньшим успехом. По-видимому, сколько-нибудь ощутимых результатов это словотворчество не принесло, но самый эпизод весьма показателен: поиски переводчика свидетельствовали о неустойчивости русской научной терминологии тех лет и в равной мере о настоятельной потребности, которая в ней ощущалась в связи с развитием отечественной науки и литературы.

Что же касается «исправлений» вольтеровского текста, то их в переводе было сравнительно немного. Примером сознательного смягчения подлинника может служить замена лаконичного, но достаточно резкого выпада французского писателя против ненавистных ему инквизиторов порицанием обскурантизма вообще. Впро-

²³ На протяжении 1755 г. сведения о Вольтере — о его давних и новых произведениях, о его эстетических принципах, о его участии в современных общественно-литературных спорах — сообщал своим немногочисленным читателям петербургский журнал на французском языке «Le Caméléon littéraire», издававшийся Т.-А. Чуди (кавалером де Люсси). См.: *Le Caméléon littéraire*, 1755, т. 1, р. 3—5, 36, 38—44, 129—131, 167—176, 222—229; т. 2, р. 305—306, 407; т. 3, р. 599, 649; т. 4, р. 917—922, 1117—1131. — Об этом журнале см.: Попова М. Н. Теодор-Генрих Чуди и основанный им в 1755 г. журнал «Le Caméléon littéraire». — Изв. АН СССР, 1929. Сер. 7, № 1 (отд. гуманит. наук), с. 17—48.

²⁴ Ежемесячные сочинения, 1756, янв. с. 31—61. — См.: Берков П. Н. История русской журналистики XVIII века. М.—Л., 1952, с. 118.

²⁵ См.: Бурдия С. М. Роль М. В. Ломоносова в создании русской естественнонаучной терминологии. — В кн.: Филологический сборник, вып. 2. Ташкент, 1954, с. 49—154.

чем, не исключена возможность, что переводчика смутило самое слово «inquisiteur», которое он затруднялся точно передать.

Три месяца спустя в «Ежемесячных сочинениях» появился новый перевод из Вольтера — «Мемнон, желающий быть разумным», — принадлежавший юному А. Р. Воронцову, впоследствии видному государственному деятелю, другу и покровителю Радищева.²⁶ В этом переводе, в общем очень точном и гладком, обнаруживается вместе с тем и весьма характерное для русской переводческой практики XVIII в. стремление очистить текст от двусмысленностей, фривольных описаний и сомнительных намеков — стремление, в какой-то мере обусловленное, конечно, и вмешательством цензуры. Так или иначе, но из «Мемнона» были изъяты едва ли не все «безнравственные» места: рассуждение героя о женщинах, некоторые детали свидания Мемнона с дамой и даже намек на дурные болезни, как тогда считалось — завезенные в Европу из Америки.²⁷

Все эти тенденции проявились и в анонимном переводе «Задига» (1759).²⁸ Подобно «Микромегасу», но в значительно большей мере повесть эта подверглась сокращению, что объяснялось желанием освободить ее от «бесполезных» длиннот, но чаще соображениями «нравственного» характера. По этой причине, например, сильно пострадала подробно рассказанная у Вольтера история оболыщения престарелых жрецов молодой вдовой по имени Альмона, посвященная главным образом описанию ее прелестей, а фраза «Cador appaisa l'affaire par le moyen d'une fille d'honneur à laquelle il avait fait un enfant et qui avait beaucoup de crédit dans le collège des mages» звучала так: «... Кадор, друг Задигов, вывел его из напасти чрез предстательство брата своего, который был в числе жрецов».

Между тем одну замену переводчик произвел из опасений явно иного рода. Слова «Le grand-veneur et le premier eunuque ne doutèrent pas que Zadig n'eût volé le cheval du roi et la chienne de la reine; ils le firent conduire devant l'assemblée de grand Desterham, qui le condamna au knout et à passer le reste de ses jours en Sibérie», вызывавшие у русского читателя особенно мрачные ассоциации, в переводе отчасти утратили свою пугающую конкретность: «Кониюший и главный евнух не сомневались в том, чтоб Задиг не украл королевскую лошадь и королевскую сучку. Они велели его отвести в собрание великого Дестергама, где осудили его высечь кнутом и вечно сослать в ссылку». Некоторых же

²⁶ Ср. автобиографическое «показание» А. Р. Воронцова: «... à 12 ans j'étois familiarisé avec Voltaire, Racine, Corneille, Boileau et d'autres littérateurs français» (Архив кн. Воронцова, кн. 5, ч. 1. М., 1872, с. 13).

²⁷ См.: Ежемесячные сочинения, 1756, апр., с. 330—338.

²⁸ Переводы и сочинения, к пользе и увеселению служащие (такое название было дано «Ежемесячным сочинениям» с 1758 г.), 1759, янв., с. 58—71; февр., с. 152—167; март, с. 226—242; апр., с. 337—351; май, с. 446—469; июнь, с. 503—525.

слов он по недостатку осведомленности не понял и перевел их описательно («épagneule très petite» — «невеличка», «maison de ville» — «собрание главного правления», «cirque» — «округ») или совсем опустил («théurgite», «gangaride», «judiciaire» и т. п.).²⁹

Таким образом, трансформация, которую под пером русских переводчиков в силу тех или иных причин претерпела во второй половине 1750-х гг. философская повесть Вольтера, была довольно значительной. Уничтожение «длиннот», замены, сделанные в нравственных и политических целях, сознательное и невольное исправление слов и выражений, неточности и даже грубые ошибки — все это, разумеется, искажало вольтеровский текст. Однако это по преимуществу касалось лишь частных и основного звучания произведений не нарушало. При всех погрешностях переводы, опубликованные в «Ежемесячных сочинениях» и их продолжении, давали сравнительно верное представление об этих замечательных образцах просветительской беллетристики, в которых обсуждались злободневнейшие вопросы современной общественной жизни. Не случайно, что вскоре одна из этих повестей была переведена повторно А. П. Сумароковым и напечатана в его журнале «Трудолюбивая пчела».³⁰

Перевод Сумарокова назывался «Пришествие на нашу землю и пребывание на ней Микромегаса. Из сочинений г. Вольтера». Уже в самом этом заглавии содержался своего рода вызов: с первых же строк подчеркивалась полная независимость «преложения» Сумарокова от перевода «Ежемесячных сочинений». Так же поступал он и во многих других случаях, пренебрегая очевидными удачами предшественника ради сохранения или, быть может, демонстрации собственной самостоятельности. Более того, во вводной заметке Сумароков не только поспешил сообщить читателям, что «сей перевод учинен того перевода прежде, который внесен в „Академические издания“», но и весьма прозрачно намекнул, что предшественник использовал его перевод.³¹

Однако это едва ли справедливо. «Гораздо близкое сходство» переводов, о котором писал Сумароков, было скорее плодом его воображения, чем реальным фактом. Между тем их различия не вызывают сомнений. В то время как в переводе 1756 г. было сде-

²⁹ Список с этого перевода, сделанный в ноябре 1761 г., см.: ЦГАДА, ф. 181, оп. 1, ч. 1, № 653/1165 («Книга» принадлежала сержанту Семеновского полка Н. С. Бердяеву). Одновременно в списках распространялся другой — несравненно более архаичный по манере и языку — перевод «Задига», выполненный не позднее 1757 г.: «Зади, или Судбина». См.: ГПБ, ф. 341, № 415; ГБЛ, ф. 7, № 74.

³⁰ Трудолюбивая пчела, 1759, авг., с. 455—475.

³¹ Сумароков А. П. Полн. собр. всех соч. в стихах и прозе. Изд. 2-е. Ч. 9. М., 1787, с. 258. (В дальнейшем — ПСВС).

Задигъ
или
судьбы
Восточная историческая

переведена
с французскаго языка

Остияскаго цеся Александръ
Григорьевъ 1757 г. августа

«Задиг» Вольтера. Анонимный перевод.
Заглавный лист списка 1757 г. ГЛБ.

лано лишь несколько небольших сокращений, Сумароков почти полностью изъясил из вольтеровской повести три первые главы, попутно уничтожив и самое деление на главы, в известной степени теперь утратившее смысл. Перевод изобилует тяжеловесными оборотами и ошибками, которые кажутся нарочитыми, поскольку автору уже существовавшего перевода их, в основном, удалось избежать. Лишь в одном отношении эта демонстративная независимость оказалась плодотворной: более чуткий, нежели его предшественник, к сатирическому звучанию повести, Сумароков восстановил или, точнее, сохранил некоторые исчезнувшие в переводе 1756 г. «острые» места. Это прежде всего два антивоенных высказывания Вольтера (перевод Сумарокова появился в разгар Семилетней войны) — о битвах, «где победа сводится к захвату двух деревушек, которые тотчас же приходится снова отдать врагу», и «бесчеловечных сиднях», которые, «не выходя из своих кабинетов, отдают в часы пищеварения приказ об убийстве миллионов людей и потом заставляют торжественно благодарить за это бога». Последнюю фразу Сумароков понял по-своему и придал ей отсутствующий у Вольтера неприличный оттенок.

Подобная смелость не означала, что «Трудолюбивая пчела» была свободна от цензурного надзора.³² Яростное сопротивление Сумарокова не могло избавить журнал от постоянных придирок приставленных к нему цензоров. Но все же это был частный журнал, издававшийся лично Сумароковым, который, несмотря на все «неисчислимые ... по академии препятствия», почти в каждом выпуске помещал одно или несколько произведений сатирического жанра. В их числе и попал на страницы «Трудолюбивой пчелы» сумароковский перевод «Микромегаса», неточный, неуклюжий, но — по сравнению с более ранним — дополненный рядом злободневных деталей.³³

Сумарокову принадлежит и другой перевод из Вольтера, впервые напечатанный только в 1781 г.: начало «Заиры».³⁴ Не лишенный некоторых вольностей и ошибок, этот небольшой стихотворный фрагмент (быть может, — часть неосуществленного замысла «предложить» трагедию полностью) относительно точно передает дух и стиль оригинала. По-видимому, для Сумарокова этот опыт представлял несравненно меньшую трудность, чем предыдущий.

³² См.: Березина В. Г. Журнал А. П. Сумарокова «Трудолюбивая пчела» (1759). — В кн.: Вопросы журналистики, вып. 2, кн. 2. Л., 1960, с. 3—37; Шамрай Д. Д., Берков П. Н. К цензурной истории «Трудолюбивой пчелы» А. П. Сумарокова. — В кн.: XVIII век, сб. 5. М.—Л., 1962, с. 399—406.

³³ Об интересном подражании «Микромегасу» — «аллегории» Ф. И. Дмитриева-Мамонова «Дворянин-философ» (1769) — см.: Сиповский В. В. Философские настроения и идеи в русском романе XVIII века. — ЖМНП, 1905, май, с. 71—76; Светлов Л. В. Русский антиклерикальный памфлет XVIII в. — В кн.: Вопросы истории религии и атеизма, т. 4. М., 1956, с. 394—412.

³⁴ ПСВС, ч. 1, с. 296—299.

Философская повесть вообще и в особенности «Микромегас» с его ученой лексикой и обилием фразеологизмов были для него областью довольно чуждой, трагедия же, напротив, была его родной стихией. Недаром в своей переводческой деятельности он, помимо Вольтера, обращался еще к Корнелю и Расину; между тем «Микромегас» так и остался его единственным и не слишком удачным опытом такого рода.

Переводы эти далеко не отражают, впрочем, того глубокого и сочувственного интереса к Вольтеру, который сопутствовал Сумарокову на протяжении почти всей его жизни. Когда и где познакомился он с творчеством Вольтера, неизвестно. Возможно, что это произошло еще в Сухопутном шляхетном кадетском корпусе (1735—1740), но несомненно не позднее 1740-х гг. Во всяком случае, появившаяся в начале 1748 г. «Епистола о стихотворстве» уже свидетельствует об основательном знакомстве с сочинениями французского писателя, главным образом с его драматургией.

Наследник лучших традиций минувшего столетия, Вольтер, в представлении Сумарокова, прежде всего — автор «образцовых» трагедий, среди которых он выделяет две, особенно его пленившие, — «Меропу» и «Альзиру».³⁵ Лишь Вольтера ставит он наряду с Расином, «великим стихотворцем» и «преславным трагиком французским», искусство которого «всякую похвалу превосходит». Близки между собой и характеристики обоих писателей, данные в авторских примечаниях. Впрочем, о Вольтере Сумароков говорит и более подробно, чем о Расине, и даже с большим чувством: «Вольтер, великий стихотворец и преславный французский трагик; лучшие его трагедии суть: „Альзира“, „Меропа“, „Брут“ и „Мариамна“. „Генрияда“, героическая его поэма, есть некое сокровище стихотворства. Как „Генрияда“, так и трагедии его важностью, сладостью, остротой и великолепием наполнены. Склад его летуч, слова избранны, изъяснения проницательны, а все то купно показывает в нем великого стихотворца».³⁶

Опубликованная незадолго до выхода в свет «Двух епистол» первая трагедия Сумарокова «Хорев» (1747) также несет на себе следы увлечения ее автора Вольтером. Речь идет, однако, не о связях сумароковской трагедии с французским классическим театром,³⁷ но лишь о частном случае использования русским поэтом вольтеровского текста. Как известно, в уста героини «Хорева» Оснельды Сумароков вложил восхитившие его слова из 7-й сцены 2-го акта трагедии «Меропа»:

Quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir,
La vie est un opprobre, et la mort est un devoir.

³⁵ Там же, с. 342.

³⁶ Там же, с. 350.

³⁷ Об этом см.: Гукровский Г. А. О сумароковской трагедии. — В кн.: Поэтика, вып. 1. Л., 1926, с. 67—80.

В русском переводе этим двум строкам соответствовали три или по крайней мере две с половиной:

Жестокий, дай мне смерть! Я смерти не боюся;
Когда погибло все, когда надежды нет,
Жизнь бремя, и одна она покой дает.³⁸

У Сумарокова столь незначительная деталь не вызывала, по-видимому, ни малейшего беспокойства. Между тем Тредиаковский, пытаясь в «Письме ... от приятеля к приятелю» (1750) совершенно «уничтожить» творчество своего литературного врага, не только обратил на эту деталь внимание, но даже посвятил ей многословное рассуждение в духе ученого педантизма.³⁹

Отвечая Тредиаковскому на критику, где он «кроме брани ничего не нашел»,⁴⁰ Сумароков остановился и на этом эпизоде, однако в подробности входить не стал, ограничившись указанием на допущенную «типографическую погрешность»: «От Вольтеровых двух стихов, которые я почти перевел и положил в трагедию „Хорева“, в прежестокую г. Т. вступил ярость, делает протчие восклицания и протчие неистовствы, а дело все состоит, что в печати не в том месте поставлена запятая».⁴¹

Этот лаконизм был скорее всего признанием частичной правоты Тредиаковского: смысл вольтеровского двустипия Сумароков передал довольно точно, но оно получилось у него громоздким, тогда как Тредиаковскому в том же «Письме» удалось его «преложить» дважды и оба раза более или менее искусно. Подобную обиду Сумароков забыть не мог. Однако, перерабатывая в 1760-е гг. «Хорева», он не пожелал все же вступать с Тредиаковским в состязание и предпочел пожертвовать заимствованными у Вольтера стихами, опустив их — быть может, не без колебаний — совсем.

Подобная «отмена» могла, конечно, иметь и какой-то другой, непонятный нам смысл, но в любом случае она не означала охлаждения Сумарокова к Вольтеру. Напротив, в 1750-х и 1760-х гг. его преклонение перед французским поэтом все возрастает, побуждая к подчас весьма решительным действиям. Примером может служить его публичная ссора с Фужре де Монброном, которая случилась в Москве, в декабре 1753 или в начале 1754 г.⁴²

Если верить Сумарокову, изложившему этот эпизод в статье «О пребывании в Москве Монброна»⁴³ (как непосредственный участник события он едва ли мог быть вполне беспристрастен),

³⁸ Сумароков А. П. Хорев. СПб., 1747, с. 57.

³⁹ См.: Сборник материалов для истории имп. Академии наук в XVIII веке, ч. 2. СПб., 1865, с. 485—486.

⁴⁰ ПСВС, ч. 10, с. 93.

⁴¹ Там же, с. 104.

⁴² Об этом см. подробнее: Berkov P. N. Fougeret de Monbron et A. P. Sumarokov. — Rev. des études slaves, 1960, t. 37, p. 29—38.

⁴³ ПСВС, ч. 10, с. 150—153.

столкновение произошло главным образом из-за Вольтера. Автор «Перелицованной Генриады», Луи-Шарль Фужре де Монброн, очевидно, внушал Сумарокову неприязнь еще задолго до их встречи: восторженному ценителю героической поэмы Вольтера такая «перелицовка», по всей вероятности, казалась надругательством над этим «сокровищем стихотворства», неслыханным кощунством. Недаром в статье он несколько раз с глубоким презрением упоминал о «превращенной Генрияде», а изложив историю своей ссоры с Монброном, заметил, что «от автора превращенной Генрияды больше разума и лучшего поведения и ожидать было невозможно».

Однако дело было не только в этом. «Как скоро, — пишет Сумароков, — Монброн въехал в Москву, неумолчно стал кричать: 1. Что господин Вольтер не добрый человек, а доказывал тем, что он его не знаю при каком дворе хотел сделать кавалером, почитал, ласкал его, будто опасаясь себе удара от превращения „Генрияды“, а потом не только не исполнил своего обещания, но и знать его перестал. Однако, прочет „Превращенную Генрияду“, кто автора ее почитать станет? 2. Что г. М. Даржанс крайний невежа и здравого рассуждения не имеет и о всем рассуждает только по наслышке» и т. п.

Сумароков был в достаточной мере возмущен всеми пунктами этого обвинения, но в особую ярость его привели монброновы «враки» относительно Вольтера и его друга маркиза д'Аржанса, философа и писателя, находившегося тогда при прусском дворе (именно там, по собственному признанию, Монброн «на смерть» поссорился с ним, а также, вероятно, и с Вольтером). Все эти разговоры «о бездельствах г. Вольтера и г. маркиза Даржанса и невежестве последнего», полагал Сумароков, имели целью «искоренить» его к ним почтение. Но достигнуть своей цели Монброну не удалось (Сумароков сообщил об этом кратко, как о чем-то не подлежащем обсуждению), и тогда, стремясь задеть русского писателя возможно сильнее, он попытался приписать ему самому клеветническое заявление, что «г. Вольтер окрадывает стихотворцев».

По-видимому, нечто подобное, хотя и в значительно более мягкой форме, Сумароков действительно говорил, имея в виду «Амелию» Вольтера (1752), которая отдаленно и, быть может, случайно напоминала трагедию «Синав и Трувор», переведенную в 1751 г. на французский язык. Но столь злонамеренной интерпретации своих слов он не ожидал и потому был принужден изложить в статье свои мысли о литературном заимствовании: «... подражание ни которому стихотворцу бесславия не приносит. Я и сам из сочинений г. Вольтера, г. Расина и г. Корнелия не таясь заимствовал, что и из одной моей трагедии, которая на французский переведена языком, всем довольно видно, а говорил я только то, что одна из новых г. Вольтера трагедий с одной моей трагедией очень сходна. Из сего не следует, что я возвышал себя

и поносил г. Вольтера, которого трагедии по достоинству их похвалу себе у всей Европы заслужили». В дальнейшем спор этот принял более личный характер, но и тогда Сумароков продолжал твердо помнить, что перед ним — не просто «шалун»-обидчик, а противник, надругавшийся над великим творением «преславного» Вольтера.

Во второй половине 1750-х и особенно в 1760-е гг. вольтеровские ориентации Сумарокова приобретают еще большую отчетливость. Наконец, в 1769 г. он обращается к французскому писателю с письмом. Этого случая Сумароков, видимо, ждал уже давно. Едва ли ему, почитавшему Вольтера больше всех современных поэтов, не приходила раньше в голову мысль высказать ему свои суждения о творчестве и обменяться с ним мнениями о драматической поэзии. Ощущал он, конечно, и потребность сообщить Вольтеру о себе — первом российском драматурге, хотя и считал не без оснований, что Вольтеру уже известна отчасти его деятельность на театрально-драматическом поприще. (Об этом он недвусмысленно заявлял в письме к Екатерине II от 3 мая 1764 г.: «... сколько я России по театру услуги сделал, и вся Европа ведаёт, а особливо Франция и Волтер»⁴⁴). В самом начале 1769 г. эта возможность завязать «личные» отношения с Вольтером представилась. Направляясь через Ферней в Италию, кн. Ф. А. Козловский незадолго до отъезда посетил Сумарокова, и тот передал ему письмо для вручения фернейскому патриарху.⁴⁵

Письмо это не сохранилось, но в какой-то мере его содержание можно реконструировать на основании вольтеровского ответа, помеченного 26 февраля 1769 г., текст которого Сумароков позднее полностью воспроизвел в предисловии к трагедии «Дмитрий Самозванец».⁴⁶ «Милостивый государь, — писал Вольтер, — ваше письмо и ваши сочинения служат веским доказательством того, что гений и вкус присущи всем народам. Люди, полагавшие, что поэзия и музыка могут существовать лишь в теплых странах, сильно заблуждались. Если бы климат имел столь большое значение, Греция все еще порождала бы Платонов и Анакреонов, подобно тому, как она родит те же плоды и цветы; в Италии были бы Горации, Вергилии, Ариосто и Тассо; между тем, в Риме нет ничего, кроме религиозных процессий, а в Греции — ничего, кроме палочных ударов. Совершенно необходимы, следо-

⁴⁴ Рус. беседа, 1860, т. 2, кн. 20, с. 233.

⁴⁵ О Ф. А. Козловском см.: Вейдемейер А. И. Двор и замечательные люди в России, во второй половине XVIII столетия, ч. 1. СПб., 1846, с. 90—91.

⁴⁶ Ф. А. Козловский послал это письмо на имя гр. А. И. Мусина-Пушкина, который затем переправил его Сумарокову. В сопроводительном письме от 30 апреля 1769 г. Мусин-Пушкин, между прочим, обращался с просьбой сообщить ему содержание вольтеровского письма: «Князь» Козловский пишет, что г. Волтер делает Вам великую похвалу; я почторно прошу, ежели можно, дать знать, что г. Волтер к вам пишет» (Отеч. зап., 1858, т. 116, № 2, с. 584—585).

вательно, монархи, которые любят, понимают и поощряют искусства; они преобразуют климат и взращивают розы среди снегов». Далее следовали похвалы Екатерине II, Ф. А. Козловскому и вообще всем «русским вельможам», посетившим фернейского отшельника в его уединении, а уже затем собственно ответы на вопросы Сумарокова, в которых «под видом сомнений» русский писатель высказывал свои мысли о Корнеле и Расине, Кино и Мольере, наконец, о французской комедии, как ему казалось, пришедшей в упадок с появлением «слезного жанра».⁴⁷

На первый взгляд эти суждения относились к Франции. В действительности же они в равной, если не в большей степени касались России. При всем его интересе к французской культуре Сумарокова, разумеется, в первую очередь волновала судьба отечественного театра и, в частности, русской комедии, в которой к середине 1760-х гг. наметился ряд новых тенденций.

Главным их выразителем явился В. И. Лукин, который противопоставил «правильной» комедии Сумарокова и так называемой «развлекательной» драматургии новый тип «серьезной» комедии «из русской жизни».⁴⁸ По его признанию, Лукин стремился удовлетворить и любителей «веселых комедий», и одновременно ту «весьма малую часть партера», которая предпочитает комедии «характерные, жалостные и благородными мыслями наполненные», в манере Детуша и Лашоссе.⁴⁹ Сумарокову деятельность Лукина причиняла немало огорчений: он сознавал, что время его собственных комедий прошло; однако вступать с автором «Мота, любовь исправленного» в творческий спор не решался, ограничиваясь ламентациями вроде тех, которые содержались в его письме к Вольтеру. Поддержка фернейского патриарха ободрила его, но, конечно, воспрепятствовать распространению «пакостного рода слезных комедий» не смогла. Вот почему спустя два года после того, как письмо было написано, Сумароков, воспользовавшись удобным случаем, напечатал его, включив — в качестве самого сильного аргумента в свою пользу — в рассуждение о публике и драме, предпосланное его трагедии «Димитрий Самозванец».

Объектом его язвительной критики оказался, впрочем, не Лукин, а Бомарше или, точнее, Н. О. Пушкинов, русский переводчик его драмы «Евгения» (1767). Впервые представленная на московской сцене 18 мая 1770 г., эта пьеса — весьма типичный образец французской «серьезной комедии» — имела «великий успех». «Удовольствие публики, — писал в предуведомлении пере-

⁴⁷ Voltaire's Correspondence, vol. 71, № 14524. См.: Patouillet J. Un épisode de l'histoire littéraire de la Russie. La lettre de Voltaire à Soumarokov. — Rev. de littérature comparée, 1927, № 3, p. 438—458.

⁴⁸ См.: Берков П. Н. Владимир Игнатьевич Лукин. М.—Л., 1950, с. 31—60.

⁴⁹ Лукин В. И., Ельчанинов Б. Е. Соч. и переводы. СПб., 1868, с. 11.

водчик, — изъяснялось неумолчным почти рукоплесканием при каждом представлении. Пример сей показывает ясно, что вкус к зрелищам, вкус столь похвальный и полезный, час от часу больше у нас умножается.⁵⁰ Всячески понося московских зрителей и зрительниц, «скаредный» перевод «Евгении» и «переводчика оныя драмы»,⁵¹ Сумароков с помощью Вольтера пытался убедить читателей в собственной правоте. Однако и эта непрестанная апелляция к Вольтеру, и возмущенно-обиженный тон предисловия, и издевательский разбор «Евгении» свидетельствовали о том, что Сумароков поставил перед собой неразрешимую задачу: приостановить развитие классической комедии, «запретить» ее обновление, уже давно назревшее и исторически необходимое, — в этом ему не могли помочь ни брань, ни угрозы, ни сам «господин Вольтер».

Как указывалось, письмо Вольтера было напечатано лишь в 1771 г.⁵² Но известно о нем стало значительно раньше. Вероятно, Сумароков не пропускал случая упомянуть об «ответе г. Вольтера» в разговоре с друзьями и недругами, вспоминал он об этом и в стихах, преследуя, конечно, не только литературно-эстетические цели. Самый факт существования такого письма и особенно обнаружившееся в нем полное единство воззрений русского и французского поэтов наполняли гордостью сердце Сумарокова, видевшего в этом письме некоторую защиту от клеветы врагов, недоброжелательства соперников и «гневных репримандов» невежественного начальства.

Слезами я кроплю, Вольтер, письмо твое, —

горестно восклицал он, возмущенный «скаредным» исполнением 30 января 1770 г. на московской сцене, вопреки его воле, «Синава».⁵³ Эти стихи он привел и в «жалостном» письме к Екатерине II от 1 февраля 1770 г., тщетно пытаясь положить конец преследованиям «гонителя художеств и наук» — московского генерал-губернатора гр. П. С. Салтыкова. Упоминался Вольтер и в другом письме Сумарокова к Екатерине II (от 4 марта 1770 г.), в котором он снова просил о «покровительстве и защищении» и вообще жаловался на свою участь («Одна „Меропа“ принесла Вольтеру много казны, а я, кроме голой чести, от моих драм ничего не имею...»),⁵⁴ а также в целом ряде его стихотворений последних лет жизни, где имя Вольтера фигурировало главным образом лишь как синоним великого поэта.⁵⁵

⁵⁰ Евгений, комедия в пяти действ., соч. г. Бомарше. СПб., 1770, с. VII.

⁵¹ ПСВС, ч. 4, с. 62.

⁵² Русский перевод письма впервые появился в журнале «Утра» (1782, июль, л. 3, с. 89—92; ср.: там же, л. 4, с. 59).

⁵³ ПСВС, ч. 9, с. 93.

⁵⁴ Рус. беседа, 1860, т. 2, кн. 20, с. 243, 248.

⁵⁵ ПСВС, ч. 7, с. 364, 369.

Только одно его сочинение этого времени содержит довольно подробную характеристику вольтеровского творчества. Это так называемое «Мнение во сновидении о французских трагедиях», написанное в форме послания к Вольтеру и, может быть, действительно для него предназначавшееся.⁵⁶

«Мнение во сновидении» представляет собой разбор шести величайших французских трагедий XVII в. («Цинна» и «Родогуна» Корнелия,⁵⁷ «Митридат», «Ифигения в Авлиде», «Федра» и «Гофоллия» Расина) и четырех лучших, с точки зрения Сумарокова, трагедий Вольтера — «Брут», «Заира», «Альзира» и «Меропа».⁵⁸

На первый взгляд все это сочинение — нескончаемый поток дириамбов. Но это не так. Восторженный почитатель и последователь французских драматургов, Сумароков выступает здесь и в другой роли: он не только восхищается, но и критикует, но и спорит (правда, всегда с несвойственной ему сдержанностью), да и самые восторги его подчас довольно точно аргументированы. Характеризуя трагедии Вольтера, Сумароков не скупится на похвалы — «хорошо», «весьма хорошо», «отлично», «прекрасно», «весьма прекрасно», «несравненно», «писано самою Мельпоменою», «достойно бессмертного Вольтерова имени» и т. п. Но притом его отнюдь не безразлично, как оценить ту или иную сцену, тот или иной монолог: «прекрасным» он не назовет то, что ему кажется «весьма прекрасным», равно как и то, что всего лишь «хорошо».

Многие из этих оценок с трудом поддаются расшифровке, но иногда смысл их вполне очевиден, в ряде же случаев Сумароков снабдил их пояснениями. Так, приведя слова Аронса («Брут», акт 1, сцена 2), с которыми тот обращается к консулам и сенату (*«Témoins de leurs exploits...»*), Сумароков с сочувствием отметил неожиданное «вторжение» в его речь Брута и динамизм их последующего диалога: «Брут прервал Аронсову речь по-Вольтерски. Все явление достойно Вольтера и муз самих. Сие явление не одну забаву приносит, и не одни цветы, но пользу и плоды. Франция, Европа и Парнас должны много Вольтеру за нововведенный вкус и к удовольствию сердца и разума нашего». В 1-й сцене 2-го акта его внимание привлёк другой вольтеровский прием —

⁵⁶ Там же, ч. 4, с. 325—356. — Г. А. Гуковский датирует это сочинение периодом между 1759 и 1768 гг. (Gukovskij G. Racine en Russie au XVIII siècle: la critique et les traducteurs. — Rev. des études slaves, 1927, t. 7, № 1—2, p. 78), но возможна и более поздняя дата: после 1774 г. Сумароков совершенно отошел от драматургии и театра, а именно это сообщает он в начальной фразе «Мнения».

⁵⁷ В характеристике этих трагедий проявилось знакомство Сумарокова с вольтеровскими комментариями к Корнелию (см.: Lowenstein R. Voltaire as an historian of seventeenth-century French drama. — The John Hopkins studies in Romance literatures and languages, 1935, vol. 25, chap. 2). Однако, соглашаясь с Вольтером, Сумароков каждый раз подчеркивает независимость собственных суждений.

⁵⁸ См.: Lang D. M. Russian dramatist's view on Corneille and Voltaire. — Rev. de littérature comparée, 1949, № 1, p. 86—92.

«ложный поворот» драматического действия — «род искусства авторского, дабы любопытство зрителей умножено и сердце после сильнее поражено было». Наконец, в 3-м акте его восхищало, даже потрясло патетическое объяснение Тита и Туллии (5-я сцена). Не случайно, что именно в этой связи он еще раз отметил свою творческую зависимость от «французского Софокла». Восхищение Сумарокова прежде всего относилось к эстетическим новшествам: республиканский пафос трагедии не вызвал у него столь же сочувственного отклика. Но он все же попытался стать на объективную позицию, с сожалением отметив, что из-за политических распри «сия драма не столько имеет успеха, сколько она достойна». Впрочем, добавлял он далее, «Брут когда-нибудь может войти больше в моду в Париже; ибо из монархии республика делается», — и оказался пророком: 17 ноября 1790 г. «Брут» был с триумфальным успехом поставлен на сцене Театра нации, и это событие было воспринято современной критикой как «полное торжество свободы» на театральных подмостках.⁵⁹

«Заира», хотя Сумароков и пытался ее переводить, не относилась к числу любимых его пьес. Отсюда сравнительно спокойный тон и некоторая односторонность его суждений. Все они в сущности посвящены одной теме: отношению Вольтера — автора «Заиры» — к христианской религии. Не замечая философского пафоса трагедии или намеренно от него отвлекаясь, Сумароков видит в ней лишь проповедь и утверждение христианства. При этом он всячески клеймит «беззаконников», которые кощунствовали в течение всего спектакля («Мнение» написано от лица зрителя, присутствующего на «театральных представлениях парижских»), иными словами — дейстов, «сих заблужденных людей от естественного богопочитания, которые не приемлют Священного писания». Самого же Вольтера Сумароков к дейстам, разумеется, не причислял, — возможно, по незнанию, но скорее всего стремясь защитить писателя от тяжких обвинений. «Вы сделали великое, по общему христианскому мнению, дело... — писал он, — хотя и думают безбожники, что вы сею прекрасною трагедиею отвлекаете людей от истинного богопочитания и уже зараженных людей еще заражаете. Ежели бы вы были дейст, так бы я в вечном остался неведении, ради чего вы сию трагедию сочинили. А зная, что вы христианин, ведаю и то, что вы ее сочинили, умножая нашу ко христианству верность».⁶⁰

В 1747 г., с большой похвалой отзываясь о «Мероне», Сумароков высшим достижением Вольтера в трагедийном жанре («Вольтеровой короной») назвал все же другую его трагедию — «Альвиру». Теперь акценты несколько переместились: умудренный

⁵⁹ Мс Кэе K. N. Voltaire's «Brutus» during the French revolution. — Modern Language Notes, 1941, vol. 56, № 2, p. 100—106.

⁶⁰ В этой связи см.: Гукковский Г. А. Очерки по истории русской литературы XVIII века. М.—Л., 1936, с. 106—109.

многолетним опытом драматического поэта, он отдает пальму первенства «Меропе», видимо покорившей его «античной» простотой сюжета и построения, силой и глубиной психологического конфликта. «Вся Европа ее (т. е. „Альзир“, — П. З.) похвалит, и все потомство вечно похвалить будет». И все-таки «„Альзира“, „Цинна“ и „Аталия“ ... должны уступить первенство „Меропе“ и „Федре“. Сии две трагедии будут вечною честью своим авторам и Мельпомене, и вечною славою Франции, Европе и всему роду человеческому». Правда, в обеих трагедиях он усматривает ряд погрешностей: в «Альзире» — повторение в 3-й и 4-й сценах 4-го акта, а также «злоречивость» одного из стихов (3-я сцена 5-го акта), в «Меропе» — два эпизода, когда доведенная до отчаяния героиня «сердится на богов» и против них «говорит дерзко».

Все наблюдения такого рода тонут, однако, в массе самых высоких эпитетов и прочувствованных слов. «Нечего отличати: все прекрасно в сей трагедии (речь идет о «Меропе», — П. З.) по сие время», — в этом возгласе слышится удивление, почти растерянность человека, который, пытаясь выступать в роли «бесстрастного» судьи, как бы невольно оказывается «слагателем хвалы».

Впрочем, для удивления не было особых причин: на протяжении почти трех десятилетий Сумароков хранил неколебимую, трогательную верность своему французскому «совместнику», которому, по его словам, был еще больше должен, нежели Расину. Современники пронизировали над чувствами «российского Вольтера»,⁶¹ а иногда без достаточных оснований обвиняли его в слепом подражании тем или иным шедеврам вольтеровского театра,⁶² но едва ли кто-нибудь из них сомневался в том, что деятельность Сумарокова в немалой степени способствовала усилению интереса русской читающей публики к Вольтеру. Особенно существенную роль она сыграла в 1740—1750-х гг., когда число почитателей Вольтера и пропагандистов его творчества в России было еще сравнительно невелико. В последующие десятилетия Сумароков оказался лишь одним из многих: увлечение Вольтером приобрело у нас в это время поистине необычайную интенсивность и широту.

II

Вольтерьянство (или, как тогда говорили, «вольтеризм») явилось одной из характернейших черт русского XVIII в. По мере того как складывалось просветительское движение, постепенно

⁶¹ См. «высказывания» героя комедии Н. П. Николева «Самолюбивый стихотворец» (1775) Надмена, выгнанных словами — Сумарокова (Российский театр, или Полн. собр. всех российских театральных соч., ч. 15. СПб., 1787, с. 82, 110—111).

⁶² См. стихотворную реплику Хемницера в связи с представлением сумароковской «Семиры» (Хемницер И. И. Полн. собр. стихотворений. М.—Л., 1963, с. 219).

охватившее едва ли не все области умственной жизни, укреплялся и авторитет Вольтера. С начала же 1760-х гг. этому в значительной степени способствовало так называемое «официальное просветительство» Екатерины II, стремившейся завоевать поддержку передовых мыслителей Западной Европы и создать у них иллюзию существования в России просвещенного абсолютизма. Отныне имя «сего славного века нашего писателя» постоянно присутствует на страницах русской печати, о Вольтере теперь говорят почти все, хотя, разумеется, степень знакомства с его творчеством в разных общественных кругах и просто у разных людей была различной: для одних деятельность Вольтера служила вдохновляющим примером, для других «вольтеризм» был всего лишь данью моде (недаром впоследствии Пушкин назовет Вольтера «умов и моды вождь»).⁶³

В период 1760-1780-х гг. на русском языке впервые появился не один десяток вольтеровских сочинений — памфлетов, исторических трудов, поэм, повестей, трагедий и комедий. Перед русскими переводчиками стояла нелегкая задача: они пытались познакомить своего читателя не только с фернейским патриархом — некоронованным властелином Европы, но и с Вольтером времен «Генриады» и «Эдипа», причем в русскую литературу они вводили одновременно образцы самых разных литературных жанров. Это не означало, конечно, что на протяжении трех десятилетий интерес к Вольтеру — философу, историку, поэту, драматургу — оставался неизменно равномерным. В силу потребностей общественной и литературной жизни внимание к одним его произведениям подчас ослабевало и даже замирало, между тем как к другим — усиливалось чрезвычайно.

Именно так обстояло, в частности, дело с комедийным творчеством Вольтера, которое приобрело у нас довольно большую известность в самом начале 1760-х гг., на короткое время отчасти заслонив даже его «высокую» драматургию, поэзию и прозу: возникший незадолго до того (1756) русский драматический театр нуждался в расширении репертуара, а перевод комедий давался русским «прелателям» сравнительно легко.⁶⁴

Первое знакомство с Вольтером-комедиографом произошло в России благодаря П. С. Свистуну, участнику «кадетских» спектаклей и вообще большому любителю театра.⁶⁵ Характеризуя его деятельность, автор «Известия о некоторых русских писателях» (1768), между прочим, писал: «Проза его... необыкновенно приятна, как свидетельствуют несколько прекрасных переводов

⁶³ Любопытное раннее свидетельство этого увлечения Вольтером в угоду моде см. в стихотворении В. Д. Санковского «Ученый и преученый» (Доброе намерение, 1764, февр. с. 62).

⁶⁴ См.: Берков П. Н. История русской комедии XVIII века. Л., 1977, с. 43—55.

⁶⁵ См.: Ф. Г. Волков и русский театр его времени. Сб. материалов. М., 1953, с. 81, 99, 100.

его для сцены и по другим частям изящной словесности». ⁶⁶ Под переводами для сцены подразумевались прежде всего «Амфитрион» и «Мещанин во дворянстве» Мольера и одноактная стихотворная комедия Вольтера «Нескромный».

Действительно, перевод этот довольно удачен, он не только гладок, но и точен, насколько может быть точен прозаический перевод стихотворного текста. Остроумная зарисовка светских нравов, «Нескромный» должен был звучать вполне злободневно и на русской сцене. По-видимому, Свистунова смущало лишь одно: существование в пьесе Вольтера географических названий и реалий, которые в глазах русского зрителя могли придать ей специфически французский колорит. Поэтому при переводе он изъял из текста упоминания Франции и провинции Мэн, Париж заменил просто «городом», а несколько слов, выражавших чуждые русскому сознанию понятия, перевел более чем приблизительно. ⁶⁷ Впрочем, это свое намерение переводчик не довел до конца: в «русской» пьесе фигурировал король.

Перевод «Нескромного», подобно прочим переводческим опытом Свистунова, был сделан для театра, но, по всей вероятности, сценического воплощения тогда не получил. Во всяком случае, «Драмматический словарь» об этом не упоминает. ⁶⁸ Не вполне ясна также сценическая судьба перевода комедии «Шотландка». Несомненным успехом увенчалась лишь третья попытка такого рода. Речь идет о комедии «Нанина, или Побегденный предрасудок».

Интерес к названным комедиям был не случаен. Наряду с «Блудным сыном», «Нанина» и «Шотландка» составляли вершину вольтеровского комического театра, что было обусловлено в особенности их художественной новизной. В этих комедиях получила наиболее отчетливое воплощение выдвинутая им еще в пре-

⁶⁶ Материалы для истории русской литературы. СПб., 1867, с. 136, 152.

⁶⁷ Нескромный, комедия сочинения г-на Вольтера. СПб., 1760, с. 7, 8, 14, 15, 42, 49, 54. — Список с этого издания см.: ЛО Ин-та истории СССР АН СССР, ф. 36, оп. 1, № 854. — Сведения о другом списке, хранящемся в парижской Национальной библиотеке, см.: Библиогр. зап., 1858, т. 1, № 7, с. 208—209; Черепнин Л. В. Славянские и русские рукописи парижской Национальной библиотеки. — Археогр. ежегодник за 1961 г. 1962, с. 233.

⁶⁸ Драмматический словарь. М., 1787, с. 91. — Интерес к этой комедии возродился в 1790-е гг.: она была представлена в 1795 г. на сцене петербургского Деревянного театра (см.: Архив дирекции имп. театров, вып. 1 (1746—1801), отд. 3. СПб., 1892, с. 163) и приблизительно в то же время на сцене театра гр. А. Р. Воронцова, находившегося в его имении Андреевское Владимирской губ. (см.: Щеглова С. А. Воронцовский крепостной театр. — В кн.: Язык и литература, т. 1. Л., 1926, с. 348). Об успешном исполнении «Нескромного» по-французски на театре Кадетского корпуса «благородными детьми разных домов» (1775) и воспитанниками Смольного института (1776) см.: Собрание новостей, 1775, дек., с. 87—88; Санкт-Петербург. ведомости, 1775, 18 дек., № 101; 1776, 5 янв., № 2. — Смольнянами исполнялась также комедия Вольтера «L'Enfant prodigue» (см.: Рассказы Н. Н. Хроника Смольного монастыря в царствование имп. Екатерины II. СПб., 1864, с. 22).

Этот упрек звучал актуально и для других европейских монархий «старого типа», в том числе для России. Недаром в одном только журнале «Невинное упражнение», выходившем на протяжении всего лишь полугода, тема «равенства всех состояний» затрагивалась по крайней мере десять раз, причем в сочинениях самых разных литературных жанров. К этому циклу относится и названное письмо Вольтера, переданное Богдановичем весьма тщательно и умело.⁷⁶

О знаменитой поэме Вольтера, посвященной лиссабонскому землетрясению 1755 г., Богданович мог узнать из самых разных источников, в первую очередь иностранных, но вместе с тем и русских. Поэму «О злополучии Лиссабона» — в числе особенно примечательных произведений Вольтера, «славного писателя нынешнего века и великого стихотворца», — упомянул, в частности, автор опыта «О стихотворстве», напечатанного в журнале М. М. Хераскова «Полезное увеселение»,⁷⁷ деятельным участником которого был Богданович.⁷⁸ Несколько месяцев спустя в четвертой части журнала «Собрание лучших сочинений» за 1762 г. его издатель И.-Г. Рейхель поместил перевод вызванного этой поэмой резко критического «Письма господина Руссо к господину Волтеру», предпослав ему не менее критические «Примечания» собственного сочинения.⁷⁹ В них он доказывал ошибочность воплощенных в поэме философских идей и утверждал, что «г. Волтер в царстве стихотворцев всегда пребудет первейшим стихотворцем, поелику же историк, физик и философ и в наш и в по-

⁷⁶ Невинное упражнение, 1763, февр., с. 86—89. — Впоследствии на русском языке увидела свет большая статья Вольтера о торговле из Энциклопедии — в переводе «детей Коммерческого училища» А. Барсова, Н. Рубцова, И. Новикова и В. Антипова (Перевод из Энциклопедии о коммерции. М., 1781).

⁷⁷ Полезное увеселение, 1762, июнь, с. 229—230. — Традиционно — без достаточных оснований — опыт этот приписывается С. Г. Домашнему. См.: Achinger G. Der französische Anteil an der russischen Literaturkritik des 18. Jahrhunderts... Bad Homburg, 1970, S. 138—149.

⁷⁸ Краткая характеристика творчества Вольтера, содержащаяся в опыте «О стихотворстве», перекликается с соответствующим пояснением Сумарокова к «Епистоле о стихотворстве»; как и Сумароков, автор опыта особенно высоко оценивает «Генриаду», «Альвиру» и «Меропу». Кроме того, там упоминаются «Разговор о человеке» (т. е. «Discours... sur l'homme»), а также появившиеся на протяжении 1750-х гг. «Поэма о естественном законе» и «Танкред». К Вольтеру восходит и целый ряд его суждений о Корнеле, об итальянском и английском «стихотворстве». См. в этой связи наблюдения М. П. Алексеева и Ю. Д. Левина в кн.: От классицизма к романтизму. Из истории международных связей русской литературы. Л., 1970, с. 15—22, 201—202.

⁷⁹ Собрание лучших сочинений к распространению знания и произведению удовольствия, 1762, ч. 4, с. 231—273. — Критика Вольтера — истолкователя Ньютона и автора «Философских писем» содержалась также в «Философических предложениях» Козельского, в разделах «Метафизика» и «Политика» (Козельский Я. П. Философические предложения. СПб., 1765, с. 43, 177—178).

следующий век от часу меньшим казаться будет». По мнению Рейхеля, «никто из Волтеровых противников нагость философии с большим успехом не показал, как г. Руссо из Женевы». И хотя он хорошо знал, что и «г. Руссо великие противоречия находит в ученом свете», и не считал возможным «умолчать» о его «погрешностях», в данном случае он все же больше сочувствовал Руссо. Впрочем, в существо спора он особенно не вникал: целью его было «примером столь славных мужей показать, с каким благоразумием сочинения славных мужей читать должно и в какие опасности наше юношество вдается, ежели все без размышления читает, что в книгах славнейших мужей и новейших сочинителей находится, ибо чем новейшие многие сочинители суть, тем избылнейшие суть дерзновенными и безрассудными мнениями, тем скуднейшие основательною и полезною истиною».

Однако, хотя Рейхель и выражал точку зрения «официальной науки», обращение к «Поэме о гибели Лиссабона» в 1763 г., когда вольтерьянство стало поощряемой свыше общественной тенденцией и даже модой, не было актом гражданского мужества. Одновременно в «Невинном упражнении» печатался по частям трактат Гельвеция «Об уме» в переводе Е. Р. Дашковой; гельвецианские идеи можно обнаружить и в других материалах, помещенных в журнале. И все же среди оригинальных сочинений и переводов, в наибольшей степени отмеченных печатью философского свободомыслия, поэма Вольтера резко выделяется силой заключенного в ней протеста против «мирового зла», своим богоборческим пафосом, — кстати, с большим мастерством воссозданным в переводе.

Правда, в ряде мест Богданович смягчил вольтеровскую фразеологию и, кроме того, опустил предисловие и почти все примечания к поэме, в которых Вольтер уточнял и развивал отдельные — с его точки зрения, особенно важные — суждения и мысли. Но число подобных отступлений невелико.⁸⁰ Что же касается примечаний, то, опуская их, Богданович ни разу не забыл известить об этом читателя, как бы отсылая его к оригиналу.⁸¹ В целом же перевод «Поэмы о гибели Лиссабона» явился удачей молодого поэта, который, по всей вероятности, создал это и сам: в 1773 г. он перепечатал свой перевод (в сильно сокращенном виде) под названием «Философические мысли г. Волтера».⁸² В 1801 г. поэма была опубликована вновь в сборнике «Правдолюбец, или Карманная книжка мудрого» (вместе с «возражением

⁸⁰ См. в «Мелочах из запаса моей памяти» М. А. Дмитриева (М., 1869, с. 22): «Этот перевод теперь тяжел, но тогда был хорош». Ср.: Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых, т. 4. СПб., 1895, с. 256—257 (автор очерка — К. И. Арабажин).

⁸¹ Невинное упражнение, 1763, апр., с. 173—186. — См. также: Богданович И. Ф. Стихотворения и поэмы. Л., 1957, с. 241—244.

⁸² Лира, или Собрание разных в стихах сочинений и переводов некоторого муз любителя. СПб., 1773, с. 46—47.

на оную, писанную Жан-Жаком Руссо)).⁸³ Именно тогда о переводе Богдановича с сочувствием отозвался Н. М. Карамзин, отметивший между прочим, что многие стихи перевода «не уступают красоте и силе французских».⁸⁴

Вскоре Богданович опубликовал еще один перевод из Вольтера, более скромный по своему значению, — «Надпись к статуе Амура», которую он слегка распространил и переосмыслил, превратив в нечто вроде мадригала (под таким названием — вместе с двумя другими аналогичными сочинениями — перевод и был напечатан),⁸⁵ а спустя два года сделал попытку завоевать с помощью Вольтера театральные подмостки, избрав для этой цели его комедию «Нанина».⁸⁶

Созданная в период наибольшего успеха драматических произведений Лукина, «Нанина» Богдановича отчасти примыкает к жанру комедий-«преложений», но во многом и отличается от него. Стремясь вслед за Лукиным «не столько красоту и силу чужестранного писателя показывать, сколько исправлять пороки»,⁸⁷ Богданович все же относится к переводимому тексту несравненно более бережно. Передавая стихи Вольтера прозой, впрочем весьма изящной, он старается при этом по возможности не отступать от оригинала — и в целом, и в деталях. В отличие от Лукина, он не наделяет, например, героев комедии русскими именами. Единственное исключение — садовник Блез, который не только стал у него Власом, но и заговорил языком русского крестьянина, языком выразительным и ярким, в особенности на фоне безупречно правильной речи образованных персонажей комедии, включая в их число и воспитанную в доме графа Нанину.

В какой-то мере это почти «фонетическое» (хотя и утрированное ради комического эффекта) воспроизведение — средствами орфографии — особенностей «мужицкой» речи было подсказано Богдановичу самим Вольтером: «языковая характеристика» Блеза ощущается довольно отчетливо, несмотря на стихотворный текст. (Эта традиционная черта французской классической комедии восходит еще к середине XVII в., ее родоначальником считается Сирано де Бержерак, отдал ей дань и Мольер, но особенно сильно она проявилась в творчестве Дюфрени, Данкура и Мариво). Од-

⁸³ Правдолюбек, или Карманная книжка мудрого. СПб., 1801, с. 1—18. (19—54). — В 1809 г. поэма «с возражением на оную» вышла вторым изданием. Поэма также распространялась в списках (ГИМ, ф. 342, № 132; ГБЛ, ф. 178, № 2805; ГИПБ, ф. 777, № 235; ПД, ф. 265, оп. 3, № 5, и др.).

⁸⁴ Карамзин Н. М. Соч., М., 1820, с. 177.

⁸⁵ Невинное упражнение, 1763, июнь, с. 300. — Почти одновременно, словно соревнуясь с Богдановичем, эту же надпись более точно и с более точным заглавием перевел А. А. Ржевский (Свободные часы, 1763, № 6, с. 357). Позднее Ржевский перевел статью Вольтера из Энциклопедии — «История» (Переводы из Энциклопедии. М., 1767, ч. 1, с. 1—28).

⁸⁶ Нанина, или Побужденное предассуждение. Комедия в трех действиях. СПб., 1766 (второе изд. — СПб., 1788).

⁸⁷ Лукин В. И., Ельчанинов Б. Е. Соч. и переводы, с. 116.

нако в большей степени Богданович следует здесь русской традиции, не столь давней, но к тому времени уже достаточно очевидной, и прежде всего художественным открытием Лукина.⁸⁸ У Вольтера «окраска» речи едва намечена, лишь обозначена скрупулы, хотя и точными штрихами; в пьесе Богдановича она достигает большой интенсивности, придавая «русский» колорит не только фигуре Власа, но и всему произведению в целом.

После 1766 г. в литературных занятиях Богдановича наступает перерыв: до начала 1769 г. он находится в Дрездене в качестве секретаря русской миссии при саксонском дворе. Лишь вернувшись на родину, он возобновляет журнальную, переводческую, а позднее и писательскую деятельность, которую уже не прекращает до конца 1780-х гг. Но среди его довольно многочисленных переводов тех лет творчество Вольтера занимает предельно скромное место. Это всего лишь одно произведение — стихотворное послание «Екатерине II, российской императрице» (1771), написанное в поддержку России в ее войне с Турцией. Перевод — сравнительно точный — был под названием «Стихи г. Волтера, в России переведенные», напечатан в журнале «Вечера», и по существу явился своеобразным откликом русского поэта на военную кампанию конца 1760-х — начала 1770-х гг.⁸⁹ В 1773 г. Богданович опубликовал этот перевод снова под другим заглавием и в несколько измененном виде:⁹⁰ хотя со времени его появления прошел только год, Богдановичу многое уже показалось в нем сомнительным и неудачным.

Позднее Богданович к Вольтеру не обращался, и о былом его увлечении вольтеровским творчеством напоминала лишь «Нанина»,⁹¹ которая ставилась на казенной и на многих частных сценах и «всегда публикою во время представления была зрима с удовольствием».⁹²

⁸⁸ См.: Князькова Г. П. Лексика народной разговорной речи в комедии и комической опере 60—70-х годов XVIII века. — В кн.: Материалы и исследования по лексике русского языка XVIII века. М.—Л., 1965, с. 139—151.

⁸⁹ Вечера, 1772, вечер 23, с. 179—183. — Аналогичный характер имел перевод двух других антигултурецких сочинений Вольтера — «Traduction du poëme de Jean Plokoff... sur les affaires présentes» и «Le Tocsin des rois». Первое было издано в 1771 г. в переводе Н. И. Новикова (см.: Семенов В. П. Материалы для истории русской литературы. СПб., 1914, с. 42) под названием «Поема о нынешних делах, или Увещание о восприятии против турок оружия» (перевод. в период русско-турецкой войны 1787—1791 гг.), второе — в 1779 г. («Новое издание, называемое Набат на разбуждение королей»).

⁹⁰ См.: Лира..., с. 41—44. Список этого стихотворения: ПД, ф. 265, оп. 3, № 5, л. 11 об.—12.

⁹¹ См., впрочем, упоминание Вольтера в «Душеньке» (1783): Богданович И. Ф. Стихотворения и поэмы, с. 83.

⁹² Драматический словарь, с. 86—87. В 1770-х гг. «Нанина» исполнялась питомцами московского Воспитательного дома (см.: Гозенпуд А. А. Музыкальный театр в России. От истоков до Глинки. Л., 1959, с. 105), в 1780—

Во второй половине 1760-х гг. (и в последующие годы) новых переводов из Вольтера-комедиографа у нас не издавалось: потребность в комедийном репертуаре была уже не столь острой, да и художественные ориентации к тому времени несколько изменились. Комедиям Вольтера теперь все чаще предпочитали драматургию Дидро. Около 1764 г. в русском переводе вышел «Побочный сын» с любопытным предисловием переводчика, который настойчиво рекомендовал читателям этот «новый род драматического стихотворства, новые забавы им предвещающий».⁹³

В 1765 г. в переводе С. И. Глебова увидел свет «Отец семейства», а год спустя — «Побочный сын». Тогда же, по свидетельству Н. И. Новикова, обе названные комедии великого просветителя и «речи его о драматическом искусстве» перевел Б. Е. Ельчанинов.⁹⁴ Вскоре начали появляться и отечественные произведения «во вкусе дидеротовом» (к ним принадлежал, например, фонвизинский «Бригадир»)⁹⁵.

В этой атмосфере широкого увлечения «серьезным жанром» комедийное творчество Вольтера, естественно, отходит на второй план, хотя интерес к нему в театральных кругах не пропадает. И по той же самой причине пьесу Вольтера, в которой обнаруживается наиболее сильное воздействие Дидро, в это время переводят на русский язык дважды. Речь идет о его «драматическом сочинении» «Сократ» (1759).

Драматическим сочинением Вольтер назвал свою пьесу не случайно. В его понимании «серьезный жанр», в котором он на этот раз выступал, к драматургии имел лишь косвенное отношение. «Сократа» он рассматривал скорее как драматизированный памфлет. В предисловии к нему, написанном от имени мнимого переводчика, голландца Фатема, в качестве автора «Сократа» фигурировал Джеймс Томсон. Это мистифицирующее утверждение избавляло Вольтера от возможных обвинений в распространении «пагубных» идей. Имя «покойного г-на Томсона» прикрывало вольтеровский антиклерикализм и внешне смягчало заключенную в драме проповедь политической и религиозной терпимости.⁹⁶

Мнимоанглийским происхождением «Сократа» объяснил Вольтер и некоторую необычность его художественной манеры. При

1790-х гг. — крепостными актерами гр. Н. П. Шереметева на его «домовом театре» в Москве (см. Елизарова Н. А. Театры Шереметевых. М., 1944, с. 156—158; указание на то, что автором перевода был Ф. М. Павлов, сомнительно: по всем признакам перевод этот, изданный в 1859 г. в Чернигове, относится к более позднему времени).

⁹³ Побочный сын, или Испытания добродетели. Комедия в пяти действиях и простою речью писанная. Соч. г. Дидерота. [Б. м., б. г.].

⁹⁴ Материалы для истории русской литературы, с. 139.

⁹⁵ См.: Макогоненко Г. П. Денис Фонвизин. М.—Л., 1961, с. 127—135.

⁹⁶ См.: Davis R. M. Thomson and Voltaire's «Socrate». — PMLA, 1934, № 2, p. 560—565.

этом он ссылался на «методу Шекспира», мастерски рисовавшего людей разного состояния, смело выводившего на сцену народ, изображавшего человеческую жизнь в самых различных ее проявлениях. Отдавая безусловное предпочтение трагедии с ее ничем не нарушаемой величавостью, Вольтер допускал существование и другого, «смешанного» жанра. Шекспир упоминался здесь не без оснований. Однако в такой же степени этого заслуживали английские драматурги XVIII в. и, конечно, Дидро, тем более что в его «Рассуждении о драматической поэзии» (1758) в качестве желательного сюжета серьезной (философской) драмы была названа «Смерть Сократа» и там же приводился ее возможный эскиз.⁹⁷

Впрочем, этим планом Вольтер воспользовался лишь отчасти. Вместо «зрелища самого трогательного, чтения самого поучительного и сладостного», о котором мечтал Дидро, он создал остро-сатирическое произведение, полное обличительных тирад и злободневнейших политических намеков, причем именно насыщенность «Сократа» аллюзиями и побудила Вольтера скрыться под очередным псевдонимом и отказаться от мысли увидеть пьесу на театральных подмостках.

В русских литературных и читательских кругах эта особенность «драматического сочинения» Вольтера сколько-нибудь сильного интереса и отклика вызвать не могла. Выведенные в пьесе заклятые враги Вольтера, «антипросветители» — генеральный прокурор О. Жоли де Флери, аббат Ноннот, А.-Ж. де Шоме, Г.-Ф. Бертье — в России были тогда мало известны. Но просветительский пафос «Сократа», его социальный и нравственный смысл оказались близки русской читающей публике. На это указал и один из переводчиков драмы (некто Н. К.) в посвящении гр. И. Г. Чернышеву.⁹⁸ Он сознавал, что переводит «сочинение такого содержания, где правота и беспристрастие души, где просвещение разума от предрассудков освобожденного изображается, а злоупотребление и невежество суть осмеяны и презренны». Отчетливое понимание вольтеровского замысла в сочетании с незаурядным переводческим умением и помогли ему создать превосходный для того времени перевод «Сократа»,⁹⁹ что особенно очевидно при его сравнении с предшествующим, выполненным в 1774 г.¹⁰⁰

⁹⁷ См.: Бахмутский В. Я. Вольтер и буржуазная драма. (К вопросу об отношении Вольтера к эстетической теории Дидро). — *Вопр. лит.*, 1958, № 4, с. 179—205. — См. также: *Torgue N. L. Voltaire's reaction to Diderot.* — *PMLA*, 1935, № 4, p. 1107—1143.

⁹⁸ Тем же криптономимом подписан более ранний перевод «Истории Российской империи при Петре Великом» (см. ниже), но утверждать, что это одно и то же лицо, ввиду отсутствия каких-либо данных, невозможно.

⁹⁹ Сократ, драма, сочинение г. Томпсона, из дел г. Волтера, СПб., 1780.

¹⁰⁰ Сократ, драма. М., 1774. (Часть тиража вышла под названием «Аглая»).

Вероятный автор его Е. Ф. Болтина достаточно хорошо владела французским языком и поняла оригинал не хуже, чем ее «соперник». (Неточности, пропуски, отдельные искажения смысла встречаются у обоих). Отличительная особенность второго из этих переводов в ином. В нем ощущается настойчивое стремление передать стилистическое своеобразие «Сократа» — немыслимое в «настоящей» трагедии, но вполне уместное в «трагедии мещанской» сочетание очищенной, сглаженной речи (Аглая, Софроним) и речи обыденной, разговорной (Ксантиппа, Дрикса). Между тем у Болтиной эта обыденность почти не передана, живую речь здесь, как правило, заменяет изящный, но невыразительный пересказ.

К сожалению, не сохранилось свидетельств о восприятии перевода 1780 г. в современных читательских кругах. Характеристика «Сократа» в «Драмматическом словаре» (правда, более чем лаконичная) относится только к «преложению» Болтиной: «Сократ, Драмма в трех действиях, переведена с французского языка, напечатана при Московском университете в 1774 году. Сия пьеса должна быть уважаема в рассуждении материи, в ней находящейся, и точности перевода».¹⁰¹ По-видимому, сглаженность перевода вполне соответствовала вкусам автора «Драмматического словаря». В силу же каких причин он совсем не упомянул перевод 1780 г., неизвестно. По всей вероятности, он просто не знал об этой книге и даже не мог предположить, что в столь короткое время появились два разных перевода одного и того же «драмматического сочинения» Вольтера.

Приблизительно тогда же на русский язык была переведена (с некоторыми сокращениями, впрочем почти не ослабившими ее звучания) другая драма-памфлет Вольтера, подобно «Сократу», выданная им за перевод с английского. Речь идет о «трагикомедии» «Саул» (иначе — «Саул и Давид»), одном из самых разоблачительных и смелых его произведений «антибиблейского» цикла. В печать этот перевод, естественно, не попал: он распространялся (под заглавием «Саул и Давид») в списках — в составе рукописных сборников и отдельно.¹⁰²

Одновременно с комедийным творчеством Вольтера в Россию проникала и его высокая драматургия, как известно, составившая особую эпоху в истории французской общественной мысли, литературы и театра и оказавшая воздействие на умы и чувства людей во многих странах мира. Правда, в течение долгого времени «на театре» вольтеровская трагедия ставилась у нас только по-французски.

Так, например, в 1746 г. труппой Шарля де Сериньи были исполнены «Альзира» (комедия «Алджир», как она именовалась

¹⁰¹ Драмматический словарь, с. 131—132.

¹⁰² См.: ГПБ, собр. А. А. Титова, № 1927 и 2918.

в камер-фурьерском журнале)¹⁰³ и «Мерона».¹⁰⁴ В 1740—1750-х гг. силами кадетов ставились «Заира»¹⁰⁵ и «Эдип»,¹⁰⁶ а позднее «Магомет»¹⁰⁷ и «Брут».¹⁰⁸ Весной 1763 г. «Заира» была исполнена в Москве «кавалерами при дворе» (по сообщению С. А. Порошина, в этом спектакле «князь Петр Васильич Хованский Люзиньяна представлял весьма хорошо, а графиня Варвара Александровна Бутурлина ... была Заира и всем чрезвычайно понравилась»). Год спустя, отмечает тот же Порошин, «Заиру» сыграли в Петербурге актеры французской придворной труппы (в 1765 г. ими же был представлен «Магомет»)¹⁰⁹. В письме от 23 марта (3 апреля) 1772 г. Екатерина II известила Вольтера об исполнении этой же трагедии воспитанниками Смольного института.¹¹⁰ Наконец, спустя три года ее постановку на петербургском придворном театре «для удовольствия публики и не менее для собственной похвальной забавы» осуществило «некоторое благородное общество, имеющее вкус, охоту и таланты к театральным представлениям». Участники спектакля «аплодированы были всею публикою, для которой роздано было полторы тысячи билетов».¹¹¹

К этому времени, однако, существовал уже русский перевод «Заиры», сделанный А. Л. Дубровским.¹¹² «С начала сего текущего 1759 года, — сообщал он в „репорте“, поданном 16 июля

¹⁰³ Журналы церемониальный, банкетный, камер-фурьерские и путевые 1746 года, с. 17.

¹⁰⁴ Сведения о печатной программе этого спектакля, устроенного по случаю коронации Елизаветы Петровны, см.: Каталог изданий имп. Академии наук, ч. 2. Пг., 1915, № 283. — Французский текст программы находится в ЛО Архива АН СССР (Р. V, оп. 1-В, № 33, л. 1—5). См. также: Всеволодский-Гернгросс В. Н. Театр в России при имп. Елизавете Петровне. — В кн.: Сборник историко-театральной секции, т. 2. Пг., 1919, с. 75.

¹⁰⁵ Екатерина II имп. Соч., т. 12. СПб., 1907, с. 112. — Роль Оросмана исполнял И. И. Мелиссино, Люзиньяна — Т. И. Остервальд.

¹⁰⁶ См.: Дризен Н. В. Любительский театр при Елизавете Петровне (1741—1761) — Ист. вестн., 1895, т. 61, сент., с. 710.

¹⁰⁷ См.: Рус. Талия на 1825 год, с. 18.

¹⁰⁸ См.: Глинка С. Н. Записки. СПб., 1895, с. 60. — Преподавателем декламации в корпусе был знаменитый французский актер Офрен, исполнитель главных ролей в трагедиях Вольтера, лично с ним знакомый (там же, с. 99—100).

¹⁰⁹ Порошин С. А. Записки. СПб., 1881, стб. 14—15, 411. — Любопытное свидетельство знакомства в это время с «Заирой» см. в журн. «Полезное с приятным» (1769, полумесяц 4, с. 14—15).

¹¹⁰ См.: Р « а с п о п о » в а Н. Н. Хроника Смольного монастыря в царствование имп. Екатерины II, с. 20.

¹¹¹ Собрание новостей, 1775, ноябрь, с. 25—26; Санкт-Петербург. ведомости, 1775, 27 окт., № 86.

¹¹² Ранее в «Ежемесячных сочинениях» (1756, сент., с. 303—307) появился переведенный Дубровским диалог «О славе» — едва ли не первое проявление в русской печати интереса к китайской теме у Вольтера, которая была одним из важных аспектов его общественно-философской мысли. Об этом см.: Державин К. Н. Китай в философской мысли Вольтера. — В кн.: Вольтер. Статьи и материалы. Под ред. М. П. Алексеева. Л., 1947, с. 86—114.

1759 г. в Академическую канцелярию, — упражнялся я, ниже-подписавшийся, в переводе с французского языка Волтеровой трагедии Заиры в стихах, который и приведен мною к окончанию». ¹¹³

Перевод «Заиры» был выполнен «российскими стихами» без сколько-нибудь существенных купюр и замен, старательно, а местами и весьма искусно. Непреодолимым препятствием оказались для Дубровского лишь некоторые географические названия (например, «Charente» и «Bovine») и такие слова, как «мечеть» («mosquée») и «полумесяц» («croissant»), превратившиеся у него в фантастические «Мексь» и «Кроакан».

На рубеже 1750—1760-х гг. перевод этот несомненно мог получить спеническое воплощение и увидеть свет. Но этого не произошло, скорее всего ввиду отъезда Дубровского из Петербурга «для вояжирования в знатнейшие российские города и к Черному и Каспийскому морям» (вместе с С. Р. Воронцовым) и — позднее — за границу, где он оставался много лет. ¹¹⁴ Когда же перевод «Заиры» был наконец издан (усилиями самого Дубровского или каких-то его друзей), ¹¹⁵ — по-видимому, он показался читателям удручающе архаичным и неуклюжим. Недаром в «Драматическом словаре», посвятившем «Заире» пятнадцать прочувствованных строк, о переводе Дубровского не сказано ни слова. ¹¹⁶

Вскоре после Дубровского к вольтеровскому театру обратился семнадцатилетний студент Московского университета Д. И. Фонвизин. Внимание его привлекла «Альзира».

Впоследствии в «Чистосердечном признании» Фонвизин писал об этом своем опыте с некоторым смущением, как о «грехе молодости», едва достойном упоминания: «...признаюсь, что будучи недоволен переводом, не отдал его ни на театр, ни в печать». ¹¹⁷ Но и в этом его «финальном» сочинении-исповеди, и особенно в одном из его писем к сестре проскальзывают все же иные ноты. В «Чистосердечном признании» он отмечает, что благодаря успеху «Альзиры» «начал иметь некоторое мнение» о собственном даровании и был замечен «с хорошей стороны», в письме к сестре просит прощения за то, что еще не прислал ей экземпляр (список) своего перевода, и не без гордости сообщает причину: «Треть-

¹¹³ ЛО Архива АН СССР, ф. 3, оп. 1, № 236, л. 253.

¹¹⁴ См.: Поэты XVIII века, т. 1, с. 132. — Впрочем, перевод этот не был все же забыт: о нем вспомнил, характеризуя деятельность Дубровского, Н. И. Новиков, отметивший, что «предложение» сделано «весьма не худо» (Материалы для истории русской литературы, с. 35).

¹¹⁵ Заира. Трагедия господина Волтера. СПб., 1779. — Список трагедии: ГБЛ, ф. 313, № 2968, л. 80—117.

¹¹⁶ Драматический словарь, с. 59—60. — Возможно, что перевод Дубровского имел в виду Н. П. Николев, который в «Письме к Ф. Г. Карину» горестно сокрушался о судьбе «изнеженного французского дитяти», наряженного русским «предлагателем» в «дерюжную порфиру» (Н и к о л е в Н. П. Творения, т. 4. СПб., 1797, с. 169—170).

¹¹⁷ Фонвизин Д. И. Собр. соч. в 2-х т., т. 2. М.—Л., 1959, с. 94.

его дня после обеда был я у графа Г. Г. Орлова и вручил ему один. Он меня весьма благодарил. Тут же случился и граф Федор Григорьевич, которому я другой экземпляр принужден был отдать. На ямской же почте, конечно, и к тебе, матушка, приплю». ¹¹⁸

Таким образом, и современники, и сам Фонвизин рассматривали его «Альзиру» отнюдь не как безоговорочную неудачу. ¹¹⁹ Пьеса расходилась в списках, с интересом читалась и положила начало известности будущего драматурга. При этом поводов для огорчения было, конечно, вполне достаточно: в переводе имелись неточности и ошибки, александрийский стих Фонвизина не отличался ритмической четкостью и т. д. Но вместе с тем это был первый получивший некоторое распространение русский перевод вольтеровской трагедии вообще и «Альзиры» в частности, ¹²⁰ и притом перевод, не лишенный серьезных литературных достоинств. Фонвизин почти везде следовал оригиналу, пытаясь по возможности переводить «стих в стих», а главное — в том же стилистическом ключе. ¹²¹ Особенно примечательно весьма умеренное использование им славянизмов и прочих атрибутов «высокого штиля», тем более что ими изобилует второй перевод той же трагедии, осуществленный почти четверть столетия спустя. ¹²²

Его автор — П. М. Карабанов, — по-видимому, думал, что переводит предельно добросовестно и точно: от вольтеровского текста он отступал лишь изредка, не снабжал его собственными

¹¹⁸ Там же, с. 328.

¹¹⁹ Даже через много лет после создания перевода Фонвизин продолжал испытывать к «Альзире» особый, «личный» интерес. В апрельском письме 1778 г. из Парижа он сообщил: «В прошлый понедельник отворены были все театры. Мы с женою предпочли видеть „Альзиру“...» (Собр. соч., т. 2, с. 447). Выдающийся литературный памятник, письма Фонвизина из-за границы представляют большую ценность и по содержащемуся в них обширному вольтеровскому материалу. С замечательной живописностью и обстоятельностью писатель воссоздает в них, между прочим, пребывание Вольтера, «этого чудотворца», в Париже весной 1778 г., его увенчание на шестом представлении «Ирины», посещение им Французской Академии и т. д. (см.: там же, с. 440—442, 447—448, 469—472). См. также: Макогоненко Г. П. Денис Фонвизин, гл. 7.

¹²⁰ До последнего времени было известно три списка этого перевода — два в ГИМ (ф. 342, № 122 и ф. 445, № 111: явл. 1 с правкой Фонвизина) и один в ГБЛ (ф. 313, № 2968, лл. 38—79). По этим спискам трагедия была дважды опубликована Н. С. Тихоновым: Первое полн. собр. соч. Д. И. Фонвизина, как оригинальных, так и переводных. СПб.—М., 1888, с. 1—36; Материалы для Полн. собр. соч. Д. И. Фонвизина. СПб., 1894, с. 1—76. — Об этом, а также о датировке перевода см.: Фрейдкина И. С. Трагедия «Альзира» и ее место в раннем творчестве Д. И. Фонвизина. — Языковедение и литературоведение. Учен. зап. Духанбинского гос. пед. ин-та им. Т. Г. Шевченко, 1967, т. 51, с. 70—75. — Еще один список, относящийся к 1760-м гг., находится в ПД (р. II, оп. 1, № 466).

¹²¹ Подробнее об этом см.: Станкевич А. И. «Альзира» Вольтера в переводе Фон-Визина. — Рус. архив, 1887, № 40, с. 304—312. — См. также: Пигарев К. В. Творчество Фонвизина. М., 1954, с. 66.

¹²² Альзира, или Американцы, трагедия. Соч. г. Вольтера. СПб., 1786.

разъяснениями, — словом, почти ничего не привносил в этот текст от себя. Но, старательно «прелагая» пьесу Вольтера «российскими стихами», Карабанов как бы переносил ее в другую тональность; в его истолковании «Альзира» приобретала черты русской трагедии «сумароковского толка».

Даже в 1780-е гг. подобная интерпретация Вольтера производила тягостное впечатление. И. А. Крылов откликнулся на выход перевода в свет язвительным четверостишием, которое положило начало «антикарабановским высказываниям» в русской поэзии, сопоставлявшим творцу «российской „Альзиры“» почти до конца его дней:

Как Карабанов взял «Альзиру» перевесть,
И в аде слух о том промчался,
Тогда Вольтер, вздохнув, признался,
Что точно грешникам по смерти мука есть.¹²³

Однако Крылов все же выразил для того времени крайнюю точку зрения (возможно, отчасти продиктованную и личной неприязнью). Прямо противоположной, но тоже крайней была и точка зрения журнала Ф. О. Туманского «Зеркало света», поместившего хвалебный отзыв о самой трагедии и ее русском переводе. (Впрочем, в какой-то мере и это суждение было вызвано приводящими обстоятельствами: Карабанов деятельно участвовал в издании Туманского).¹²⁴ «О сочинении и расположении сея трагедии, — писал журнал, — говорить нет надобности, если токмо предуведомить читателей, что она есть произведение г. Вольтера и исполнена красот, свойственных дарованиям и образу мыслей великого сего мужа. Что касается и до перевода российскими стихами, то надобно отдать честь трудившемуся в переводе г. Карабанову, что он многие красоты подлинника изобразил на российском языке счастливо, и желательно, чтобы продолжил свое трудолюбие, подав опытами весьма хорошую о своих дарованиях надежду».¹²⁵

По всей вероятности, истина находилась посредине. Традиционная «красноустроенность», по-прежнему считалась отличительной чертой трагедийного стиля, но в столь преувеличенном виде уже тогда казалась архаичной. Российский «прелагатель» знаменитой французской трагедии не уловил перемен, происходивших в «российском языке».

Вскоре, однако, и он до какой-то степени это осознал. При подготовке второго издания (1798) Карабанов, не упуская случая восполнить пропуски и выправить ошибки, подверг перевод осо-

¹²³ Рус. архив, 1863, № 12, стб. 895.

¹²⁴ См.: Петровский Н. М. Библиографические заметки о русских журналах XVIII века. — Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. Акад. наук, 1907, т. 12, кн. 2, с. 320—322.

¹²⁵ Зеркало света, 1786, ч. 2, № 26, с. 165—166. — Там же «для примера» приводился перевод двух сцен трагедии (с. 166—168).

бенно серьезной переработке с точки зрения его языка. Так, «славенское» «днесь» он заменил не столь возвышенным «теперь», «зрак» — «взглядом» и соответственно «зрети» — «видеть», «яви» — «открой», «спастъ» — «спасти» и т. п. Обновление претерпел также поэтический синтаксис: в тексте 1798 г. значительно меньше инверсий. Разумеется, это «пересоздание» трагедии было лишь частичным; в ряде же мест Карабанов не только не облегчил стиль произведения, но наоборот — сообщил ему тяжеловесность, отсутствовавшую в первоначальной редакции. Но и столь скромная реформа сыграла свою роль: в этом исправленном виде «Альзира» была поставлена на сцене — «прежде на городском театре и потом в Гатчине (т. е. при дворе, — П. З.) и имела большой успех». ¹²⁶

Иначе сложилась судьба русского перевода трагедии «Магомет». Созданный гр. П. С. Потемкиным в середине 1770-х гг., он прочно утвердился на московской, а затем петербургской сценах и оставался в театральном репертуаре до конца века (и позднее). ¹²⁷ В московском Знаменском театре (1776—1780) исполнителями трагедии явились И. И. Калиграф (Магомет), по свидетельству Н. И. Ильина, «чудесно одаренный природою для ролей царей, тиранов и всех, кои называются первыми ролями», Дмитревский (Сейд) и его ученик В. П. Померанцев, по сообщению того же Ильина, «чрезвычайно хорошо» сыгравший чуждую ему «героическую» роль Зопира. ¹²⁸ В дальнейшем Дмитревский обратился к этой роли сам. По-видимому, он «занимал» ее в петербургских спектаклях 1795—1798 гг.; в ней он появился и в день своего прощания со сценой — 3 января 1799 г. ¹²⁹

Столь прочный театальный успех «Магомета» в первую очередь может быть объяснен, конечно, «важностью» (по определению «Драмматического словаря») ¹³⁰ его содержания. Отчасти этому способствовало и антимусульманское звучание трагедии: в эпоху русско-турецких войн появление на «российском театре» лжепророка — лицемера, честолюбца, тирана — и его жестоких и коварных сподвижников, насадителей ислама, вызывало у зрителей множество злободневных ассоциаций. Между тем в глазах властей подобное «оформление» придавало пьесе «благонамеренность», которой она на самом деле была совершенно лишена.

¹²⁶ Арапов П. Н. Летопись русского театра. СПб., 1861, с. 136. — См. также: Архив дирекции имп. театров, вып. 1, отд. 3, с. 150. — Не исключено, впрочем, что «Альзира» Карабанова ставилась и в ее исходной версии. См.: «Московские ведомости» № 126 от 30 марта 1784 г. («В следующий вторник, апреля 2 дня, представлена будет новая и никогда не игранная трагедия „Альзира“»).

¹²⁷ Чаянова О. Э. Театр Маддокса в Москве. 1776—1805. М., 1927, с. 242. — Пьеса ставилась и на сцене крепостных театров. См.: Дынин Т. А. Крепостной театр. Л., 1933, с. 280—281.

¹²⁸ Амфион, 1815, кн. 2, с. 109—110.

¹²⁹ Арапов П. Н. Летопись русского театра, с. 124.

¹³⁰ Драмматический словарь, с. 77.

Однако в такой же степени успех «Магомета» в России был обусловлен высокими литературными достоинствами его перевода. В «переложении» Потемкина французская трагедия не утратила ни одной из наиболее существенных черт ее художественного своеобразия. Напряженность действия, острота драматических ситуаций, обилие зрелищных эффектов, динамизм и взволнованность речи героев — все это передано им с большой рельефностью и впечатляющей силой. При этом он по возможности нигде не жертвовал точностью перевода: в русском тексте всего несколько купюр и замен, да и те не касаются, как правило, наиболее значимых мест оригинала.

В отличие от других аналогичных опытов Потемкина (ему принадлежат четыре перевода из Руссо) «Магомет» был опубликован лишь после его смерти, последовавшей в 1796 г.¹³¹ По всей вероятности, первоначально, несмотря на требование публики «видеть и сей перевод напечатанным»,¹³² его вполне удовлетворял успех «на театре»; позднее же, напуганный, подобно многим вольнодумцам прежних лет, революционными событиями во Франции, он вообще отказался от мысли увидеть этот свой труд в печати.¹³³ Издание 1798 г. несомненно готовилось без его участия: слишком уж много в нем погрешностей и ошибок. Впрочем, все они были выправлены при вторичном издании — двенадцать лет спустя.¹³⁴

Перевод трагедии «Меропа» был предпринят В. И. Майковым, — как известно, не владевшим «чужезванными» языками.¹³⁵ Но это немаловажное препятствие не помешало ему отдать дань восхищения вольтеровскому творчеству, с которым он мог быть знаком по переводам и отзывам, а также благодаря общению с крупнейшими драматическими актерами тех лет — Ф. Г. Волковым и И. А. Дмитревским, дружеским отношениям с участниками херасковского кружка — Фонвизиним и Богдановичем, наконец близости с таким горячим почитателем Вольтера, как Ф. А. Козловский. Существенную роль в обращении Майкова к переводу именно этой трагедии несомненно сыграл и Сумароков,

¹³¹ Магомет. Трагедия в пяти действиях. СПб., 1798.

¹³² См.: Санкт-Петербург. ведомости, 1778, 7 авг., № 63.

¹³³ Отрекаясь от прошлого, П. С. Потемкин в конце жизни, между прочим, писал с сожалением о том, что Вольтер, «поругаясь святой вере, легким и замысловатым слогом соблазнял слабые сердца и, может быть, многих теплой веры людей поколебал». Прах Вольтера, Руссо, Рейналя и Дидро, утверждал он, «не цветами должен быть покрыт, но потоптан ногами и покрыт всемирным проклятием» (из письма к И. И. Шувалову от 23 сент. 1794 г.: Моск. вестн., 1809, ч. 1, № 6, с. 90—92; перепеч.: Сев. Минерва, 1832, ч. 1, № 2, с. 104—108).

¹³⁴ Очевидно, за изданием 1810 г. наблюдал младший сын переводчика — С. П. Потемкин. Но этим роль его и ограничивалась. Указание П. П. Каратыгина на то, что С. П. Потемкин «вновь перевел „Магомета“ Вольтера, вероятно, находя перевод своего отца неверным или устарелым» (Ист. вестн., 1883, т. 13, авг., с. 3—66), ни на чем не основано.

¹³⁵ См.: Материалы для истории русской литературы, с. 69.

в конце жизни ставивший «Меропу» выше всех прочих театральных сочинений своего французского «совместника», а в представлении Майкова — и друга.¹³⁶

«Пиит и русския трагедии отец», Сумароков служил ему высочайшим образцом в собственном драматургическом творчестве (перу Майкова принадлежат трагедии «Агриопа» и «Фемист и Иеронима»). Примером Сумарокова вдохновлялся он, перелагая «Меропу». ¹³⁷ Трагедия Вольтера существовала для Майкова лишь в виде дословного прозаического перевода-подстрочника,¹³⁸ и, заново конструируя ее «по всем правилам театра», он, по-видимому, больше думал о своем русском предшественнике и старшем современнике, чем о фернейском мудреце. При всем их внешнем сходстве русская «Меропа» лишь отдаленно напоминала французскую. Перевод с перевода приводил к сильному искажению оригинала, нередко превращаясь в его стихотворный пересказ.¹³⁹

На сцене эта «переложенная в стихи из русския прозы» трагедия не ставилась, хотя, предпринимая свой труд, Майков, возможно, на это надеялся.¹⁴⁰ Ничего неизвестно и о театральной судьбе у нас двух других вольтеровских трагедий — «Брут» и «Смерть Цезаря». Однако успех «на театре» едва ли вообще входил в намерение переводчика — артиллерии капитана В. Т. Ивлева. Его прозаические переводы предназначались для чтения, и целью его было с предельной полнотой донести до читающих «соотчичей» их политическое звучание, их общественный пафос.¹⁴¹

Конечно, общественное содержание трагедий, уже «явившихся во чертах российского языка», не оставляло равнодушными русских людей 1760—1770-х гг. Едва ли проходили они мимо обличительных тирад против «суеверия» («Магомет»), против монар-

¹³⁶ См.: Майков Л. Н. О жизни и сочинениях В. И. Майкова. — В кн.: Майков В. И. Соч. и переводы. СПб., 1867, с. XVI—XXIII.

¹³⁷ Меропа, трагедия господина Вольтера. М., 1775.

¹³⁸ Как полагал Н. В. Губерти, этим подстрочником мог быть находившийся в его собрании рукописный перевод «Меропы», датированный 18 октября 1746 г. См.: Губерти Н. В. Материалы для русской библиографии, вып. 3. М., 1891, с. 549—554.

¹³⁹ О неосуществленном замысле Майкова «перевести» еще одну трагедию Вольтера — «Мариамна» — см.: Майков Л. Н. О жизни и сочинениях В. И. Майкова, с. XXVII.

¹⁴⁰ По всей вероятности перевод Майкова был положен в основу или послужил толчком для создания трагедии Ф. Козельского «Велесана» (Козельский Ф. Я. Соч., ч. 2. СПб., 1778, с. 65—133), представлявшей собой подражание «Меропе». Об этом см.: Гукровский Г. А. Очерки по истории русской литературы XVIII века. М. — Л., 1936, с. 104.

¹⁴¹ Рукописный перевод «Смерти Цезаря», относящийся скорее всего к 1760-м гг. и примечательный как раннее проявление интереса к этой трагедии, недавно обнаружил в библиотеке г. Вольфенбюттеля (ФРГ) и издал со своим комментарием Г.-Ю. пум Винкель (Смерть Цезаря. Der Tod Cäsars. Eine anonyme frühe russische Übersetzung von Voltaire's Tragödie. Faks.-Dr. einer Wolfenbütteler. Hs. mit einer Einl. von H.-J. zum Winkel. München, 1967). Других списков данного перевода не найдено.

хов — «невольников страстей» («Заира») и «просвещенных варваров», истребляющих дикие племена («Альзира»), мимо глухих политических аллюзий, содержащихся в «Меропе». Но в трагедиях, к которым обратился Иевлев, политическая тенденция обнаруживалась с необычайной даже для Вольтера очевидностью и силой. Дело, впрочем, было не столько в самой тенденции, сколько в характере воплощенных здесь идей. Под непосредственным впечатлением от пребывания в Англии, стране, где «царит любовь к свободе», Вольтер придал обеим своим «римским трагедиям» отчетливое антиираническое звучание, и этот благородный пафос (кстати, обеспечивший им огромный успех в эпоху Французской революции)¹⁴² не мог не встретить отклика в России екатерининских времен.

Отец, посылающий на казнь сына, который изменил республике; сын, убивающий отца из ненависти к деспотизму, — подобные ситуации не могли не вызвать глубокого сочувствия у тех, кто мечтал о «вольности» и грядущем «претворении» «тьмы рабства во свет», как не могли не внушать им «священного трепета» заключительные слова Люция Юния Брута и особенно центральный монолог убийцы Цезаря — Марка Юния Брута. Не случайно переводческими опытами Иевлева заинтересовался Новиков: в 1783 г. он издал «Брута», а четыре года спустя перепечатал «Смерть Цесареву», ранее напечатанную в Петербурге, в типографии Морского шляхетного кадетского корпуса. Вообще на протяжении 1780-х гг. у Новикова появилось довольно много «политических» трагедий. Среди них — «Гофолія» и «Эсфирь» Расина, «Гипермнестра» Лемьера, «Катилина» Кребийлона и, наконец, «Юлий Цезарь» Шекспира, изданный в переводе Н. М. Карамзина в 1787 г., т. е. почти тогда же, когда и «Смерть Цезаря» Вольтера.¹⁴³

Это одновременное появление двух драматических произведений, сюжетно столь близких (Вольтер широко использовал три первых акта шекспировской трагедии) и столь различных в художественном отношении,¹⁴⁴ весьма показательно как признак важных перемен, наметившихся в сфере литературно-эстетических вкусов, но в особенности как свидетельство все большего распространения в русском обществе и литературе свободолюбивых и оппозиционных настроений и идей.

Именно сюжетное сходство и обусловило общую печальную судьбу названных сочинений. 23 апреля 1794 г., в период жесто-

¹⁴² См.: Дер жавин К. Н. Театр Французской революции. М.—Л., 1937, с. 103, 120, 134.

¹⁴³ См.: Светлов Л. Б. Издательская деятельность Н. И. Новикова. М., 1946, с. 113.

¹⁴⁴ См.: Артамонов С. Д. Вольтер. «Смерть Цезаря». (Политические идеи Ренессанса и Просвещения). — В кн.: Писатель и жизнь, вып. 6. М., 1971, с. 231—243; Веһне Н. F. Th. Comparaison entre le «Jules César» de Voltaire et celui de Shakespeare. Götingue, 1872.

чайшего политического гнета, сменившего официальное просвещение прежних лет, по распоряжению главнокомандующего в Москве кн. А. А. Прозоровского оба они были «отложены» в число вредных книг, причем уничтожение трагедии Вольтера явилось личной «заслугой» Прозоровского: незадолго до того он указал на нее цензорам как на книгу, которая «весьма недостойна существовать».¹⁴⁵

Но это был уже совсем иной этап в истории общественной мысли и, следовательно, «русского Вольтера», а до тех пор на русском языке успели еще появиться две его трагедии — «Китайский сирота» и «Эдип».

Первый из этих переводов принадлежал сержанту Измайловского полка В. Н. Нечаеву; второй — кн. А. И. Голицыну и был его «первоначальным драматическим трудом».¹⁴⁶ Оба перевода были выполнены в «пристойной» манере, т. е. в стихах, без грубых искажений воспроизводимого текста, который лишь иногда то слегка сокращался, то распространялся, но и без всяких попыток передать его стилистическое своеобразие. Впрочем, некоторая «унылость» этих переводов не могла особенно помешать усвоению выраженных в них политических и философско-этических идей. Перерождение жестокосердного «дикаря» Чингиз-хана в «просвещенного» монарха, равно как и тираноборческие и антиклерикальные реплики, а подчас и целые тирады, вложенные в уста героев «Эдипа», воспитывали русских читателей (сценического воплощения переводы Нечаева и Голицына не получили), побуждали их к мучительным раздумьям, «нежелательным» сопоставлениям и печальным выводам относительно порядков, господствовавших в их собственной стране.

Итак, в поле зрения русских людей на протяжении 1760—1780-х гг. попала бóльшая и, во всяком случае, весьма важная часть вольтеровского театра: комедии «Нескромный», «Шотландка» и «Нанина», «драматические сочинения» — «Сократ» и «Саул», трагедии «Заира», «Альзира», «Магомет», «Меропа», «Брут», «Смерть Цезаря», «Китайский сирота» и «Эдип».¹⁴⁷ Несравненно скромнее была известна в России XVIII в. вольтеровская поэзия (в точном смысле слова), хотя Вольтер издавна слу-

¹⁴⁵ См.: Тихонравов Н. С. Соч., т. 3, ч. 2. М., 1898, с. 56.

¹⁴⁶ «Китайский сирота», трагедия господина Волтера. СПб., 1788; Эдип, трагедия г. Волтера. М., 1791.

¹⁴⁷ См. также отзыв С. Р. Воронцова (в письме к брату А. Р. Воронцову) о трагедии Вольтера «Скифы», с которой он ознакомился (в оригинале) вскоре после ее выхода в свет (1767) и которую, подобно многим современникам, нашел «очень слабой» (Архив кн. Воронцова, кн. 32. М., 1886, с. 108). О постановке восьми трагедий Вольтера («Аделаида Дюгеклен», «Альзира», «Заира», «Китайский сирота», «Магомет», «Меропа», «Танкред», «Эдип») на французском языке в Петербурге в 1780—1790-е гг. см.: Архив дирекции имп. театров, вып. 1, отд. 3, с. 179, 180, 187, 188, 190, 193, 194, 204, 205, 208.

жил едва ли не самым бесспорным примером величайшего современного поэта, а «Волтеров дар» — синонимом поэтического таланта вообще.¹⁴⁸

В сознании русских людей XVIII в. Вольтер-поэт был по преимуществу поэтом эпическим и в первую очередь автором «Генриады». В литературных кругах героическая поэма Вольтера приобрела сравнительно широкую известность задолго до выхода в свет ее первого перевода. Как отмечалось, о ней в дифирамбических тонах писали А. П. Сумароков и автор «Опыта о стихотворстве». Не один десяток строк посвятил ей и В. К. Тредиаковский в «Преддизъяснении об ироической пииме», предпосланном его «Тилемахиде» (1766). Правда, он не столько восхищался поэмой, сколько полемизировал с ее творцом. В его представлении «Ганриада Волтерова на французском», равно как и «Фарсалия Луканова, и Пуническая война Силиева на латинском языке, также Избавленный Иерусалим Тасса на италианском, Лузиада Камоенсова на португальском, Потерянный рай Милтонов на англинском»,¹⁴⁹ прямого отношения к жанру героической поэмы не имела. Это было произведение на сюжет из новой истории. Между тем «история, служащая основанием эпической пииме, долженствует быть или истинная или уже за истинную издревле преданная. Однако историческому сему бытию не сродно отнюдь быть взяту, ни древних, ни средних, а только меньше еще новых веков в истории». Впрочем, главным объектом этой весьма решительной критики был не Вольтер, а Ломоносов, сделавший попытку создать героическую поэму на национально-исторический сюжет.¹⁵⁰ Обвиняя автора «Генриады» в «оскорблении Величества», Тредиаковский счел все же своим долгом отметить, что «по многим... титулам» Вольтер занимает место «между французскими знаменитейшими писателями». Тем самым он как бы подчеркивал, что его нападки на «Генриаду» обусловлены отнюдь не личной неприязнью к ее создателю, но кровной заинтересованностью в развитии эпического жанра.

Это чрезвычайное внимание к судьбам эпопеи характерно для всего русского XVIII в.¹⁵¹ Недаром из литературно-эстетических произведений Вольтера распространение в России тех лет полу-

¹⁴⁸ См.: Полезное увеселение, 1761, № 23, с. 198; И то и сьо, 1769, июль, неделя 28; Новые ежемесячные сочинения, 1788, ч. 19, с. 63.

¹⁴⁹ Тредиаковский В. К. Тилемахида. СПб., 1766, т. 1, с. XIV—XVI.

¹⁵⁰ См.: Гуковский Г. А. Тредиаковский как теоретик литературы. — В кн.: Русская литература XVIII века. Эпоха классицизма. М.—Л., 1964, с. 51—52.

¹⁵¹ См.: Соколов А. Н. Очерки по истории русской поэмы XVIII и первой половины XIX века. М., 1955.

чил лишь его «Опыт об эпической поэзии». В 1763 г. сокращенный перевод «Опыта» (в его первоначальной редакции) появился в журнале «Невинное упражнение».¹⁵² В 1781 г. отдельной книжкой вышла в свет вводная глава «Опыта» (в его окончательном варианте) — «О различии национальных вкусов».¹⁵³ В 1787 г. фрагмент второй главы был напечатан вместо предисловия к русскому переводу трагедии Шекспира «Ричард III».¹⁵⁴

«Опыт об эпической поэзии» собирался также переводить Я. Б. Княжнин.¹⁵⁵ Намерения своего он, однако, не выполнил, по всей вероятности отвлеченный другими аналогичными трудами: как известно, в середине 1770-х гг. переводческая деятельность служила ему единственным средством к существованию. Самым большим и сложным из этих трудов была, конечно, «Генриада», отнявшая у него много времени и сил.¹⁵⁶

Княжнин перевел всю огромную поэму Вольтера без каких-либо изъятий и заметных искажений смысла. (Сокращению подвергся лишь комментарий, подчас достигавший значительных размеров и изобиловавший подробностями, которые для русского читателя не представляли особого интереса). Это свидетельствовало о превосходном знании переводчиком французского языка и французской истории. В противном случае он едва ли сумел бы с такой тщательностью передать текст поэмы, столь насыщенный именами исторических деятелей — великих и малых, географическими названиями, всевозможными параллелями, отсылками, намеками и т. п. Однако точность была достигнута им ценой компромисса: рифмованный александрийский стих оригинала он заменил шестистопным ямбическим, но белым стихом.

Весьма возможно, что к этому решению Княжнин пришел под воздействием поисков и открытий такого рода на Западе и у нас. Наибольшее значение должны были иметь для него эксперименты в этой области Сумарокова и особенно Тредиаковского, ратовавшего за поэзию без рифмы, которую он называл «шумихою»

¹⁵² Невинное упражнение, 1763, янв., с. 13—21; февр., с. 51—56; март, с. 99—111; апр., с. 143—155. Пер. Е. Р. Дашковой. — Об этом см.: Вестн. Европы, 1810, ч. 49, № 1, с. 150.

¹⁵³ О эпическом стихотворстве. Из соч. г. Волтера. СПб., 1781. — В этой же связи см.: Письмо к Волтеру из сочинений г. Юнга. СПб., 1782, с. 3. — Ссылку на «Опыт» см.: Растущий виноград, 1786, июнь, с. 70—71.

¹⁵⁴ Жизнь и смерть Ричарда III, короля аглинского, трагедия господина Шакспера. СПб., 1787, с. 3—5.

¹⁵⁵ См.: Семеновиков В. П. Собрание, старающегося о переводе иностранных книг, учрежденное Екатериной II. СПб., 1913, с. 61—62, 81—82.

¹⁵⁶ Генриада, героическая поэма в десяти песнях, сочинение г. Вольтера. СПб., 1777. — К переводу поэмы Княжнин приступил не позднее 1774 г. Во всяком случае, в приложении к книге «Вторый Кандид, уроженец китайский» (1774) сообщалось о предстоявшем выходе в свет первых двух песен. Как «взятая в перевод» обозначена «Генриада» и в объявлении от «Собрания, старающегося о переводе...» (Санкт-Петербург. ведомости, 1775, 24 апр., № 38).

и «отроческою игрушкою, недостойною мужских слухов».¹⁵⁷ Но не исключено и более простое объяснение, в пользу которого и все княжнинские переводы из Корнеля: переводческий труд не вдохновлял русского поэта, являлся для него занятием второстепенным и потому не заслуживал чрезмерных усилий.

Не случайно свои подражания вольтеровским трагедиям — «Ольгу», «Владисана», «Софонисбу», которые он рассматривал — без достаточных оснований — как сочинения вполне оригинальные, Княжнин «оформил» в обычной манере.¹⁵⁸ Сходным образом поступил он и с шутивным посланием Вольтера «Ты и Вы», которое преобразовал в лирическое «письмо».¹⁵⁹

Переложенная российскими белыми стихами «Генриада» не произвела на русских людей большого впечатления. Сообщая о появлении княжнинского перевода, «Санкт-Петербургский вестник» воздержался от каких-либо суждений о нем, ограничившись похвалами «славному сочинителю» поэмы, которая «почитается неким драгоценным сокровищем стихотворства».¹⁶⁰ Довольно холодно отозвался об этом опыте Княжнина даже такой убежденный сторонник белого стиха, как Радищев, заметивший в «Путешествии из Петербурга в Москву», что «гораздо бы эпической поеме свойственное было, если бы перевод „Генриады“ не был в ямбах, а ямбы некраесловные хуже прозы».¹⁶¹ Еще резче высказывались младшие современники Княжнина — митрополит Евгений, утверждавший, что «Волтерова „Генриада“ была бы на русском лучше и достойнее своего переводчика, если бы делана была не на подряд»,¹⁶² и С. Н. Глинка, сожалевший, что на этот труд «потерял он время, чернила и бумагу».¹⁶³

¹⁵⁷ См.: Гуковский Г. А. Русская поэзия XVIII века. Л., 1927, с. 103—116.

¹⁵⁸ Кроме того, Княжнин «взял для перевода» трагедию Вольтера «Триумвират», но этот его замысел, по всей вероятности, реализован не был (см.: Семенников В. П. Собрание, старающееся о переводе... с. 86).

¹⁵⁹ Отметим попутно, что Вольтер был одним из персонажей стихотворной сказки Княжнина «Волосочесатель-сочинитель», в основу которой поэт положил известный анекдот о Вольтере и парикмахере Шарле Андре — авторе трагедии «Лиссабонское землетрясение» (см.: Стихотворная сказка (новелла) XVIII—начала XIX в. Л., 1969, с. 631).

¹⁶⁰ Санкт-Петербург. вестн., 1778, ч. 1, май, с. 396—400. — Тремя месяцами раньше в том же журнале (февр., с. 174) было помещено стихотворное обращение к директору Академии наук С. Г. Домашневу, которому он первоначально намеревался «приписать» (т. е. посвятить) свой труд. Помимо неизбежных похвал этому «питомцу чистых муз» и «любимцу Аполлона» (которому Княжнин был, по-видимому, чем-то обязан), а также традиционных самоуничижительных «признаний», посвящение это содержало развернутую характеристику Вольтера, прежде всего как «Виргилия Франции», иными словами — эпического поэта.

¹⁶¹ Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. 1. М.—Л., 1938, с. 353. (Ямбу Радищев предпочитал «ексаметр»).

¹⁶² Болховитинов Е. А. Словарь русских светских писателей. т. 1. М., 1845, с. 289.

¹⁶³ Глинка С. Н. Записки, с. 79.

Вполне вероятно, что именно несовершенство княжнинского перевода побудило обратиться к поэме А. И. Голицына. Перевод его, изданный тринадцать лет спустя,¹⁶⁴ был выполнен «настоящими» стихами; но этого оказалось недостаточно: в нем нашпи воплощение лишь самые общие контуры «Генриады», лишь основные ее эпизоды и мысли, подробности же или исчезли вовсе, или потускнели, приобрели иную окраску и вид, подчас изменившись до неузнаваемости, да и о «красоте» французских стихов тоже можно было только догадываться.¹⁶⁵ Но самое появление этого нового перевода говорило о неугасавшем интересе русских людей к поэту, «превосшедшему славою Virgилья и Омира»,¹⁶⁶ и его «превосходной эпопее».¹⁶⁷

Это определение принадлежало М. М. Хераскову, который употребил его во «Взгляде на эпические поэмы», предпосланном третьему изданию «Россияды» (1796). По мнению Хераскова, его поэма относилась к тому же роду эпических произведений, что и «Генриада»: в обеих воспевался «случай, в каком-нибудь государстве происшедший и целому народу к славе, к успокоению или, наконец, к преобразению его послуживший».¹⁶⁸ Вольтеровское воздействие с большей или меньшей силой проявилось и в композиции русской эпопеи, и в построении ряда эпизодов, и в обрисовке действующих лиц, и в применении «чудесного», а также аллегорий, и в некоторых других существенных и второстепенных чертах.¹⁶⁹

Однако Вольтер был для Хераскова не только эпическим поэтом. Еще в середине 1760-х гг. внимание его привлек один из самых замечательных образцов философской лирики Вольтера — «Извлечение из Экклезиаста».¹⁷⁰ Мысль самостоятельно обработать — подобно многим соотечественникам и прежде всего Сумарокову — библейский текст и передать стихами его «глубокую

¹⁶⁴ Генриада, героическая поэма господина Волтера. М., 1790. — О глубоко сочувственном отношении к Вольтеру свидетельствует также акростих Голицына, помещенный в третьей части его «Сочинений и переводов» (М., 1798, с. 24).

¹⁶⁵ См. отзыв Н. М. Карамзина об этом переводе: Моск. журн., 1791, ч. 2, кн. 2, с. 207—208.

¹⁶⁶ Санкт-Петербург. вестн., 1780, ч. 6, окт., с. 283. — «Полуденным Омиром» назван был Вольтер и в стихотворении «О „Храме дружбы“ г. Волтера» (Вечера, 1772, ч. 1, вечер 23, с. 183—184), представлявшем собой любопытный отклик на «Le Temple de l'Amitié».

¹⁶⁷ В 1780 г. превосходный стихотворный перевод шестой и девятой песен «Генриады» появился в «Академических известиях» (ч. 5, май, с. 85—95; июнь, с. 197—208). Одновременно существовал и прозаический перевод поэмы, оставшийся ненапечатанным. См.: ГБЛ, ф. 313, № 44.

¹⁶⁸ Херасков М. М. Творения, ч. 1. М., [1796], с. XVIII.

¹⁶⁹ Об этом см.: Сидорова Ю. Н. «Россияда» М. Хераскова и «Генриада» Вольтера. — В кн.: Проблемы изучения художественного произведения, ч. 1. М., 1968, с. 77—78; Thiergen P. Studien zu M. M. Cheraskovs *Versepos* «Rossijada». Bonn, 1970, S. 159—167.

¹⁷⁰ Почерпнутые мысли из Экклезиаста. М., 1765.

премудрость» и «чистое нравоучение», его «великолепие» и «сладость», «споспешествуя» тем самым «пользе общества» и «всего человеческого рода», не воодушевляла Хераскова. Подобное «предприятие» отпугивало его, но, по-видимому, не столько трудностью «писания святого мужа» слабым силам «недовоспитанного свыше разума», как он утверждал, сколько непривычностью «восточного» (иными словами, библейского) стиля, который ассоциировался с беспорядочным ходом мыслей, непрерывными повторениями, необычной смелостью образов и выражений. Между тем у Вольтера от этого «восточного» стиля осталось немного: слишком уж он противоречил классическим нормам. В его истолковании десятиглавая «книга» стала небольшой, четко организованной поэмой с правильным чередованием ритмов и рифм и симметричным строфическим членением. «Упорядоченность» эта в первую очередь и привлекла Хераскова, который увидел в переводе вольтеровского «Извлечения» способ, «не покидая следов мудрого пророка», но и не следуя ему вполне, выразить свое этическое кредо. Впрочем, переводчиком он себя не считал; ему казалось, что он лишь «заимствовал нечто» от Вольтера, в остальном сохраняя полнейшую свободу.

В столь категорической форме это утверждение не соответствовало истине: в основе «Почерпнутых мыслей из Екклесиаста» лежал вольтеровский текст, причем значительная часть его была переведена более или менее точно. Что же касается «перемен», о которых сам Херасков сообщал читателям, то главная из них состояла в смягчении религиозного скептицизма и прежде всего сомнений в бессмертии души. Смутили его и отдельные недостатки «нравственные» рассуждения: так, в его переводе полностью исчезла строфа о превратностях любви и фрагмент о притягательной силе порока, замененный наставлениями «любить свою жену» и «внушать премудрость чадам». Несколько притупил он также звучание некоторых эпикурейских призывов Вольтера — наслаждаться «радостями стола», «занимательными беседами» и т. п.

Неоднократно нарушает Херасков и вольтеровскую ритмику: вместо строго выдержанного чередования трех строф, состоящих из шести семисложных стихов, и трех строф, состоящих из четырех стихов двенадцатисложных, у него широко использован трехстопный и смешанный четырехстопно-трехстопный и трехстопно-шестистопный ямбический стих.

Тем самым поэме сообщались новые, не вольтеровские черты: разрушалась ее безупречная правильность, сильнее, чем у Вольтера, слышались в ней чувствительные, элегические тона. Именно поэтому «Почерпнутым мыслям» была суждена столь долгая для переводного сочинения жизнь. С течением времени, по мере нарастания новых настроений, поэма Хераскова становилась все более современной. Особое сочувствие, несомненно, вызывала она в масонских кругах, где культивировалась морально-религиозная

философия и поэзия.¹⁷¹ Не мог не понять этого и сам Херасков, в середине 1770-х гг. связавший свою судьбу с масонством:¹⁷² в 1779 г. у Новикова он выпустил второе издание «Почерпнутых мыслей», а в 1786 г. у него же — третье, кстати частично конфискованное.¹⁷³ Включил он их и в седьмой том своих «Творений», вышедший на рубеже веков.¹⁷⁴ Правда, ни одно из них не являлось механическим воспроизведением предшествующего. В каждом из них нетрудно обнаружить признаки эстетической эволюции Хераскова и литературного движения эпохи.

С наибольшей отчетливостью проявилось это в его напряженной работе над языком произведения, который (за редкими исключениями) «улучшался» от издания к изданию, причем дело было не столько в замене неудачных слов и неловких оборотов, сколько в довольно последовательном устранении элементов «высокого штиля» и вообще разного рода архаизмов. «Вкушати» — «вкушать», «сладко питье» — «напитки сладкие», «имети» — «иметь», «ко гибели» — «к вреду», «виются» — «вьются», «сумнений» — «сомнений», «катору» — «которой», «проводжай» — «проводи», «благодарити» — «благодаренье», — число подобных (и более сложных, потребовавших перестройки целых строк и фраз) «перемен» все время возрастало. И хотя усвершенствование это протекало не гладко и поэт то вводил те или иные исправления, то начинал сомневаться и отменял их (так поступил он при подготовке третьего издания, которое оказалось более умеренным, чем второе), — в конце концов его стремление по возможности приблизить поэму к новым вкусам и требованиям одержало верх. Вновь исправляя в последние годы жизни свои сочинения, Херасков ориентировался на художественные открытия младших современников — иными словами, на карамзинскую школу.

В седьмом томе «Творений» Херасков поместил и другой перевод из Вольтера, названный им «Стихи (подражание французским)».¹⁷⁵ Это были знаменитые стансы «К г-же дю Шатле» (1741), которым он, действуя в духе времени, придал почти не свойственную им чувствительность и песенное звучание. О вольтеровских поэмах — «славимой» героической и «вредной, но остроумной» герой-комической — вспоминал он во вступлении к «Бахаряне».¹⁷⁶ Вольтером был навеян и предпосланный этой «волшебной повести» эпиграф (начало сказочки «Что нравится жен-

¹⁷¹ См.: Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II. Пг., 1917, с. 101—104.

¹⁷² См. очерк И. Н. Розанова о Хераскове в кн.: Масонство в его прошлом и настоящем, т. 2. М., 1915, с. 38—51.

¹⁷³ См.: Лонгинов М. Н. Новиков и московские мартинисты. М., 1867, с. 049.

¹⁷⁴ Херасков М. М. Творения, ч. 7, с. 3—13.

¹⁷⁵ Там же, с. 396—397.

¹⁷⁶ Херасков М. М. Бахаряна, или Незвестный. М., 1803, с. 5.

щинам»¹⁷⁷ Сочувственный отзыв о «Заире» («прекрасная трагедия Волтерова») и осуждающий — о «Бруте» («дерзкая трагедия Волтерова») содержатся в «Пилигримах, или Искателях счастья» (1795).¹⁷⁸ Наконец, высокая общая оценка вольтеровской трагедии заключена в стихотворении «Поэт»:

Трагедии писать нам подали пример
Софокл, Есхил, Расин, Корнелий и Волтер.¹⁷⁹

Из философско-дидактических поэм Вольтера наибольшую известность в России XVIII в. получили «Речи в стихах о человеке». Первая из этих «речей» — «О равенстве состояний» — появилась в 1763 г. в стихотворном переводе С. И. Глебова.¹⁸⁰

Глебов не только с чрезвычайной добросовестностью воспроизвел поэму Вольтера, но и попытался приблизить ее к отечественному читателю, заменив некоторые французские имена (Пьерро, Колен, Перетта) русскими — Сидор, Карп, Агафья, Фрол. Сочетание этих простонародных имен с условными вроде Дамиса, Эглеи и Тирсиса могло и тогда показаться странным, но вместе с тем в сознании русских людей эти штрихи должны были сообщать приведенным у Вольтера примерам большую достоверность. Не удивительно, что перевод Глебова надолго сохранил свою привлекательность: четверть века спустя он был перепечатан в журнале «Новые ежемесячные сочинения» по настоянию Е. Р. Дашковой, полагавшей, что «перевод так удачен, что мало подобных на нашем языке найти можно».¹⁸¹

Незадолго до переиздания глебовского перевода журнал «Что-нибудь» опубликовал прозаическое переложение той же самой «речи».¹⁸² Склонение на русские нравы было в нем доведено до логического предела: вместо «Париж» в переводе стоял «Санкт-

¹⁷⁷ По свидетельству Н. И. Новикова, сказочку эту перевел С. Г. Домашнев (Материалы для истории русской литературы, с. 35), но перевод его до нас не дошел.

¹⁷⁸ Херасков М. М. Творения, ч. 3, с. 240. — Там же (с. 232) см. упоминание «Микромегаса» — «Волтерова сочинения, известного на российском языке».

¹⁷⁹ Херасков М. М. Поэт. М., 1805, с. 12. — Вольтеровские мотивы в драматургии Хераскова, особенно в его ранней трагедии «Венецианская монахиня», в свое время отметил Г. А. Гуковский (Очерки по истории русской литературы XVIII века, с. 110—111) и, вслед за ним, Х.-Б. Хардер (Harder H. B. Studien zur Geschichte der russischen klassizistischen Tragödie. Wiesbaden, 1962, S. 104—105, 117, 127).

¹⁸⁰ Невинное упражнение, 1763, явл., с. 5—10. — См.: Чернышева Т. П. Малоизвестные московские журналы 1760—1764 гг. («Невинное упражнение», 1763). — Учен. зап. Моск. пед. ин-та им. В. П. Потемкина, 1959, т. 94, № 8, с. 66—67.

¹⁸¹ Новые ежемесячные сочинения, 1788, ч. 24, март, с. 70—81. — Подражание этой «речи» под названием «Письмо о равенстве состояний человеческих к Г. Н.» см.: Лекарство от скуки и забот, 1786, ч. 1, № 24, с. 249—255.

¹⁸² Что-нибудь, 1780, л. 24, с. 1—6.

Петербург», — правда, с соответствующим пояснением под строкой. Там же была помещена и вторая «речь», в столь же добросовестном, но столь же бесцветном прозаическом переводе.¹⁸³

Наконец, в 1788 г. «Речи о человеке» появились отдельной книгой в переводе (опять-таки прозаическом) И. Г. Рахманинова. В изданный им томик вошло шесть поэм из семи (опущена была «Речь о наслаждении», видимо отпугнувшая его своим гедонизмом), но и в таком виде рахманиновский перевод был несравненно полнее предыдущих.¹⁸⁴

В следующем году «Речи о человеке» — или, как назвал их Рахманинов, «Философические речи о человеке» — увидели свет вторично, в составе сборника «Сатирический дух г. Вольтера»,¹⁸⁵ и тогда же сибирский литературный журнал «Иртыш, превращающийся в Иппокрену» поместил несколько фрагментов этого произведения, на сей раз в стихотворном переводе И. И. Бахтина,¹⁸⁶ — 10 строк из первой «речи», 16 — из четвертой и по четверостишию из шестой и седьмой. Правда, вне контекста эти вырванные наудачу строки больше напоминали сентенции или афоризмы, и лишь указание самого Бахтина возвращало читателей к мысли о Вольтере.¹⁸⁷

«Многоступенчатым» явилось также знакомство русских людей с сатирической поэмой Вольтера «Тактика». На протяжении четырех лет появилось три разных ее перевода.

Первый по времени был выполнен в прозе подпрапорщиком Преображенского полка Ф. Левченковым, который стремился «подать любопытствующему обществу какое ни есть об оном (сочинении, — П. З.) сведение». Формула эта (включенная в посвящение перевода тогдашнему фавориту Екатерины II С. Г. Зоричу) была отнюдь не лишней: более чем смутно понимая французский текст, с невероятным усилием продираясь через встречающиеся в нем названия и имена, он лишь очень приблизительно изложил поэму, на каждом шагу отступая от оригинала, исправляя Вольтера, сокращая, фантазируя, — словом, искажил произведение почти до неузнаваемости. «Le roi brillant qui forma Lentulus» (т. е.

¹⁸³ Там же, с. 6—8; л. 25, с. 1—3. — Вероятным автором этих переводов был В. В. Лазаревич.

¹⁸⁴ Философические речи о человеке. Соч. г. Вольтера. СПб., 1788.

¹⁸⁵ Сатирический дух г. Вольтера, или Собр. некоторых любопытных сатирических его сочинений. СПб., 1789, с. 1—146 (отд. pag.).

¹⁸⁶ Иртыш, превращающийся в Иппокрену, 1789, окт., с. 34—36; перепеч.: Бахтин И. И. И я автор, или Разные мелкие стихотворения. СПб., 1816, с. 14—17. — Ср. его более позднюю повесть «Степаша, или Образ воспитания» (Дух журналов, 1817, ч. 23, кн. 42, с. 677).

¹⁸⁷ Кроме того, в журнале «Иртыш, превращающийся в Иппокрену» появились следующие сочинения Вольтера: фрагмент «Основ философии Ньютона» в переводе П. П. Сумарокова (1789, сент., с. 34—48), «Песнь Иоанна Плокофа» (1790, июнь, с. 58—64) и «Речь архиепископа Николая Харистского» (1790, июль, с. 51—58) в переводе И. Б. Лафинова. См.: Рак В. Д. Переводы в первом сибирском журнале. — В кн.: Очерки литературы и критики Сибири. Новосибирск, 1976, с. 33—35.

Фридрих II) превратился у него в «самого толь славного государя, восставленного Лентулом», «Béarnois» (т. е. Беарнец) — в «Берноя», «trop fortuné badaud» — в «довольно щастливый Богдад», трагедия «L'Orphelin de la Chine» (т. е. «Китайский сирота») — в некую особу женского пола по имени Орфелина (по аналогии с Семирамидой и Меропой), «le peintre heurieux des Bourbons, des Bayards» (имеется в виду Ж.-А.-И. Гибер, автор «Опыта о тактике» и трагедии «Connétable de Bourbon») — в «хорошего живописца из Бурбонцов и Баярд», «l'impraticable paix de l'abbé de Saint-Pierre» (т. е. недостижимый вечный мир аббата де Сен-Пьера) — в «истину, изъясняющую мир по слову известного нам святого Петра», и т. п.¹⁸⁸

Перевод Кострова¹⁸⁹ совершенно отменял предшествующий. Он не только вполне точно передавал смысл произведения (за исключением все той же злополучной финальной строки о вечном мире аббата де Сен-Пьера: Костров принял его за римского папу), но и воссоздавал с немалым мастерством вольтеровский александрийский стих. И тем не менее вскоре вышел еще один перевод «Тактики». Его автор, подлекарь (впоследствии доктор медицины Геттингенского университета) Д. М. Огиевский, о своих предшественниках, видимо, не подозревал, иначе он вообще вряд ли отважился бы на это столь непривычное для него дело. Сопоставляя свой перевод с подлинником, или, как писал он в посвящении, «сообразуясь красоте слога неподражаемого Вольтера», Огиевский не мог не признать, что «больше имел побуждения, нежели оказал успех», и «в рассуждении совершенства» подлежит «общему жребию начинающих упражняться».

По существу в этих немногих вводных словах заключалась довольно точная характеристика переводчиком собственного труда. Оригинальный текст с его обилием исторических имен и географических названий в конечном счете он понял не хуже Кострова, но «красота слога» пропала в его переводе безвозвратно. Исчез лаконизм, исчезла напряженность вольтеровского стиха; поэма растворилась в море слов: в среднем на каждую строку Вольтера приходится три, введенных переводчиком от себя, — иногда с целью украсить или разъяснить оригинал, но чаще всего в силу слабого умения «переводить в стихи».¹⁹⁰

Вообще умение это на протяжении 1760—1780-х гг. обнаружали немногие. Помимо уже названных Глебова и Кострова (а если говорить и о трагедии — Фонвизина и Потемкина), к их числу следует отнести анонимных переводчиков диалога «Пегас и старик»,¹⁹¹ философской сказочки «Азолан» (с помощью вольт-

¹⁸⁸ Генеральное мнение о «Тактике» г. Гиберта, сочиненное господином Вольтером. СПб., 1777.

¹⁸⁹ Тактика, соч. г. Вольтера. М., 1779.

¹⁹⁰ Рассуждение о воинском искусстве, соч. госп. Вольтера. СПб., 1780.

¹⁹¹ Модное ежемесячное издание, 1779, ч. 4, дек., с. 84—92.

ного басенного метра довольно верно передавшего изящество вольтеревского восьмисложного стиха)¹⁹² и подписи к портрету Лейбница;¹⁹³ а также И. И. Виноградова, весьма удачно «преложившего» многочисленные стихотворные иллюстрации, которые приводились в книге «*Mémoires et anecdotes pour servir à l'histoire de Voltaire*» (1780): первое стихотворение Вольтера «*A Monseigneur, fils unique de Louis XIV*», послание к маршалу де Виллару, экспромт «*Mon Henri quatre et ma Zaïre*», послание к маркизу д'Адемару и др.¹⁹⁴

Однако, по-видимому, опыт этот оказался для Виноградова слишком трудным. Во всяком случае, следующий свой перевод из Вольтера он сделал прозой. Речь идет о «Естественном законе», программном сочинении Вольтера-деиста, в котором воплотилась его мечта о единой и универсальной философской религии.¹⁹⁵ Правда, в некоторых экземплярах русской книги отсутствовала едва ли не самая важная заключительная часть поэмы — «Молитва» («*Prière*»), но виноват в этом был не переводчик. Вероятнее всего предположить в данном случае вмешательство цензора, но не исключено и «превентивное» изъятие фрагмента издателем, не пожелавшим рисковать.¹⁹⁶

Не случайно к этому фрагменту так часто обращались поэты тех лет. В 1772 г. его сравнительно точно перевел Н. А. Львов;¹⁹⁷ около 1776 г. — Г. Р. Державин, несколько смягчивший звучание первого стиха и уничтоживший оттенок сомнения в трех последних,¹⁹⁸ а позднее — Г. А. Хованский, который, распространив и отчасти сгладив первую строку оригинала и усилив «покаянный»

¹⁹² Утра. 1783, июль, л. 3, с. 53—56.

¹⁹³ Лекарство от скуки и забот, 1787, ч. 2, с. 143.

¹⁹⁴ Жизнь славнейшего г. Вольтера, со включением 1) разных анекдотов о сем муже, 2) стихотворческих и прозаических сочинений, служащих объяснением оных. СПб., 1786.

¹⁹⁵ Жизнь славнейшего г. Вольтера, с приобщением к ней поемы «Естественный закон» его ж сочинения. СПб., 1787 (с. 84—147). — На появление виноградовских переводов откликнулся эпиграммой поэт-сатирик кн. Д. П. Горчаков. Впрочем, он иронизировал в ней не столько над самими переводами, сколько по поводу происхождения переводчика (см.: Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в., Л., 1959, с. 165). Случай этот весьма характерен как пример «социальной разнородности» русских вольтеристов.

¹⁹⁶ См.: Труды ГПБ, т. 12. Л., 1964, с. 52. — О другом — рукописном — переводе «Естественного закона», виденном им «в одной дворянской семье», сообщает Драганов: «Эта книжка служила чем-то вроде домашнего катехизиса... Рукопись составлена к концу прошлого столетия полковником Н. .ым» (Драганов П. Д. Международное значение Крылова. — ЖМНП, 1895, ч. 300, № 7, отд. 1, с. 100).

¹⁹⁷ Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974 г. Л., 1976, с. 84.

¹⁹⁸ Впервые напеч.: Державин Г. Р. Соч., т. 3. СПб., 1866, с. 467. — Об этом см.: История русской поэзии, т. 1. Л., 1968, с. 158 (автор раздела — Н. Д. Кочеткова); Запалов В. А. Державин и Руссо. — В кн.: Проблемы изучения русской литературы XVIII века, вып. 1. Л., 1974, с. 56.

характер двух следующих, настолько «улучшил» фрагмент, что смог безбоязненно открыть им сборник своих сочинений.¹⁹⁹

В 1793 г. «Молитву» Вольтера перевел — или, как он писал, «сочинил с французского диалекта» — ярославский дворянин-вольнодумец И. М. Опочинин. Судя по дошедшим до нас четырем строкам, перевод этот не отличался художественным совершенством, но обстоятельства, при которых он возник, делают его примечательным документом эпохи. Он был включен в текст предсмертной исповеди, написанной после того, как Опочинин, будучи не в силах преодолеть «отвращение к нашей русской жизни», принял решение покончить с собой. Обращаясь «при последнем своем конце» к Вольтеру, он продемонстрировал обоснованность, обдуманность своего поступка и «полнейшее спокойствие духа». Вместе с тем выбранный фрагмент точно соответствовал настроению и мыслям переводчика — скептика и атеиста. Хотя он и понимал, что «после смерти нет ничего», что загробная жизнь — «пустая надежда и утешение», смерть не страшила его. Существовать так он больше не мог и не хотел.²⁰⁰

Привлекла «Молитва» и внимание А. Н. Радищева, который перевел ее без всяких отступлений рифмованным ямбическим стихом.²⁰¹ Перевод этот — лишнее свидетельство глубоких симпатий Радищева к Вольтеру.²⁰² Сколько-нибудь развернутых суждений о фернейском философе он, как известно, не оставил, но неоднократно апеллировал к нему — и в «Путешествии из Петербурга в Москву», где, между прочим, назвал его среди поэтов, которые «читаны будут доколе не истребится род человеческий»,²⁰³ и в философском трактате «О человеке, о его смертности и бессмертии» (1792), где, аргументируя мысль, что «человек паче всех есть существо сочувствующее», напоминал о некоторых особенно впечатляющих эпизодах «Меропы» и «Магомета».²⁰⁴ В отно-

¹⁹⁹ Хованский Г. А. Жертва музам. М., 1795, с. 5. — Список с этого перевода под заглавием «Исповедь Вольтера пред смертию» см.: ПД, 4168/XVI б. 62, л. 6.

²⁰⁰ Трефолев Л. Н. Предсмертное завещание русского атеиста. — Истор. вестн., 1883, янв., с. 224—226. — «Молитва была упомянута также в другом «предсмертном завещании» — М. В. Сушкова, покончившего с собой в 1792 г. См.: Жирмунский В. М. «Российский Вертер». — В кн.: Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности акад. А. С. Орлова. Л., 1934, с. 547—556; Коган Л. А. Крепостные вольнодумцы (XIX век). М., 1966, с. 177.

²⁰¹ Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. 1. М.—Л., 1936, с. 136, 459. См.: Лотман Ю. М. Радищев — поэт-переводчик. — В кн.: XVIII век, сб. 5. М.—Л., 1962, с. 435—436.

²⁰² По мнению Л. Б. Светлова (Французский ежегодник. 1962. М., 1963, с. 421—428), Радищеву принадлежит также перевод из Вольтера: «Древнего и нового века люди, или Уборный стол г-жи маркизши Помпадур» (1777). Однако эта вполне правдоподобная атрибуция требует дополнительных доказательств. Отзыв о переводе см.: Санкт-Петербург. учен. ведомости, 1777, № 15, с. 119—120. — Другой перевод того же произведения см. в кн.: Из сочинений г. Вольтера смесь. СПб., 1788, с. 64—81.

²⁰³ Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. 1, с. 353; см. также с. 260.

²⁰⁴ Там же, т. 2. М.—Л., 1941, с. 55.

сящейся к 1801—1802 гг. записке «О законоположении» (целью которой было доказать, что «настоит череда сделать в законоположении отечества нашего великую перемену»), Радищев выделил деятельность Вольтера в качестве одной из примет времени воцарения Екатерины II: «Она вступила на престол, — писал он, — ... когда Вольтер проповедовал терпимость до безголосицы, бич гонения воздвиг на суеверие и пустосвятство преследующим оружием насмешки, и язык его, яко бритва изощренный, сокрушал сии бранные истступления».²⁰⁵ Вольтера Радищев вспоминал и цитировал в письмах.²⁰⁶ К Вольтеру восходят характеристики Магомета и Конфуция в «Песни исторической». Наконец, с «Орлеанской девственницей» перекликается многими своими чертами его богатырская повесть в стихах «Бова».²⁰⁷

Судьба у нас вольтеровской героини-комической эпопеи составляет особую страницу в истории «русского Вольтера». Несмотря на огромный к ней интерес и неоднократные попытки донести ее до русского читателя, «Орлеанская девственница» так и не преодолела цензурных преград: с ней знакомились или в оригинале, или в рукописных переводах. Наибольшее распространение получил прозаический ее перевод, сделанный в последней четверти XVIII в.

Анонимный автор этого перевода превосходно знал французский и был весьма образованным человеком. Он успешно справился с большинством встретившихся на его пути трудностей, в целом переложив поэму с необычной для того времени точностью и полнотой.

Это не означало, разумеется, что перевод был вообще свободен от ошибок. Незнание некоторых реалий подчас вынуждало его переводить более чем приблизительно, а иногда и вовсе опускать те или иные фразы и слова. Так, «un fort joli château» превратился у него в «преизрядный увеселительный дом», «bachelier» — в «монаха», «d'un ton de vrai misereux» — в «самым странным образом и голосом», «l'aimable Régence» — в «приятное правление», «les charniers qu'on dit des Innocents» — в «кладбище называемое святого Иннокентия» (вместо «кладбища Невинно-убиенных»), «la chapelle ardente» (катафалк) — в «церковь», «le doux célibat» — в «тихое блаженство»; «corsaire» же, «rade», равно как и преобладающее число латинских цитат, остались вообще без перевода.²⁰⁸

²⁰⁵ Там же, т. 3. М.—Л., 1952, с. 147.

²⁰⁶ Там же, с. 326, 361, 460, 516.

²⁰⁷ Там же, с. 29—30. — Об этом см.: Кузьмина В. Д. Сказка о Бове в обработке А. Н. Радищева. — В кн.: Проблемы реализма в русской литературе XVIII века. М.—Л., 1940, с. 279—282.

²⁰⁸ ПД, р. II, оп. 1, № 57, л. 6 об., 16, 46, 72 об., 121, 150, 157, 164; 82, 88, 146. — С этим вынужденным преобразованием не следует смешивать традиционное для XVIII века склонение на русские нравы, встречающееся в данном переводе довольно часто.

Впрочем, кое-что могло не попасть в русский текст и по другой причине: например, выражение «le corps en rut». Однако изъять или хотя отчасти смягчить все чересчур вольные места в задачу переводчика не входило. Опустив «неприличное» рассуждение о поцелуе (песнь XII) и заменив «девическую грудь» («gorge paissante») «белизной прекрасного тела» (песнь V), он оставил нетронутыми сцену захвата англичанами женского монастыря и историю покушения на честь Жанны, совершенного ослом, в которого вселился дьявол.²⁰⁹

Что же касается литературного таланта, то переводчик «Орлеанской девственницы» был наделен им более чем скромно. Среди наибольших его удач — перевод особенно густо окрашенных в «библейские» тона (и потому звучащих особенно иронически) фрагментов, таких как воззвание св. Дениса к Жанне после ее чудесного избавления от домогательств Грибурдона или обращение матери Безонь, иными словами — юного студента, к случайно забредшей в монастырь Агнессе Сорель.²¹⁰

Об отношении современников к этому переводу нам ничего не известно. Однако можно предположить, что он не вызвал у них большого восторга. Смуцало их, по-видимому, что перевод был выполнен в прозе. Недаром именно к этому периоду относится так много попыток перевести «Орлеанскую девственницу» стихами, — правда, попыток, ни разу не доведенных до конца.²¹¹

В 1760—1780-х гг. на русском языке появилось также едва ли не все, созданное Вольтером-прозаиком, от обширных повестей-романов вроде «Кандида», «Принцессы Вавилонской» и «Простодушного» до небольших рассказов-памфлетов вроде «Бабабека и факиров». Остро злободневная, охватывающая широкий круг общественно-философских и политических проблем и вместе с тем увлекательная и доступная по своей художественной манере, вольтеровская повесть в сравнительно короткий срок покорила русских читателей и в течение многих лет оставалась в центре их внимания, причем возникновение и развитие русского романа лишь стимулировало этот и без того стремительный процесс.²¹²

²⁰⁹ Отметим попутно систематическое вынесение в подстрочные примечания ремарок, помещенных у Вольтера в тексте, в скобках. — См.: там же, л. 18, 38, 63 об., 80 об., 97—97 об. и др.

²¹⁰ Там же, л. 96 об.

²¹¹ См. наброски, оставшиеся в бумагах И. И. Хемницера (ПД, Арх. Я. К. Грота, 15934/XCVIII б. 13, л. 2), черновик анонимного перевода 80 начальных строк (ПД, 16033/XCIX б. 17), анонимный перевод трех первых песен в рукописном сборнике, входившем в состав библиотеки священника С. В. Ольховского (ПД, 4930/XXVI б. 26), неизданный перевод начала первой песни, сделанный Ю. А. Нелединским-Мелецким (ГПБ; ф. 603, № 7, л. 125), а также сведения о не дошедших до нас переводах Ф. И. Карцева и Ф. Г. Карина (там же, л. 93—94).

²¹² См.: Белозерская Н. А. Влияние переводного романа и западной цивилизации на русское общество XVIII века. — Рус. старина, 1895,

Одним из наиболее убедительных свидетельств огромного — по тем временам — читательского успеха в России повестей и романов Вольтера служит обилие их переводов и изданий. Так, в 1765 г. отдельной книгой вышел «Задиг» с приложенным к нему «Видением Бабука»; ²¹³ в 1788 г. книга была переиздана, а спустя семь лет появилась вновь. В 1769 г. увидел свет «Кандид», выдержавший затем четыре издания (по два в 1779 и 1789 гг.). ²¹⁴ Четыре раза издавалась «Принцесса Вавилонская» (1770, 1781, 1788, 1789), трижды — «Человек с сорока экю», в русской традиции — «Человек в 40 талеров» (1780, 1785, 1792). В двух разных переводах распространялась «История Дженни» (1786 и 1788), в трех — «История путешествий Скарментадо» (1773, 1778, 1784). В пяти переводах выходил «Мемнон» (1770, 1781, 1782, 1784, 1785), в четырех — «Жанно и Колен» (два в 1771 г., 1779, 1786), «Повесть о добром брамине» (1772, 1780, 1783, 1784). Почти одновременно в двух различных переводах появилась «Индийская история» (1769), впоследствии неоднократно переиздававшаяся, и т. д.

За редкими исключениями эти «параллельные» переводы создавались независимо друг от друга. У авторов их не было желания «посрамить» предшественника, вступить с ним в состязание, как это не раз случалось при переводе вольтеровских (и не только вольтеровских) стихов. ²¹⁵ Переводчики поэзии Вольтера, будь то Майков или Княжнин, Херасков или Костров, Потемкин или Карabanов, и переводчики его прозы — И. Л. Голенищев-Кутузов, С. С. Башилов, Ф. А. Полунин, М. И. Попов, П. И. Богданович, Н. Е. Левицкий и др. — по-разному понимали стоявшую перед ними задачу, по-разному осмыслили собственную деятельность, по-разному представляли себе конечную цель своих усилий. Для переводчиков поэзии это были мучительные поиски «идеала», для переводчиков прозы — литературный труд, подчас не слишком ответственный и сложный. ²¹⁶

Это не означало, что перевод «Задига» или «Принцессы Вавилонской», «Кандида» или «Простодушного» осуществлялся вообще без всякого напряжения. На пути переводчиков то и дело возникали серьезные препятствия, преодолеть которые им подчас

№ 1, с. 125—156; Русская повесть XIX века. История и проблематика жанра. Л., 1973, тл. 2 (автор — В. П. Степанов).

²¹³ Оба произведения в других переводах были напечатаны ранее — первое в «Ежемесячных сочинениях», второе в журнале «Свободные часы» (1763, авг., с. 498—511; сент., с. 515—531).

²¹⁴ Кроме того, в 1779 г. было допечатано 1000, а в 1787 г. еще 306 экземпляров (см.: Сводный каталог русской книги XVIII в., т. 1. М., 1962, с. 181).

²¹⁵ Об этом см.: Гуковский Г. А. К вопросу о русском классицизме. Состязания и переводы. — В кн.: Поэтика, вып. 4, Л., 1928, с. 126—148.

²¹⁶ См.: Левин Ю. Д. Об исторической эволюции принципов перевода. (К истории переводческой мысли в России). — В кн.: Международные связи русской литературы. М.—Л., 1963, с. 9—19.

так и не удалось; но ни одно из этих препятствий не оказалось роковым и не заставило их передать повесть Вольтера своими словами или же кратко ее изложить.

Средний уровень этих переводов сравнительно высок, а в некоторых из них немало больших для того времени переводческих удач. С этой точки зрения существенный интерес представляют исключительно точная передача Голенищевым-Кутузовым предпосланного «Задигу» посвящения султанше Шераа (т. е. маркизе де Помпадур), выдержанного в утрированно восточном стиле;²¹⁷ плодотворное использование Башиловым просторечий, преимущественно лексических (например, «ни полушки» вместо «pas une obole», «баба эта была настоящая фурия» вместо «sa femme ... c'était une furie», «дал тягу» вместо «prit la fuite»);²¹⁸ наконец, попытки М. И. Попова воспроизвести ритмику вольтеровской фразы в сказке «Белый и черный» («Государь, говорил он, да увенчает бог все ваши дни славою и великолепием! а зять ваш плут». Ср.: «Monseigneur, dit-il, que Dieu couronne tous vos jours de gloire et de magnificence! votre gendre est un fripon»);²¹⁹ Кроме того, при переводе другой повести этого цикла («Жанно и Колен») ²²⁰ Попов применил остроумный прием (впоследствии прочно вошедший в арсенал употребительнейших переводческих средств), своего рода «словесную пропорцию»: французскому «blason» и «botanique» в русском тексте соответствуют «геральдика» и «гидрография»;²²¹ (Речь идет об обучении наукам юного господина де ля Жаннотьера; кстати, фрагмент этот отчасти использовал Фонвизин в «Недоросле» — в восьмой сцене 4-го акта).²²²

Однако, как уже отмечалось, даже и в этих превосходных в целом переводах было немало погрешностей и ошибок, которые свидетельствовали о далеко не совершенном знании «прелагателями» французского языка. У Голенищева-Кутузова вместо Большой Медведицы (Grande Ourse) фигурирует великий медведь,²²³ Башилов принял слово «sale» (грязный) за имя собственное и перевел «la sale province de Vestphalie» — «из Салы Вестфальской провинции», а указание на происхождение одного из второстепенных персонажей «Кандида» из Перигора (Périgourdin) пре-

²¹⁷ Задиг, или Судба, восточная повесть... соч. г. Волтера. СПб., 1765, с. III.

²¹⁸ Кандид, или Оптимизм, то есть наилучший свет. СПб., 1769, с. 52, 114.

²¹⁹ Вадины сказки, Белый и Черный, Жаннот и Колин и о праздниках французских, соч. г. Волтера. СПб., 1771, с. 22.

²²⁰ Там же, с. 50—51.

²²¹ Ср. соответствующие места в других переводах — М. Г. Спиридова (Трудолюбивый муравей, 1771, № 9—11, с. 65—81). К. Бочарникова (Детское чтение, или Отборные небольшие повести. СПб., 1779, с. 3—9) и анонимном (Детское чтение для сердца и разума, 1786, ч. 3, № 49, с. 197—205).

²²² Об этом см.: Вестн. Европы, 1811, ч. 58, № 15, с. 215.

²²³ Задиг, или Судба, с. 88.

вратилось у него в фамилию («аббат именем Перигурдин»).²²⁴ Полуниин отождествил «Дунай» (Danube) с «Двиной», причем его не смутило, что путешествие Амазана из Голландии в Рим тем самым теряло всякое правдоподобие («Он смотрел на Рейн, Двину, Альпийские горы в Тироле...»). Не узнал Полунин и упоминавшиеся в заключительной части «Принцессы Вавилонской» сочинения Вольтера — «Кандид», «Простодушный» и «Орлеанская девственница». Из двух первых названий он сделал женские имена (Кандида и Ингена от «Ingénu»), а последнее превратилось у него в «Непорочные приключения чистой Еванны». ²²⁵ П. И. Богданович из слова «certes» (конечно) сделал название племени или народа («Сирты по справедливости были великие люди» вместо «Certes, ce furent des hommes véritablement grands»). ²²⁶ Переводчик «Истории Дженни» смешал Швейцарию и Швецию. ²²⁷ Наконец, все переводчики «Мемнона» опустили неизвестное им слово «platane» (платан), передав это место по-разному, но во всех случаях неточно, и т. д.

Наряду с этими невольными, непреднамеренными искажениями вольтеровского текста почти во всех указанных переводах было немало искажений сознательных, вызванных вполне обоснованными опасениями цензурных затруднений. Переводчиков особенно смущала беспощадная критика Вольтером церкви и религии. В переводе «Простодушного», например, исчезли многие подробности обращения героя в христианство, ²²⁸ целиком вся сцена посещения г-жой де Сент-Ив иезуита (гл. 16); даже такие слова как Библия, Новый Завет, действительная благодать, галликанская церковь оказались замененными их начальными буквами. Точно так же Н. Е. Левицкий в переводе «Белого и черного» вместо слова «монахиня» оставил лишь (впрочем, весьма прозрачное) м***. ²²⁹

²²⁴ Кандид, с. 58, 102.

²²⁵ Принцесса Вавилонская, соч. г. В. М., 1770, с. 101, 116, 164—165.

²²⁶ Человек в 40 талеров. Соч. г. Вольтера. СПб., 1780, с. 96. — Это отметил, между прочим, автор любопытного «Письма к издателю», помещенного в «Журнале российской словесности» (1805, ч. 1, кн. 3, с. 144).

²²⁷ Энии, или Мудрец и атеист... из соч. г. Вольтера. — Городская и деревенская библиотека, 1786, ч. 12, с. 136.

²²⁸ Гурон, или Простодушный, справедливая повесть из соч. г. Вольтера. СПб., 1789, с. 31—47. — Эпизод этот доставил «необычайное удовольствие» С. Р. Воронцову (прочитавшему «Гурона» по-французски вскоре после появления повести в свет), как, впрочем, и все произведение, за исключением последних глав: трагический финал, в понимании Воронцова, противоречил остальному — «забавному» — повествованию. См.: Архив кн. Воронцова, г. 32. М., 1886, с. 114—115. — Любопытно, что именно эта особенность повести всячески подчеркивалась в газетном объявлении о продаже книги: «Гурон, или Простодушный, справедливая повесть, соч. г. Вольтера, состоящая в 18 главах, в коих описует справедливое повествование, наполненное забавными, жалостными, нравоучительными и критическими приключениями» (Санкт-Петербург. ведомости, 1790, 2 июля, № 53).

²²⁹ Из соч. г. Вольтера смесь, с. 24.

В силу тех же причин и в переводе 1773, и в переводе 1778 г. подверглась сильному сокращению «История путешествий Скарментадо», причем в более раннем из них вместо выпущенных отрывков стояли точки.²³⁰ С еще большей отчетливостью эта тенденция проявилась в переводах «Истории Дженни» (оба они относятся к концу 1780-х гг., когда поворот в правительственных сферах к реакции стал уже вполне очевиден). В первом из них полностью отсутствует теологический спор Фрейнда с бакалавром (эту купюру анонимный переводчик оговорил в специальном примечании, гласившем: «Словопрение, которое имел бакалавр с Фрейндом и которое в подлиннике находится, не может здесь помещено быть; потому что содержит в себе некоторые подробности английской и римской церкви, исповеданию нашему противные»),²³¹ во втором же — вообще все рассуждения на религиозные темы, составляющие основную часть произведения, которое таким образом превратилось в историю моральной деградации, а затем просветления юного Дженни.

Отдельные изменения были продиктованы и соображениями политического характера. Именно этим объясняется, в частности, замена в переводе «Задига» «ссылки в Сибирь» просто «ссылкой»²³² (то же самое, как указывалось выше, сделал и предшественник Голенищева-Кутузова — автор перевода, помещенного в «Ежемесячных сочинениях») и, конечно, изъятие из «Кандида» упоминаний экс-императора Ивана VI, свергнутого в 1741 г. Елизаветой и в 1756 г. заточенного в Шлиссельбургскую крепость, где, как важный государственный преступник, он продолжал содержаться и при Екатерине II вплоть до его убийства в 1764 г.²³³ (Показательно, что этот «русский эпизод» был полностью сохранен в не предназначенном к печати переводе «Кандида», единственный список которого находится в Музее И. С. Тургенева, в Орле).²³⁴

И все же, несмотря на довольно большое число этих и им подобных ошибок и отмен, они лишь в очень немногих случаях искажали звучание повести или романа в целом. Русский читатель располагал, следовательно, вполне достоверным «преложением» этой части творчества «славного г. Волтера», которая, — как, впрочем, и большинство его сочинений, — «преизобиловала» (по выражению современного критика) «истинными философии лучами».²³⁵

²³⁰ Старина и новизна, 1773, ч. 2, с. 86—99. — См. в этой связи: Моск. наблюдатель, 1838, ч. 14, сент., кн. 2, с. 214—215.

²³¹ Городская и деревенская библиотека, 1786, ч. 12, с. 80.

²³² Задиг, или Судба, с. 17.

²³³ Кандид, с. 131.

²³⁴ Ф. 1, № 1222. См.: Сравнительное изучение литератур. Л., 1976, с. 282—284.

²³⁵ Санкт-Петербург. вестн. 1780, ч. 5, июнь, с. 450 (Известия о новых книгах: Человек в сорок талеров, соч. Волтера). — Ср. отзыв об этой повести в «Моск. ведомостях» от 17 февр. 1781 г. (№ 14), в котором особое

Несомненно, «между многими ... остроумия, проницательности и красноречия исполненными творениями» Вольтера-прозаика в сознании русских людей XVIII в. его романам и повестям принадлежало центральное место. Но с усердием «прелагая» их на «природный наш язык», а «через сие» по возможности способствуя исправлению отечественных нравов, русские переводчики не упускали из виду и других его произведений в прозе, и прежде всего разного рода «мелких» сочинений, которые по преимуществу восходили к знаменитому «Философскому словарю».

Некоторые из этих сочинений по своему характеру приближались к вольтеровской повести в разных ее вариантах: повесть-притча,²³⁶ повесть-обозрение,²³⁷ повесть-памфлет.²³⁸ Другие больше напоминали статьи на злободневную общественно-философскую тему. В них обсуждались и подвергались жестокой критике современное политическое и государственное устройство,²³⁹ сословные и религиозные предрассудки,²⁴⁰ воспитание,²⁴¹ даже состояние врачебной науки,²⁴² уточнялись отдельные положения вольтеровской философии,²⁴³ иллюстрировалась его непримиримая ненависть к всяческому обскурантизму,²⁴⁴ наконец обосновывалась его твер-

внимание обращалось на «возданную» в последней главе повести «достоиннейшую хвалу великой нашей государыне, устроившей толь премудро ко удивлению вселенных благоденствие своего народа». В дальнейшем отзыв несколько раз перепечатывался. Тем не менее, архиепископ московский Платон нашел (в 1785 г.) книгу «сумнительной», отметив, что она «мало содержит полезного, а более колобродного». См.: Западов в В. А. Краткий очерк истории русской цензуры 60—90-х годов XVIII в. — В кн.: Русская литература и общественно-политическая борьба XVII—XIX вв. — Учен. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена, 1971, т. 414, с. 111.

²³⁶ Мелкие повести о добром браминне, двух утешенных ... М., 1783, с. 11—16; О предубереении во мнимом своем достоинстве. — Полезное с приятным, 1769, полумес. 12, с. 1—3.

²³⁷ Историческая похвала разуму. — В кн.: Сатирические и философические соч. господина Волтера. М., 1784, с. 3—31.

²³⁸ Похождение памяти. — Там же, с. 32—41.

²³⁹ О украшении города Кашемира. — Трудолюбивый муравей, 1771, № 23—24, с. 177—187; Андрей Детуш в Сиаме. — Полезное с приятным, 1769, полумес. 12, с. 4—16; Разговор дикого с бакалавром. — Ни то, ни сие, 1769, л. 6, с. 43—48; л. 7, с. 49—54; то же в другом переводе: Дикий человек, смеющийся учености и нравам нынешнего света. СПб., 1781, с. 63—79 (перев. 1790).

²⁴⁰ О древних и новых титулах европейских. — Старина и новизна, 1772, ч. 1, с. 5—16; О церемониях или обрядах. — Там же, 1773, ч. 2, с. 127—130; О праздниках французских. — В кн.: Вадины сказки. ..., с. 64—68.

²⁴¹ Воспитание девиц, или Разговор Мелинды и Софронии. — В кн.: Сатирические и философические соч. господина Волтера, с. 53—59.

²⁴² Рассуждение о болезни и лекарстве. — В кн.: Продолжение смеси из соч. г. Волтера, ч. 2. СПб., 1789, с. 60—68.

²⁴³ Вопросы человека ничего не знающего. — Опыт трудов Вольного рос. собрания при имп. Моск. ун-те, ч. 2, 1775, с. 186—213; Разговор между философом и природою. — От всего помаленьку, 1782, № 1, с. 8—12.

²⁴⁴ Разговор Ариста и Акротая. — Старина и новизна, 1772, ч. 1, с. 81—91; Муфтиеву запрещение о чтении книг. — В кн.: Из соч. г. Волтера смесь, с. 25—30.

дая вера в исторический прогресс и грядущее торжество просветительских идей.²⁴⁵

Широкою известность — несмотря на цензурные преследования — получили в то время и некоторые антихристианские памфлеты Вольтера, распространявшиеся подпольно, главным образом в демократических кругах. К ним относились «Катехизис честного человека», «Поучение пятидесяти», «Разговор Ионт-шина, китайского императора, с иезуитом Риголетом», «Наказ рагузского капуцинского стража», «Обед у графа де Буленвилье», а также «Послание к Урании», один из ранних манифестов вольтеровского деизма.²⁴⁶

В ряде этих сочинений речь шла о веротерпимости и религиозном фанатизме. Однако с наибольшей силой этот страстный «крик против суеверия» запечатлелся в выступлениях Вольтера по делу Каласа — в его «Трактате о веротерпимости», в сообщенных им материалах и письмах. Борьба френейского отшельника за оправдание Каласа (а позднее — Сирвенон, Ля Барра и Монбальи) упрочила его европейскую славу: отныне он был не только признанным «королем» поэтов и философов, но и мужественным защитником угнетенных.

Трудно допустить, чтобы этот аспект его деятельности еще в 1760-х гг. не получил хоть какого-то отражения в русской печати. Но если такие свидетельства и существуют, то их очень немного. По-настоящему с этой стороны Вольтера узнали в России лишь через несколько лет после его смерти. Наиболее ранним источником такого рода сведений явилось «Похвальное слово Вольтеру» Фридриха II, произнесенное им в Берлинской Академии наук 26 ноября 1778 г. и вышедшее на русском языке пять лет спустя, хотя «филантропическая» деятельность Вольтера там не столько излагалась, сколько оценивалась.²⁴⁷

²⁴⁵ Тимон. — Санкт-Петербург. вестн., 1780, ч. 6, ноябрь, с. 337—341.

²⁴⁶ Как правило, эти памфлеты входили в рукописные сборники. См., например: ГПБ, собр. А. А. Титова, № 2918; Q. XVII, 256; ОЛДП F—408; ГБЛ, ф. 478, № 2805; ГИМ, собр. И. А. Вахрамеева, № 247. — Наибольший интерес среди них представляет так называемая «Библиотека здравого рассудка, или Собрание разных сочинений, важных для спасения». О ней см.: Персиц М. М. Русский атеистический рукописный сборник конца XVIII—начала XIX в. — В кн.: Вопросы истории религии и атеизма, сб. 7. М., 1959, с. 361—409. — В этой связи также см.: Коган Ю. Я. Из истории распространения антихристианских памфлетов Вольтера в России в XVIII веке. — Там же, сб. 3. М., 1956, с. 253—277; Емельях Л. И. Первый памфлет в России против Библии (из русского «рукописного Вольтера» XVIII в.). — В кн.: Ежегодник Музея истории религии и атеизма, вып. 1. М.—Л., 1957, с. 402—410. — О попытке издать «Катехизис честного человека» (в переводе И. И. Богаевского) см.: Семеновиков В. П. Собрание, старающееся о переводе... с. 65—66.

²⁴⁷ Слово похвальное г. Волтеру, соч. ... королем прусским. СПб., 1783, с. 61—63. — Перевод был выполнен Д. И. Хвостовым, который сопровождал его собственным стихотворным словословием Вольтеру. Там же приводилась знаменитая эпитафия Лябрена, позднее перепечатанная в «Новых

В 1786 г. в журнале П. И. Богдановича было помещено уже довольно подробное изложение этих событий, причем в связи с делом Сирвена приводилось письмо Вольтера к Дамилавиллю от 1 марта 1765 г.²⁴⁸ Наконец, Е. В. Рознотовский обратился непосредственно к сочинениям Вольтера, опубликованным в свое время в защиту Каласа, и в 1788 г. выпустил их отдельной книгой.²⁴⁹

Примечательна сама личность переводчика. Горячий почитатель французских энциклопедистов, он всячески содействовал усвоению в России их трудов, в особенности атеистического и антиклерикального содержания, используя для этого различные пути: одни он пересказывал друзьям, другие переводил для дальнейшего распространения в списках и лишь очень немногие издал.²⁵⁰ Среди этих последних и фигурирует «История сокращенная о смерти Жана Каласа», куда, помимо первых двух глав «Трактата о веротерпимости», вошли «Заклучение о казни Жана Каласа», свидетельства и обращения, составленные Вольтером от имени вдовы погибшего и ее сыновей, письма Вольтера к Даламберу и Эли де Бомону и прочие материалы, относящиеся к этому процессу.

«Прелагая» Вольтера, Рознотовский не претендовал на изящество стиля: он «всевозможнейше старался соблюсти только смысл знаменитого одного автора в сем приключении». Для осуществления поставленной им себе задачи довольно было перевода просто «верного» и «вразумительного». Он трудился прежде всего «пользы ради» своих «соотчичей» и видел эту пользу в том, чтобы внушить им ненависть к «бесносветию» (так он передавал слово «fanatisme») и научить их человеколюбию и «благотворению». Вместе с тем Рознотовский хотел, конечно, «воздать хвалу» творцу переводимого сочинения, «великодушному сему защитнику невинности» (аргументируя свою мысль, он опирался, между прочим, на авторитет «покойного короля прусского» и обильно цитировал в собственном переводе его «Похвальное слово Вольтеру»), а также «всем сострадательным сердцам» и, в частности, «блаженного века нашего мудрым монархам». Последнее было не только констатацией некоторых общеизвестных фактов, но и

ежемесячных сочинениях» (1788, ч. 28, окт., с. 69) и впоследствии не раз возникавшая в сознании русских людей. Эпитафия Вольтеру была напечатана и на страницах издававшегося в Петербурге при деятельном участии Т.-А. Гальен де Сальморана («ученика Вольтера», как он сам себя называл) французского журнала «Mercure de Russie» (см.: Рос. библиогр., 1881, № 101, с. 3—6; Библиограф, 1885, № 2, с. 22—25, № 5, с. 89—93).

²⁴⁸ Нов. Санкт-Петербург. вестн., 1786, № 2, с. 163—183.

²⁴⁹ История сокращенная о смерти Жана Каласа и о Каласах вообще, с приобщением к тому разных писем, представлений и прочего из творений г. Волтера. СПб., 1788.

²⁵⁰ О нем см.: Штрангс М. М. Демократическая интеллигенция России в XVIII в. М., 1965, с. 221—223.

призывом к терпимости и благотворению в дальнейшем: несомненно, множество поводов к этому давала и русская действительность тех лет.²⁵¹

Не менее злободневные ассоциации вызывала, по-видимому, картина многовекового разгула религиозного фанатизма и кровавой резни, нарисованная Вольтером в его «Истории крестовых походов», которую перевел и издал в 1772 г. преподаватель Артиллерийского и инженерного шляхетного кадетского корпуса И. А. Вельяшев-Волынцев.²⁵² Впрочем, актуальность этого труда была обусловлена и современной политической ситуацией: борьба христиан с иноверцами в далеком прошлом служила историческим «оправданием» позиции Екатерины II в «турецком вопросе».²⁵³ Недаром в приложении к переизданию 1782 г. был помещен «Набат господина Волтера», один из самых резких его антиоттоманских памфлетов.²⁵⁴

В предуведомлении к «Истории крестовых походов» Вельяшев-Волынцев обещал, если сочинение это «покажется обществу», перевести еще один историографический труд Вольтера — «Новое построение истории человеческого разума». Слово свое он сдержал, и вскоре в распоряжении российского читателя оказалась осмысленная с философской точки зрения история Китая и Индии, Персии, Аравии и Византии, история мусульманского движения, завоевания арабами Испании, норманнами Англии и т. д., а вместе с тем — весьма отчетливое, хотя и предварительное

²⁵¹ См. в оде И. И. Виноградова «Жизнь человеческая» (как пример окружающих человека бед):

«Во Франции Каллас погибает,
В сыноубийстве обвинен.
Злость добродетель попирает,
И Каллас на костре сожжен.

(Растущий виноград, 1786,
июнь, с. 44).

²⁵² История о крестовых походах, из соч. г. Волтера. СПб., 1772. (Перепеч. 1783, след. изд. М., 1782). См. характерную, сделанную почерком XVIII в., помету на полях экземпляра этой книги, находящегося в БАН (с. 401): «вот бешенство рода человеческого».

²⁵³ О политической злободневности перевода Вельяшева-Волынцева см.: Заборов М. А. Историография крестовых походов (XV—XIX вв.). М., 1971, с. 126—128.

²⁵⁴ Несколько изданий выдержало в это время и другое вольтеровское сочинение, написанное в поддержку внешней политики Екатерины II — «Essai historique et critique sur les dissensions des Eglises en Pologne». Перевод был выполнен В. К. Тредиаковским (СПб., 1768; переизд. М., 1778) и кн. В. П. Мещерским (М., 1776; переизд. СПб., 1778). Первое издание перевода Мещерского удостоилось — по понятным причинам — сочувственного отклика в «Собрании разных сочинений и новостей» (1776, июнь, с. 49): «Книга сия представляет весьма любопытную картину Польши в бывших ее смятении по причине ссоры. Она сочинена на французском языке господином Волтером, и сего довольно сказать к ее уважению».

изложение взглядов Вольтера на историографию и исторический процесс.²⁵⁵

Большого читательского успеха книга эта скорее всего не имела. По-видимому, историческое повествование более «актуальное» и, во всяком случае, более традиционное привлекало тогда сильнее, чем самый глубокомысленный «философический» обзор жизни многих народов и стран в течение веков. По крайней мере в дальнейшем «Новое расположение» не переиздавалось, а вслед за третьим изданием «Истории о крестовых походах» начала выходить (в переводе П. Е. Турковского) сухая, почти конспективная «Летопись царствования императора Карла Великого», т. е. «Анналы Империи» — до правления Генриха VII, что соответствовало первому тому французского издания 1753 г.²⁵⁶

Что же касается вольтеровских трудов по «новейшей» истории, то ни один из них на русском языке не появился, хотя интерес к ним был весьма силен, о чем свидетельствует возникновение все новых и новых списков «Истории Карла XII» (в старом и теперь уже совершенно архаичном переводе),²⁵⁷ попытка перевести «Историю Российской империи при Петре Великом», сделанная «студентом Московского университета Н. К.»,²⁵⁸ а также

²⁵⁵ Новое расположение человеческого разума, соч. г. В. СПб., 1775. — В основе обоих переводов Вельяшева-Волынцева лежало издание: *Le Micromégas de M. de Voltaire, avec une Histoire des Croisades et un Nouveau plan de l'histoire de l'esprit humain.* Londres, 1752 (перепеч.: Berlin, 1753). — Впоследствии «История крестовых походов» и «Новое построение истории человеческого разума», а также «Опыт всеобщей истории», составили — в значительной его части — «Опыт о правах и духе народов». Многочисленные ссылки на этот труд см. в «Примечаниях на Историю древняя и нынешняя России г. Леклерка» И. Н. Болтина (СПб., 1788, т. 1—2). Болтину принадлежал также перевод ряда статей Вольтера из Энциклопедии: по свидетельству Е. Болховитинова, он перевел всю Энциклопедию до буквы «К» (Болховитинов Е. А. Словарь русских светских писателей, т. 1, с. 53). Рукопись этого грандиозного труда, оказавшаяся впоследствии в библиотеке гр. А. И. Мусина-Пушкина, погибла вместе почти со всеми книгами и материалами его собрания во время московского пожара 1812 г.

²⁵⁶ Летопись царствования императора Карла Великого. Вып. 1—8. СПб., 1786—1789.

²⁵⁷ В. П. Семенников (Собрание, старающееся о переводе..., с. 86) сообщает о намерении И. А. Дмитриевского перевести «Век Людовика XIV» и «Обзор века Людовика XV». Позднее изданы были две речи Вольтера, тематически примыкающие к «Обзору века Людовика XV»: «Надгробное похвальное слово Людовику XV, королю французскому» (СПб., 1782; пер. Д. С. Ланского) и «Слово похвальное французским офицерам, умершим на войне в 1741 году» (М., 1787; пер. Н. Неплюева).

²⁵⁸ Перевод был доведен лишь до гл. 19 и распространялся в рукописи. См.: ГПБ, Q IV. № 362; см. также Отчет по отд. рукописей Московского Публичного и Румянцевского музеев за 1879—1882 г. М., 1884, с. 24 (№ 37): Описание рукописей, принадлежащих П. Ф. Симсону. Тверь, 1902, с. 151 (№ 93). — Характерно, что в списке книг для учебной библиотеки Московского университета (составленном в 1764 г. И. Урбанским) «История Российской империи» была названа в числе немногих пособий по отечествен-

перевод этого сочинения, осуществленный около 1760 г. Н. Н. Бантышем-Каменским, оставшийся неизданным и сторевший в 1812 г.²⁵⁹

Таким образом, в сравнительно короткий срок русским людям стала доступной значительная часть созданного Вольтером — историком, публицистом, прозаиком, драматургом, поэтом. Многие десятки переводов и изданий — подобной известности в России до того времени не получил ни один иностранный писатель. Это сознавали и современники, не раз отмечавшие необычайное распространение печатного и рукописного Вольтера в столицах и даже в провинциальном захолустье.²⁶⁰

Однако было бы серьезным заблуждением представлять себе судьбу у нас Вольтера в XVIII в. неким победным шествием, лишь изредка нарушавшимся цензурным надзором. Еще в 1754 г. Тредиаковский в своей философской поэме «Феоппия» среди книг, «наполненных смертоносным и душевредным ядом злобожия и безбожности», назвал «Эпистолу к Урании».²⁶¹ Десятилетие спустя, когда слава Вольтера находилась в самом зените, академический журнал «Ежемесячные сочинения и известия о ученых делах» напечатал переводной фрагмент под названием «Пинта», в котором Вольтеру инкриминировалась чрезвычайная «подлость» мыслей и поступков. Полагая, что «благородный дух, поэзией оживлен будучи, сочиняет стихи только в честь добродетели и истинны», автор фрагмента с негодованием отзывался о склонности Вольтера «хвалить без разбору все, за что надеется получить награждение», и, в частности, славословить монархов, его похвал недостойных. «Сколь различны, — восклицал он, — дары разума и сердца! Господин Волтер весьма бы великий человек был... если бы столько имел скромности, сколько остроты в мыслях и в стихах приятности».²⁶²

Несколько позднее с множеством сходных обвинений выступил Ф. А. Эмин — что не помешало ему незадолго до того прибегнуть к «Философским письмам» для характеристики английских нра-

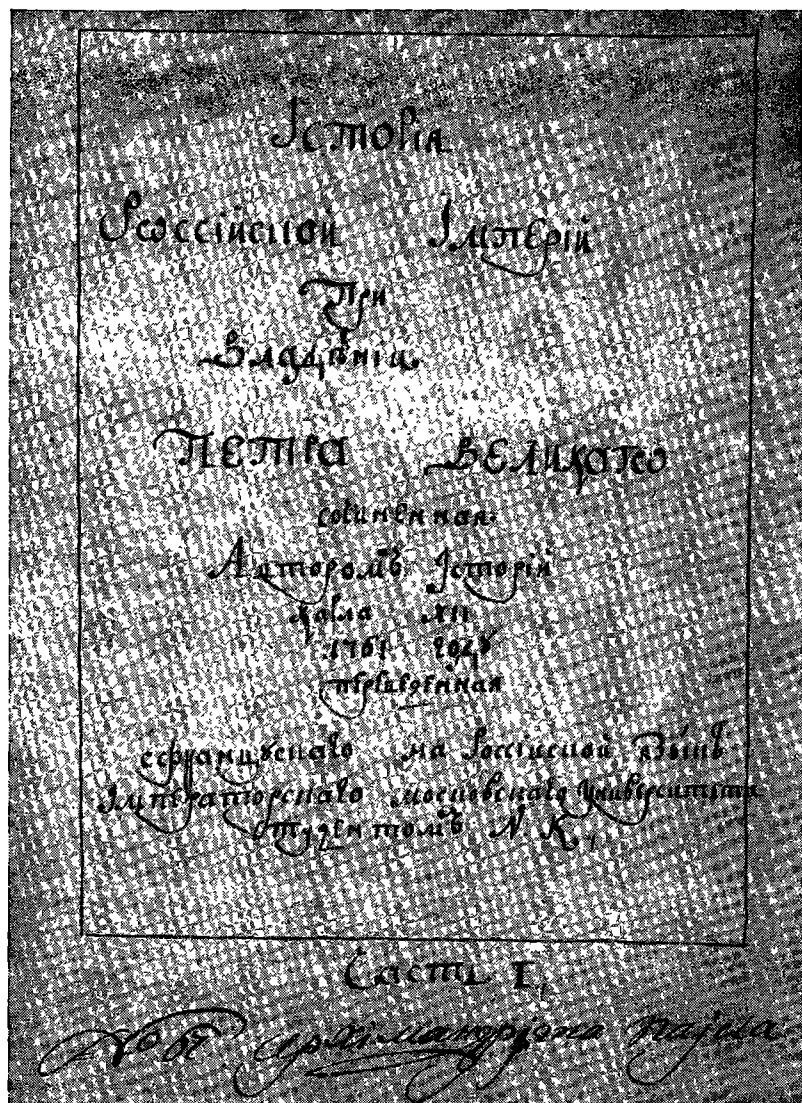
ной истории. См.: Пенчко Н. А. Библиотека Московского университета с основания до 1812 г. М., 1969, с. 58, 126.

²⁵⁹ См.: Болховитинов Е. А. Словарь русских светских писателей, т. 1, с. 18.

²⁶⁰ См. свидетельства Винского, утверждавшего, что «начавшие выходить в свет» сочинения Вольтера у нас «читались с крайнею жадностью» (Винский Г. С. Мое время. СПб., 1914, с. 45), и Дмитриева, восклицавшего: «С каким наслаждением читали у нас еще в конце прошедшего века все, что переводилось из Вольтера» (Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти, с. 49).

²⁶¹ ЦГАДА, ф. 381, оп. 1154, № 1038, л. 7 об. — Об этой поэме см.: Лебедев Е. Н. Философская поэзия В. К. Тредиаковского. — Рус. лит., 1976, № 2, с. 94—104.

²⁶² Ежемесячные сочинения и известия о ученых делах, 1763, июль, с. 71—72.



«История Российской империи при Петре Великом» Вольтера. Перевод 1761 г.
Заглавный лист списка 1770—1780-х гг. ГИБ.

вов.²⁶³ Движимый «любовью к добродетели» (и нелюбовью к французам), он приписывал Вольтеру страсть к клевете и наживе, нетерпимость и злобную неприязнь к собратьям по перу. Более того, он отказывал французскому писателю почти во всех талантах и заслугах, отдавая дань лишь его замечательной способности к сочинению «вздоров».²⁶⁴ «В таком роде писания, — замечал Эмин, — имеет он остроумие чрезвычайное, мысли летучие, разум проникающий и охоту к писанию несравненную». Но и в этом, по его мнению, Вольтер преуспел потому только, что свет измелечал и теперь «обыкновенно любит безделицы, острые словца, нежные речи и забавные шутки, коими он (т. е. Вольтер, — П. З.) многих довольствовать умеет». Особенно возмущал Эмина «Кандид», в котором он видел одно из подтверждений глубокого упадка во Франции «сочинительства», «невозможный вздор», нечто вроде истории Бовы-королевича или Петра-золотых ключей, с той лишь разницей, что «слог Кандида» получше и в нем имеется «горсть острых слов и забавных выражений, которые молодым и ветреным мыслям людям нравятся и тогда, когда наполнены соблазном и развращением».²⁶⁵ Впрочем, такое отношение к «Кандиду» не составляло исключения: в «Санкт-Петербургских ведомостях», например, он был презрительно назван «остросламысловатым сочинением»,²⁶⁶ а в «Опыте трудов Вольного российского собрания» утверждалось, что хотя «вообразительная сила» Вольтера «еще блестит и в „Кандиде“», он «в сем сочинении непростительным образом себя посрамил и унизил».²⁶⁷

В 1770-х гг. в России получила известность сатирическая латинская надпись к статуе фернейского патриарха, изваянной в 1772—1776 гг. по инициативе его друзей и почитателей скульптором Ж.-Б. Пигалем.²⁶⁸ Признаки некоторого охлаждения к Воль-

²⁶³ Эмин Ф. А. Письма Эрнеста и Доравры, ч. 2. СПб., 1766, с. 37—38. — См. в этой связи: Гуковский Г. А. Идеология русского буржуазного писателя XVIII в. — Изв. АН СССР, Отд-ние обществ. наук, 1936, № 3, с. 438—439.

²⁶⁴ Показательно, что, выполнив к началу июля 1767 г., «с дозволения Академии наук», перевод «Истории Российской империи при Петре Великом» и даже получив разрешение Академической комиссии на его издание, Эмин вскоре «прежнее намерение переменял в полезнейшее» и в неправоподобно короткий срок подготовил первый том «Российской истории» собственного сочинения, вышедший в конце того же 1767 г. См.: Семенов В. П. Материалы для истории русской литературы, с. 140—141.

²⁶⁵ Адская почта, или Переписки хромого беса с кривым, 1769, с. 188—190, 195. — Полемический отклик на подобные заявления см.: Трутень, 1769, л. 15, авг. 4 дня, с. 119.

²⁶⁶ Санкт-Петербург. учен. ведомости, 1777, 3 февр., № 5, с. 40 (перизд. 1873).

²⁶⁷ Опыт трудов Вольного рос. собрания при имп. Моск. ун-те, 1778, ч. 4, с. 246.

²⁶⁸ Перевод этой надписи сохранился в составе сборника «Разные стиходействия» (последняя треть XVIII в.); копия: ПД, р. II, № 635, л. 92 об., 93.

теру можно обнаружить и в официальной печати тех лет: появившаяся в июне 1778 г. в «Санкт-Петербургских ведомостях» некрологическая заметка отличается большой сдержанностью, особенно в сравнении с откликом той же газеты на смерть Ж.-Ж. Руссо.²⁶⁹

В 1787 г. в Петербурге вышла небольшая книжка под названием «Обнаженный Волтер». Взывая к «чувствительным и истинным людям», автор ее клеймил страшное «самолюбие», эту «язву неисцельную», зреющую «с молодых ногтей» в душе Вольтера и в конце концов ее погубившую («Что ж? возросла язва; умерщвлен человек!»). Движимый «самолюбием», иными словами эгоизмом, Вольтер оказался во власти низменных инстинктов и страстей: «Волтер имел гнусный произвол, произвол честолюбия и корысти. Упившись сим смертоносным ядом и тем язвя себя, уподоблялся страшному тигру, смертоносно уязвленному! рыкая, бросался на все, что ему ни встречалось. Быв в подобном неистовстве, забыл о самом себе, как о наиважнейшем деле, что он есть не иное что, как прах земный и сосуд дарованной ему души от бога!».

Скорбю о тех, кто «все им писанное в твердой содержит памяти», автор брошюры призывал их осознать «пагубное его умствование», достойное «проклятия и отвержения от человечества». Противопоставляя «суетному любомудрию» веру в «создавшего нас бога», он настоятельно советовал искать истину не в сочинениях «естествоиспытателей», но во «всесвятейшем Евангелии».²⁷⁰

Возможно, что «Обнаженный Волтер» действительно представлял собой перевод с французского, как это указывалось на титульном листе, но не исключено, что он был оригинальным, русским сочинением: немало подобных «трудов» в 1780-е гг. вышло из-под пера российских масонов и их «сочувственников».

Масонство предшествующего десятилетия имело весьма отчетливый «философский» характер. Среди наиболее ревностных читателей Вольтера были целый ряд петербургских и московских масонов; масонами являлись переводчики его произведений — И. Л. Голенищев-Кутузов, Е. В. Рознотовский и другие, а также лица, которым их «преложения» посвящались; наконец, довольно

²⁶⁹ Об этом см. подробнее: Берков П. Н. Из русских откликов на смерть Вольтера. — В кн.: Вольтер. Статьи и материалы. Л., 1947, с. 197—201.

²⁷⁰ *Обнаженный Волтер*. СПб., 1787, с. 9, 17—21, 32—33. — Любопытно, что в то же самое время архимандрит Иоиль Быковский (отличавшийся несравненно большей терпимостью, чем автор «Обнаженного Вольтера») в своих поисках «истинны» в какой-то мере даже опирался на Вольтера: в составленный им сборник назидательных цитат и изречений вошло несколько выдержек из повестей «Кандид» и «Принцесса Вавилонская» (Истинна, или Выписка о истинне. Ярославль, 1787, с. 154, 223). См.: Крестова Л. В., Кузьмина В. Д. Иоиль Быковский, проповедник, издатель «Истинны» и первый владелец рукописи «Слова о полку Игореве». — В кн.: Древнерусская литература и ее связи с новым временем. М., 1967, с. 40—41.

много вольтеровских произведений издал Н. И. Новиков. Недаром «фармазонство» и «вольтеризм» в это время почти отождествлялись.²⁷¹

В 1780-е гг. рационалистические тенденции в русском масонстве ослабевают, все больше уступая место исканиям мистического и откровенно религиозного толка, и одновременно все сильнее начинают звучать голоса, опровергающие «новую философию» и воззрения «новых писателей» — иными словами, французских энциклопедистов. Одно из самых ранних сочинений такого рода — «Рассуждение о злоупотреблении разума некоторыми новыми писателями и опровержение их вредных правил» (1780, 2-е изд. 1787) И. В. Лопухина — вообще было задумано как некий манифест нового умственного течения. По собственному (позднему) признанию, он написал эту книгу «как бы в очищение себя» от духовного груза прежних лет, ибо и сам в молодые годы «старался утвердить себя в вольнодумстве» и «охотно читывал Вольтеровы насмешки над религиею, Руссовы опровержения и прочие подобные сочинения».²⁷² Правда, имя Вольтера у Лопухина прямо не называлось, но подразумевалось постоянно. Его трактат был направлен против «философского движения» в целом, против всех тех, кто «разум свой соделывают орудием погубления людей». «Коликая лютость потребна к тому, чтоб все свои труды посвящать развращению людей и все силы разума истощать на снискание удобнейшего способа влить яд в такие души, коим, может быть, надлежало благоденствовать! О, бесчеловечные писатели! В какое несчастие повергся бы человеческий род, если б удовлетворилось ваше пагубное желание и если б могли подействовать змийным жалом начертанные книги ваши», — патетически восклицал Лопухин, обращаясь к этим «дерзким врагам человечества», к этим «безумным мудрователям»,²⁷³ которые стараются уничтожить то, чем «все существует», и лишают страждущих единственного источника спасения — любви к «зизждителю вселенной», упования на его покровительство. Пытаясь подтвердить свои «слабые доказательства о небытии бога», эти «ненавистствующие божеству писатели, — продолжал Лопухин, — дерзостно опровергают оную благость описаниям бедствий, которые человечество иногда претерпевает...». Несомненно, он имел в виду Вольтера и его «Поэму о гибели Лиссабона».

Спустя год после выхода в свет второго издания книги Лопухина, словно продолжая эту его мысль, В. А. Левшин посвятил той же теме целый трактат — обширное «Письмо, содержащее

²⁷¹ Об этом см.: Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II, гл. 2.

²⁷² Записки московского мартиниста сенатора И. В. Лопухина. М., 1884, с. 15.

²⁷³ Рассуждение о злоупотреблении разума некоторыми новыми писателями и опровержение их вредных правил, соч. россиянином. М., 1787, с. 5—6, 8.

некоторые рассуждения о поэме г. Вольтера на разрушение Лиссабона». ²⁷⁴

В спор с «господином Вольтером» и его единомышленниками Левшин вступил не без смущения: «опровергнуть мысли мужа толико именитого и систему его, обожаемую многими», было делом нелегким. Этим и объясняется необычайная обстоятельность его аргументации. Десятки самых разнообразных примеров и отсылок — все служит единой цели: доказать, что знаменитая поэма, равно как и «большая часть сочинений Вольтеровых», — жестокое заблуждение. Даже самые «хитросплетенные основания», полагает Левшин, не могут придать доводам Вольтера хоть какую-то убедительность. И зло физическое, и зло нравственное необходимо должно существовать: «Премудрость и сила божия во всем созданном от него неразлучимы, они открываются повсюду в равной мере». ²⁷⁵ «Хула на бога» — так характеризует он содержание и устремленность вольтеровской философии; между тем собственную позицию он определяет как «обожание» и «защитение» всеми доступными и допустимыми средствами «закона христианского».

Для конца 1780-х г., когда «Письмо» появилось в свет, подобное признание, по-видимому, соответствовало истине. К тому времени Левшин уже окончательно порвал с «вольтеризмом», которому сочувствовал в начале. Но прошлое тяготело над ним. Вот почему он прежде всего и счел нужным высказать в конце письма не лишнее смысла предположение, что труд его «не избежит таинственного презрения и насмешек от некоторых чтецов». Этих «чтецов» он имел в виду также, сообщая о своем «обращении»: «Я радуюсь, где нахожу устремление его (т. е. Вольтера, — П. З.) против суеверства; но раскаиваюсь, что некогда одобрял я в нем те места, кои казались мне неопровергаемыми и кои нашел безрассудными, начав читать труды других добродетельных сочинителей и получа от них руководство лучшим образом употребить мои рассуждения». ²⁷⁶ Не исключено, что в силу тех же причин «Письмо» его было напечатано в 1788 г. с датой «2 мая 1780 года»: тем самым период «обращения» отодвигался с еще большей определенностью назад. ²⁷⁷

В ходе своих рассуждений Левшин несколько раз называл Руссо. Авторитет «женевского философа», убежденного — на протяжении многих лет — противника Вольтера, облегчал выполнение поставленной им себе задачи. Аналогичный прием был использован и в анонимной брошюре «Разговор Вольтера

²⁷⁴ См.: Дьяконов П. А. Реферат о книжке «Письмо, содержащее некоторые рассуждения о поэме г. Вольтера на разрушение Лиссабона». — Изв. Тамбов. учен. архивной комиссии, 1890, вып. 26, с. 71—73.

²⁷⁵ Письмо, содержащее некоторые рассуждения о поэме г. Вольтера на разрушение Лиссабона. М., 1788, с. 20.

²⁷⁶ Там же, с. 74—76.

²⁷⁷ См.: Шкловский В. Б. Чулков и Левшин. Л., 1933, с. 141—142.

с Ж.-Ж. Руссо в царстве мертвых», переведенной в 1789 г. И. Краснопольским. Правда, в данном случае дело не ограничивалось цитатами. Руссо выступал здесь в качестве обличителя, его устами Вольтеру приносился приговор. Однако и вольтеровская часть этого воображаемого диалога содержала немало «разоблачительных» суждений. Не только соглашаясь со своим собеседником, но и возражая ему, Вольтер содействовал собственному «развенчанию». С неоспоримостью из их разговора следовало, что Вольтер — материалист и атеист, злейший враг «всех людей и народов». ²⁷⁸

Своеобразным итогом этой начавшейся переоценки Вольтера явилась обширная статья о нем в третьем томе «Словаря исторического», восходившая к девятому тому «Nouveau dictionnaire historique» (1789). ²⁷⁹ Хотя справочный характер издания и предполагал более или менее объективный тон, это был не столько очерк жизни Вольтера, сколько суд над ним — беспощадно строгий и отнюдь не всегда справедливый. Даже в первой части статьи, где сообщались важнейшие факты биографии «сего славного человека», было заключено немало укоров; вторая же часть была критической по преимуществу.

Объектом особенно злобных нападок явилась «Орлеанская девственница»: «...это такое сочинение, в котором не видно ни плану, ни связи. Оно состоит из развязных сказок, не имеющих связи с поэматическим предметом, так что нет в нем ни начала, ни середины, ни конца. Все почти герои в ней подлы, облечены в мерзость; и люди со вкусом, так как и честные особы, не иначе почитать могут сию поэму, как циническим или соблазнительным и случайным произведением». Почти столь же решительно расправлялся автор статьи с вольтеровской прозой — с повестями, представляющими собой, по его мнению, «связь невероятных происшествий, повествуемых весьма часто с непристойностью и наполненных такими шутками, из которых многие противны хорошему вкусу», и т. д. Из «описанной картины» закономерно вытекала предложенная в заключение рекомендация по возможности воздержаться от чтения Вольтера — до тех пор, пока «трудолюбивая рука, очистив сочинения, изданные под его именем, от всего того, что противно религии, нравам и законам, загладит те пятна, кои могут зачернить его славу».

Но этой рекомендации не последовали ни читатели, ни переводчики. Более того, в связи с выходом в свет Полного собрания сочинений Вольтера в семидесяти томах, предпринятого Панкуком и продолженного Бомарше («Кельское издание», 1785—1789), русским переводчикам открылись новые возможности: в их распо-

²⁷⁸ Разговор Вольтера с Ж.-Ж. Руссо в царстве мертвых. СПб., 1789. — В этой связи см.: Egilsrud J. S. Le Dialogue des morts dans les littératures française, allemande et anglaise (1644—1789). Paris, 1934, p. 104.

²⁷⁹ Словарь исторический, ч. 3. М., 1790, с. 334—356.

ряжении оказалось множество не известных им ранее текстов, к тому же собранных вместе и даже как-то объясненных. Во всяком случае, это знаменитое издание несомненно способствовало возникновению проекта первого русского собрания всех вольтеровских сочинений, издателем которого был И. Г. Рахманинов, один из самых активных и твердых «вольтеристов» тех лет.

К мысли собрать воедино и издать все творческое наследие френейского патриарха Рахманинов пришел не сразу — этому предшествовал довольно долгий подготовительный период, на протяжении которого он пробовал силы в переводе разных авторов и набирался опыта в издательских делах. Впервые Рахманинов обратился к Вольтеру еще в 1770-х гг., когда он опубликовал перевод трех его философских диалогов.²⁸⁰ Однако едва ли он сознавал тогда, что с Вольтером будет связана почти вся его дальнейшая жизнь. Лишь с начала 1780-х гг. распространение вольтеровских идей становится смыслом его существования, основной целью всех его усилий.

Любопытно, что деятельность эта началась переводом двух антивольтеровских памфлетов — «Relation de la maladie, de la confession, de la fin de M. de Voltaire et de ce qui s'ensuivit» (1761) и «Testament politique de M. de Voltaire» (1770). «Благоразумный читатель, — мотивировал Рахманинов свое намерение, — из дурного сочинения может извлечь нечто доброе, подобно пчеле, высасывающей мед из всякого растения». Но основная задача его состояла в другом. Публикуя первую из названных книг (она принадлежала перу Селиса), Рахманинов надеялся, что современники осознают, до каких крайностей может дойти ненависть к великому человеку, «приобретшему отличными своими писаниями славу», и, почувствовав глубокое отвращение к бесчинствам «завистников, которые во все продолжение его жизни не представляли на его нападать различными образами», сами ощутят потребность взглянуть на Вольтера «спокойным оком».²⁸¹

В отличие от «Известия о болезни», которое могло произвести желаемый эффект лишь с помощью предпосланных ему компромиссных рассуждений и внушений, другой памфлет (его автором был Маршан) появился без всяких комментариев переводчика. «Политическое завещание» говорило само за себя, оно представляло собой вопль раскаявшегося грешника, решительно порывавшего с прошлым. Этот мнимый Вольтер признавал всемогущество бога и бессмертие души, препоручая себя — ввиду близкого конца — святым, «обитающим в райских селениях», которым он, увы, «весьма мало оказывал почитания», и всячески настаивал на своей неизменной приверженности «католическому закону». При этом он не отрицал и своих «ошибок», но каждый раз пытался их

²⁸⁰ Три разговора из Вольтеровых сочинений. СПб., 1777.

²⁸¹ Известие о болезни, о исповеди и о смерти г. Вольтера. СПб., 1785, Предисловие.

объяснить. Пагубное стремление «узнать о всех вещах в свете» он полагал следствием владевшего им непомерного честолюбия; нечестивые и насмешливые сочинения оправдывал «вольностью дерзкого воображения». Репутацию мятежника и вольнодумца, утверждал он, ему создали «несносные завистники»; он стал жертвой их «потаенной злобы».²⁸² Со страниц завещания (равно как и со страниц «Известия» — вместе с предисловием к нему) вставал «облагороженный», «очищенный» образ фернейского мудреца, а это прежде всего и входило в намерение переводчика, который пытался убедить современников в том, что наследие Вольтера не таит в себе сколько-нибудь для них серьезных опасностей, нимало не угрожает их благополучию и душевному покою.

Теперь Рахманинов мог приступить к собственно переводческой работе. Задача, которую он поставил себе первоначально, была довольно скромной: перевести несколько поэтических произведений, ряд небольших повестей и рассказов, а также статей и фрагментов морально-философского содержания и выпустить их отдельной книгой. При этом он не слишком задумывался над тем, переводились ли выбранные им сочинения на русский язык раньше или нет: большинства существовавших к тому времени переводов, в особенности журнальных, он не знал и, конечно, даже не подозревал, что число их столь велико. Но и при большей осведомленности Рахманинов, вероятно, не поступил бы иначе. Затерянные в старых периодических изданиях, к тому же выходявших ничтожными тиражами, публикации эти были, как правило, недоступны читателю, да и качество некоторых переводов оставляло желать лучшего. Рахманинов же передавал французский текст весьма старательно, а главное — он для удобства «соотечичей» собрал более двух десятков вольтеровских сочинений вместе.²⁸³ По существу это было первое в истории «русского Вольтера» собрание его произведений. Именно так осмыслил свой опыт и сам Рахманинов, который, предпринимая следующее, на сей раз трехтомное издание, назвал его продолжением «прежде изданного перевода».

Трехтомное «Собрание сочинений г. Волтера» (1785—1789) включало уже более сорока повестей, стихотворений и философских этюдов. Однако от предшествующего сборника эта серия отличалась не только объемом, но и своим составом: из двадцати пяти «аллегорических, философических и критических сочинений» приблизительно треть русскому читателю была известна; в «Собрание сочинений» же вошло всего несколько вещей, опубликованных ранее: «Храм вкуса», «Похождение памяти», «Микромегас», а также (частично) «Поэма о гибели Лиссабона».

Это на первый взгляд незначительное обстоятельство сильно волновало Рахманинова, который здесь, в отличие от первого сбор-

²⁸² Политическое завещание г. Вольтера. СПб., 1785, с. 1, 13, 16, 17, 25.

²⁸³ Аллегорические, философические и критические сочинения г. Вольтера. СПб., 1784.

ника, по возможности старался соблюсти принцип новизны, хотя и не уведомлял об этом специально. Во всяком случае, перепечатывая из «Аллегорических сочинений» свой перевод «Храма вкуса», он дал понять, что воспроизводит его не механически, ибо в его основу положена усовершенствованная редакция произведения, помещенная в Кельском издании. Переработке подверглись и перевод «Похождения памяти», заимствованный из «Сатирических и философских сочинений господина Волтера» (1784), и перевод «Микромегаса» (в таком исправленном виде он был годом раньше выпущен отдельно).²⁸⁴ В еще большей степени правилу, принятому Рахманиновым, противоречило включение им во вторую часть «Собрания сочинений» чужого перевода; почти не владея стихом, он вынужден был воспользоваться переводом «Поэмы о гибели Лиссабона» Богдановича. Испытывая немалое смущение, Рахманинов считал своим долгом особо оговорить этот досадный для него факт: «Сия поэма в стихах была переведена на российский язык уже давно и помещена в ежемесячных изданиях, и как она переведена столь исправно, что я не мог на себя взять, чтоб перевести ее так хорошо и красноречиво, почему и помещаю здесь оную того самого перевода, надеясь, что г. переводчик, хотя он мне и неизвестен, простит меня в том, что я его перевод помещаю между своим переводом, что может служить более к его же чести, потому что я не находил себя способным перевести оную поэму с толикою исправностию. Примечания же на сию поэму моего перевода».²⁸⁵

«Собрание сочинений г. Волтера» готовилось долго — не менее шести лет, но за это время Рахманинов сумел значительно расширить представление современников о творческом наследии своего «божества». Благодаря его усилиям русские почитатели Вольтера получили, помимо множества мелких сочинений, «Письма Амабеда», «Уши графа Честерфилда», «Повесть о Велизарии», несколько од («О фанатизме»,²⁸⁶ «О мире 1736 года»,²⁸⁷ «Истинный бог») и т. д.

В 1789 г. Рахманинов пополнил эту серию еще одним изданием — сборником «Сатирический дух г. Волтера, или Собрание некоторых любопытных сатирических его сочинений», куда, между прочим, вошли переведенные прозой стихотворная сатира

²⁸⁴ Микромегас, философическая повесть... Новое испр. изд. СПб., 1788.

²⁸⁵ Собр. соч. г. Волтера, ч. 2. СПб., 1787, с. 71. (Упомянутые Рахманиновым «ежемесячные издания» — журн. «Невинное упражнение»).

²⁸⁶ С. Глинка упоминает в «Записках» (с. 160—161) свою «Оду на суеверие», «выкраденную из Вольтера» (т. е. перевод вольтеровской оды «О фанатизме»). Характерно, что перевод этот не был пропущен цензором Х. А. Чеботаревым.

²⁸⁷ К этому переводу, по-видимому, восходил другой, стихотворный, список которого, помеченный 1792 г., находится в ПД (ф. 141, № 51, т. 1—4).

«Бедняга» и сатирический памфлет в стихах «Русский в Париже».

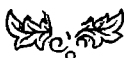
Уже к концу 1780-х гг., следовательно, Рахманинов перевел из Вольтера не меньше, чем все его предшественники вместе взятые по крайней мере за тридцать лет. Но он и не помышлял о покое. Напротив, ободренный благосклонностью к нему читающей публики, он в 1788 г. завел собственную типографию и вскоре приступил к осуществлению нового — несравненно более смелого — замысла. Речь идет о «Полном собрании всех доныне переведенных на российский язык и в печать изданных сочинений г. Волтера».

Размах задуманного дела заставил Рахманинова отказаться от ранее принятого им принципа: до сих пор он, за редкими исключениями, переводил все сам, теперь же понял, что с подобной задачей ему не справиться. Свои опубликованные переводы он рассчитывал положить в основу будущего издания, переводить Вольтера он собирался и в дальнейшем, но существенное место в «Полном собрании...» отводилось и чужим переводам. Впрочем, говорить об этом с определенностью трудно: из предполагавшихся двадцати частей в свет вышли только три, четвертая должна была поступить в продажу, а пятая набиралась, когда во исполнение монаршей воли генерал-прокурор Синода А. Н. Самойлов категорически предписал «как наискорее и без малейшего разглашения ... типографию у Рахманинова запечатать и печатание запретить».

История этого издания детально изучена и не раз уже была рассказана, в том числе и на основании архивных данных.²⁸⁸ Здесь следует лишь отметить, что оно явилось не только плодом усилий самого Рахманинова, но и результатом нелегкого многолетнего труда целого поколения русских «вольтеристов». Правительственные гонения 1790-х гг., заставившие надолго умолкнуть Радищева и навсегда — Новикова, обрушились и на Рахманинова, лишив его возможности воплотить в жизнь заветную мечту. Издание «Полного собрания...» было прекращено почти в самом начале. Но и тем, что И. Г. Рахманинову удалось совершить, он несомненно вписал одну из самых прекрасных и волнующих страниц в историю «русского Вольтера» и — более того — в историю отечественного Просвещения и национальной культуры своей эпохи.

²⁸⁸ См.: Дубасов И. И. Типография Рахманинова в селе Казинке, Козловского уезда. — Древняя и новая Россия, 1878, № 3, с. 279; Стащук Н. И. Вольная типография И. Г. Рахманинова на Тамбовщине. — Вопр. истории, 1956, № 12, с. 123—126; Мартынов Б. Ф. Журналист и издатель И. Г. Рахманинов. Тамбов, 1962; Полонская И. М. И. Г. Рахманинов — издатель сочинений Вольтера. — В кн.: Труды ГБЛ, т. 8. М., 1965, с. 126—162.

ОТ КЛАССИЦИЗМА К РОМАНТИЗМУ



I

Последнее десятилетие XVIII в., ознаменовавшееся дальнейшим усилением антипросветительских тенденций, явилось также одной из самых мрачных эпох в истории «русского Вольтера». По мере того как развивались революционные события во Франции, постепенно в разных слоях русского общества нарастала неприязнь к френейскому старцу, которого теперь (не без оснований) относили к числу главных предтеч этого «страшного» переворота.¹

«Я думаю, что сочинения Вольтеров, Дидеротов, Гельвециев и всех антихристианских вольнодумцев много способствовали к нынешнему юродствованию во Франции. Да и возможно ли, чтобы те, которые не чтут самого царя царей, могли любить царей земных и охотно им повиноваться», — утверждал, например, И. В. Лопухин в письме к А. М. Кутузову от 14 октября 1790 г. Несколько позднее сходную мысль высказал и сам Кутузов в письме из Берлина к А. А. Плещееву: «Монархи веселились сочинениями Вольтера, Гельвеция и им подобных; ласками награждали их, не ведая, что, по русской пословице, согревали змею в своей пазухе; теперь видят следствии блистательных слов, но не имеют уже почти средств к истреблению попущенного ими!».²

Из этой же точки зрения исходили и Т. С. Борноволоков, и Е. А. Болховитинов, познакомившие соотечественников с французскими сочинениями, «изобличавшими» Вольтера и «лжеумудрствования Волтеровою шайки».

Книга, изданная Борноволоковым, которую он так и озаглавил — «Изобличенный Волтер», должна была, по мысли компилятора, «показать юношам, сколь лживо и дерзко писал о религии г. Волтер, и тем бы отвлечь их от излишнего к нему доверия,

¹ Об этом см.: Штранге М. М. Русское общество и французская революция 1789—1794 гг. М., 1956, с. 38—42.

² Барсков Я. Л. Переписка московских масонов XVIII-го века. 1780—1792. Пг., 1915, с. 16, 196.

а следственно от разврата».³ «Адским произведениям» Вольтера в книге противопоставлялось Священное писание, которое «любезным соотчикам» рекомендовалось почитать «за главнейший предмет воспитания детей их».⁴

Усилиями Болховитинова и его учеников русский читатель получил старое, тридцатилетней давности сочинение, принадлежавшее одному из самых яростных и упорных врагов френейского патриарха — аббату Нонноту.⁵ О цели, которую преследовали составители книги, говорило уже самое посвящение ее «любящим благочестие и истину» и в особенности Предуповедение к российскому переводу, автором которого несомненно явился сам будущий митрополит. С раздражением и горечью констатируя «всеобщее внимание» к имени Вольтера и широчайшее распространение «Волтеровых книг» — в подлиннике, в полных и очищенных переводах, а также в виде многочисленных списков, — он пытался определить причину этого «прискорбного факта». Слава Вольтера, «крикливые вольнодумцев похвалы» и, наконец, «редкое искусство свободного и ясного штиля, одетого в тонкие и замысловатые насмешки», которым в совершенстве владел «сей знаменитый писатель», и вместе с тем — отсутствие отпора «лжам» его и «клеветам», — такими обстоятельствами объяснял он в первую очередь пристрастие к Вольтеру русского читателя, который постепенно усвоил вольтеровскую «недоверчивость ко всему, пренебрежение к самым почтеннейшим и священнейшим истинам и, если можно так сказать, беспристрастное пристрастие всему смеяться». Весьма показательна и его финальная реплика: заранее отвергая возможную хулу «волтероловцев», он пояснял, что для него и других распространителей идей Ноннота «лестнее благосклонность одного добродушного и любящего религию читателя, нежели сколько оскорбительны ругательства тысячи вольнодумцев!».⁶

Такие выступления не могли не радовать Екатерину II и ее окружение. Еще недавно идеолог дворянской оппозиции кн. М. М. Щербатов, сокрушаясь о «повреждении нравов в России», обвинял императрицу в том, что она «упоена безразмыслительным чтением новых писателей, закон христианский (хотя довольно набожной быть притворяется) ни за что почитает. Коль

³ Изобличенный Вольтер. СПб., 1792. Предисловие.

⁴ Там же, с. 11, 42.

⁵ Волтеровы заблуждения... М., 1793. — О подготовке этого издания (кстати, сильно урезанного цензурой, которой внушало страх всякое упоминание Вольтера) см.: Шмурло Е. Ф. Библиографический список литературных трудов киевского митрополита Евгения Болховитинова, вып. 1. СПб., 1888, с. 22—23.

⁶ См.: Бородин С. М. Галлофобия в нашей литературе прошлого века. — Наблюдатель, 1887, № 10, с. 70—85; № 11, с. 303—312. — Отдельные сведения можно почерпнуть также в статье Ф. А. Терновского «Русское вольнодумство при императрице Екатерине II и эпоха реакции» (Труды Киев. духовной акад., 1868, март, с. 400—464, июль, с. 109—146).

ни скрывает своих мыслей, но они многожды в беседах ее открываются, а деяния иначе и паче доказуют: многие книги Вольтеры, разрушающие закон, по ее повелению были переведены, яко „Кандид“, „Принцесса Вавилонская“ и прочие).⁷ К началу 1790-х гг. от этого показного «вольтеризма» не осталось и следа. Ниспровержение Вольтера стало «государственным делом», политической задачей, не менее «важной» и «необходимой», чем расправа с Радищевым и разгром мартинистов.

Особой интенсивности борьба с Вольтером (и «французской заразой» вообще) достигла в павловское время. В этом отношении новый император явился достойным преемником ненавистной ему Екатерины: за четыре с половиной года им было издано более десяти различных указов, так или иначе ограничивавших свободу книгопечатания и книжной торговли, а также поездок за границу, каждый из которых отражался или во всяком случае мог отразиться и на судьбе «российского Волтера».⁸

Неприязнь Павла к френейскому патриарху нарастала постепенно. В молодости он по совету матери и воспитателей читал его сочинения и присутствовал на вольтеровских спектаклях,⁹ в его личной библиотеке находились «Oeuvres de Monsieur de Voltaire» (1757),¹⁰ еще в 1798 г. на придворной сцене давалась «Альзира»¹¹ и т. п., но в конце концов страх перед «развратными правилами» и «зловредными умствованиями» французских «бунтовщиков» одержал верх, и Вольтер оказался в «черном списке». Показательно, что даже так называемый Совет его величества разрешил к распространению французское издание «Кандида» и во-

⁷ Щербатов М. М. Соч., т. 2. СПб., 1898, стб. 243. — Сходным образом думал А. Т. Болотов. В своей «Записочке» 1791 г. (увидевшей свет почти полтора столетия спустя) по поводу выхода в русском переводе «Принцессы Вавилонской» он с необычайной резкостью отзывался о «сей басенке», о ее сочинителе, «бывшем в наш век только известным в свете», и «господине переводчике» (т. е. Ф. А. Полунине), которому этот труд не принес «ни малейшей чести». Особую ярость «Принцесса Вавилонская» внушала Болотову еще и потому, что она сеяла «зло» в «самом простом и неученом народе... любящем читать лучше басенки, нежели важные сочинения». Однако он не обольщался и относительно прочих вольтеровских творений, «какие бы они ни были, пиитические ли, исторические ли, философские ли, драматические ли или иного какого рода», полагая, что они наполнены таким же «ядом и отравой» (Лит. наследство, т. 9—10, М., 1933, с. 210—211).

⁸ См.: Ключков М. В. Очерки правительственной деятельности времени Павла I. Пг., 1917, с. 175—180; см. также: Рогожин В. Н. Материалы для русской библиографии XVIII и первой четверти XIX столетий, т. 1. Дела Московской цензуры в царствование Павла I, вып. 1. СПб., 1902.

⁹ См.: Порошин С. А. Записки. СПб., 1881, стб. 9, 103, 104, 117, 133, 148, 178 и др.; Кобеко Д. Ф. Цесаревич Павел Петрович. СПб., 1883, с. 34; Архив кн. Ф. А. Куракина, кн. 7. Саратов, 1898, с. 107—108, 138, 151, 160.

¹⁰ Ключков М. В. Очерки правительственной деятельности..., с. 110, 587.

¹¹ Арапов П. Н. Летопись русского театра. СПб., 1861, с. 136.

обще счел нецелесообразным «преградить» дальнейший ввоз «сочинений Волтеровых» из-за границы, так как «до сего времени» они «были ввозимы в Россию в великом множестве экземпляров и находятся во всех книжных магазинах и библиотеках»;¹² но по личному настоянию Павла такое решение все же было принято.¹³

Разумеется, дело было не только в Вольтере: 18 апреля 1800 г. последовало запрещение ввозить всякую иностранную литературу, «равно как и музыку»,¹⁴ но, по-видимому, Вольтер внушал Павлу особенно сильные опасения. Недаром за несколько дней до смерти, обнаружив на столе у наследника (будущего Александра I) вольтеровскую «Смерть Цезаря» (по другим сведениям, то был «Брут»), он увидел в этом скрытую для себя угрозу и вскоре показал ему в «Истории Петра» главу об убийстве царевича Алексея (согласно второй версии — петровский указ о предании царевича смерти).¹⁵

В силу всех этих причин на протяжении 1790-х гг. в русской периодической печати не появилось ни одного сколько-нибудь значительного критического опыта о Вольтере или каком-либо из его произведений. Да и вообще непосредственно Вольтеру в этот период был посвящен лишь небольшой этюд в журнале Н. П. Осипова «Что-нибудь от безделья на досуге» — журнале, резко выделявшемся на весьма унылом фоне периодических изданий тех лет.¹⁶

Задача, которую поставил перед собой автор этюда (озаглавленного уже в соответствии с новой, более точной транскрипцией — «Вольтер»), заключалась преимущественно в том, чтобы вновь привлечь внимание к личности фернейского патриарха,

¹² См.: Репинский Г. К. Цензура в России при императоре Павле. 1797—1799. — Рус. старина, 1875, ноябрь, с. 457. См. также: Ключков М. В. Очерки правительственной деятельности... , с. 176.

¹³ См.: Рус. старина, 1897, дек., с. 82; см. также: Садиков П. А. Несколько материалов для истории мер правительства императора Павла I против проникновения в Россию идей Великой французской революции. — Дела и дни, 1920, кн. 1, с. 391—397. — Кроме того см.: ЦГИА, ф. 1374, оп. 1, № 192, л. 269 и сл.; оп. 3, № 2408, л. 22.

¹⁴ См.: Ключков М. В. Очерки правительственной деятельности... , с. 176—177.

¹⁵ См.: Шильдер Н. К. Император Павел Первый. СПб., 1901, с. 479. (Этот эпизод получил отражение в пьесе Д. С. Мережковского «Павел Первый», 1908). — Обращались к «Смерти Цезаря» и участники так называемого «смоленского кружка», целью которого было свержение и убийство Павла. В следственных материалах по этому делу указывалось, в частности, что на одном из собраний заговорщиков весной 1798 г. А. М. Каховский и П. С. Дехтярев начали читать вслух «Смерть Цезаря» Вольтера и «злобу свою изъясняли чтением вышеозначенной трагедии»; Каховский же заметил при этом: «Если бы этак нашего». См.: Снытко Т. Г. Новые материалы по истории общественного движения конца XVIII века. — ВИ, 1952, № 9, с. 114, 117, 118.

¹⁶ Об этом см.: Бородин С. М. Русская журналистика в конце прошлого столетия. — Наблюдатель, 1891, № 3, с. 61—102.

вместе с тем не вызывая «дурных импрессий» в официальных кругах. Сообщая всевозможные сведения о происхождении Вольтера, о его семье, воспитании, о его первых театральных опытах, о «Генриаде» и «Философских письмах», о его занятиях физической, о спорах с Французской Академией, о «берлинском эпизоде», о Фернее, наконец о «Вольтеровой кончине», он почти везде решительно «снял впечатление» то дополнительными, компрометирующими Вольтера сведениями, то неблагоприятным для французского писателя выводом, то иронической ремаркой. Особенно характерна в этом отношении заключительная страница этюда, где почти каждая фраза про уравновешена суждением *contra*: «...должно признать, что Вольтер был человек великий; служил украшением французского языка и могилою добрых нравов; возвысил французский театр, но расстроил человеческое общество; превзошел многих древних писателей и ввел в литературу острые, колкие и замысловатые шутки. Происшедшую во Франции революцию не только предвидел и предсказывал, но сочинениями своими несколько и настроил. Можно его именовать отцом высочайшего человеческого разума и праотцем развращенной философии» и т. п.¹⁷

Обычно же о Вольтере писали как бы между прочим, и дело по преимуществу ограничивалось либо вполне невинной цитатой или реминисценцией, либо сравнительно кратким упоминанием, либо веселым анекдотом. Так, Е. Р. Дашкова, призывая соотечественников «возлюбить Россию и русских паче чужестранцев» (а точнее — «взбесившихся» французов), подкрепляла свои слова давним признанием «славного Волтера»: «Мы нация тигров и мартышек»;¹⁸ несколько цитат из вольтеровских трагедий было предпослано в качестве эпиграфов к различным стихотворениям и фрагментам, напечатанным в «Приятном и полезном препровождении времени»;¹⁹ эпиграфом к повести «Любовь, гонимая клеветою», опубликованной в журнале «Иппокрена, или Утехи любословия», послужило знаменитое двустипшие из 7-й сцены 2-го акта трагедии «Меропа»;²⁰ наконец, к Вольтеру, по всей вероятности, восходила и картина разрушенного землетрясением Лиссабона в стихотворном «Отрывке из письма», помещенном в той же «Иппокрене».²¹

Неоднократно имя Вольтера присутствует в журнальных статьях о русском и французском театре, например в очерке, посвященном Лекену, «славному французскому актеру»,²² и в известной статье П. А. Плавильщикова «Театр». Несмотря на ее анти-

¹⁷ Что-нибудь от безделья на досуге, 1798, суббота 8, с. 119.

¹⁸ Новые ежемесячные сочинения, 1792, ч. 73, дек., с. 4.

¹⁹ Приятное и полезное препровождение времени, 1796, ч. 9, с. 195; ч. 12, с. 253; 1798, ч. 18, с. 265.

²⁰ Иппокрена, или Утехи любословия, 1800, ч. 5, с. 129.

²¹ Там же, с. 236.

²² Собрание некоторых театральных сочинений, 1790, ч. 3, с. 14, 16, 18.

французскую направленность, статья эта не содержит никаких обличений фернейского отшельника; в отдельных случаях Плавильщиков даже называет его в качестве «образца». В частности, утверждая, что «для возбуждения чувствования потребно вывести на театр добродетель страждущую», он тем не менее допускал и иное решение, некогда осуществленное Вольтером в «Магомете», где «к концу порок не наказуется ... но зритель проклинает выходя из театра Магомета, а рыдает о жребии Зопира и его детей». Не отвергал он и трагедий без любви («Меропа совсем другим чувствованием подвигнет и каменное сердце к сожалению»),²³ и чувствительных комедий вроде «Нанины», хотя и не одобрял борьбу Вольтера (и Сумарокова) со «слезным» жанром.

В столь же нейтральном тоне позднее писал о Вольтере и автор рассуждения «О знаменовании поэта вообще и о достоинстве поэта лирического».²⁴ Вольтера касалась и переводная заметка (заимствованная из «Annales politiques, civiles et littéraires du XVIII siècle» Ленге), в которой содержался ряд сведений о Фернее и о хранившемся там сердце его бывшего «владельца». Сообщая этот факт, автор заметки вместе с тем выражал свои претензии новому хозяину замка, который «унаследовал» и сердце своего предшественника: его отталкивала «философическая пышность», с которой был украшен ковчег, где хранилось сердце (портреты, окружавшие жертвенник, торжественная надпись и т. п.). «Не думаю, чтоб можно было выдумать что-нибудь холоднее сего», — заключал он и тут же предлагал собственный вариант в духе времени: «Мне кажется, что гораздо чувствительнее, благороднее и справедливее было бы, если бы сердце сие просто окружить печальными эмблемами и на ковчеге вырезать слова: „Quando ullum invenient parem?“ или какие-нибудь другие греческие либо латинские, тот же смысл содержащие».²⁵

Противопоставление это весьма показательно: пиетет к Вольтеру сочетается здесь с осуждением «господ», неспособных усвоить «язык чувства», а Вольтер и его единомышленники соседствуют с Руссо.

Даже в школьной поэтике тех лет — «Опыте риторики» И. С. Рижского — присутствуют оба эти имени, хотя, конечно, преобладает Вольтер. Руссо назван у Рижского четыре раза — как автор образцового «высокого письма» и как писатель, превосходно владевший «ораторическим слогом», а также в связи с рассуждением об «отличении» и «восклипании»; из Вольтера же почерпнуто не менее восьми различных примеров: возглас Оросмана из 4-го акта «Заир» приведен как образец «сомнения»; монолог Пальмиры, в котором она проклинает Магомета

²³ Зритель, 1792, ч. 2, авг., с. 265; ч. 3, сент., с. 26.

²⁴ Новости, 1799, кн. 2, с. 130—131, 136—137, 143, 147.

²⁵ Приятное и полезное препровождение времени, 1795, ч. 5, с. 143—

(2-я сцена 3-го акта), — как пример «желания»; монолог Идаме (3-я сцена 2-го акта) — «возбуждения страсти»; один фрагмент «Генриады» иллюстрирует в «Опыте» фигуру «напряжения», другой — «нравственное описание», и т. д.²⁶

Нечто подобное, разумеется, и в предшествующую эпоху,²⁷ но в 1790-е гг. соединение имен Вольтера и Руссо приобретает некую устойчивость. Так, среди предметов, украшающих кабинет несомненного поклонника новейшей поэзии, находятся «Вольтер, Руссо, Лафонтен, изображенные в славе своей», и в этой «тихой, уединенной комнате» он читает Оссиана, А. Радклиф, Делиля, Сен-Ламбера.²⁸ Герой стихотворения «Парнас, представленный каковым он казался» рассматривает надписи на венцах обитателей священной горы и обнаруживает

... имена Руссо, Вольтера, Попа,
Которых славою наполнена Европа.²⁹

Оба имени фигурируют и в колоритной зарисовке 1790 г. — «чистосердечном признании» светского вертопраха,³⁰ и в сатирической «картине» 1799 г.,³¹ причем Вольтер и здесь предстает в преромантическом окружении: «славный Руссо», «возвышенный Шакеспир», «угрюмый Юнг», «любезная мистрис Радклиф» привлекают теперь русских людей с такой же, если не с большей силой.

Не случайно Вольтер в этот период выступает в качестве посредника, способствуя лучшему знакомству у нас с творчеством Попа, Драйдена, Аддисона, Отвея и особенно Шекспира. Именно этот аспект его деятельности привлек, между прочим, внимание А. И. Клушина, который в первую же часть издававшегося им совместно с И. А. Крыловым³² журнала «Санкт-Петербургский Меркурий» включил перевод восемнадцатого «Философского письма», в котором шла речь о Шекспире,³³ а в следующую — фрагмент двадцать второго, посвященный Александру Попу.³⁴

В той же второй части журнала был напечатан небольшой вольтеровский этюд «Сократ»,³⁵ а в третьей — столь распростра-

²⁶ Рижский И. С. Опыт риторики. СПб., 1796, с. 52, 53, 58, 60—62, 77, 78, 135—137, 189—195, 198, 233—235, 340—342.

²⁷ Ср.: Лотман Ю. М. Руссо и русская культура XVIII века. — В кн.: Эпоха Просвещения. Из истории международных связей русской литературы. Л., 1967, с. 230.

²⁸ Иппокрена, или Утехи любословия, 1799, ч. 1, с. 307, 309—311. (Автор фрагмента — П. И. Шаликов).

²⁹ ПД, р. II, оп. 1, № 582, л. 47 об.

³⁰ Сатирич. вестн., 1790, ч. 5, с. 18—19.

³¹ Иппокрена, или Утехи любословия, 1799, ч. 3, с. 316.

³² О возможном воздействии Вольтера на Крылова-сатирика см.: Гукровский Г. А. Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века. Л., 1938, с. 104.

³³ С.-Петербург. Меркурий, 1793, ч. 1, с. 66—82.

³⁴ Там же, ч. 2, с. 69—76.

³⁵ Там же, с. 150—157.

ненный в русской печати XVIII в. рассказ «Индийская история», — кстати, единственный в 1790-е гг. новый перевод вольтеровской художественной прозы.³⁶ Наконец, по случаю представления «к удовольствию знатной особы» трагедии «Заира» С.-Петербургский Меркурий поместил несколько стихотворений,³⁷ в которых восхвалялись титулованные исполнительницы обеих женских ролей, но также и автор, «некогда венчанный», с его «чувствительным духом»: высокая чувствительность «Заиры», естественно, оказывалась в это время весьма привлекательной.³⁸

Об этом свидетельствует и обращение к этой трагедии (еще в 1783 г.) молодого Ю. А. Нелединского-Мелецкого,³⁹ и перевод Г. А. Хованский в начале 1790-х гг. одной из центральных ее сцен. В отличие от Нелединского-Мелецкого, предполагавшего осуществить перевод всей трагедии в целом, но вскоре по неизвестным причинам оставившего свой замысел, Хованский перевел лишь сравнительно небольшой фрагмент — отчасти навеянную шекспировским «Отелло» сцену ревности со знаменитой репликой «Вы плачете, Заира?» (в переводе Хованского: «Что вижу! плачешь ты? Заира, ты рыдаешь?»). Несомненно, эпизод этот больше других отвечал его стремлению заставить «в трагедии российских слезы лить»⁴⁰ и вообще склонности к чувствительным сюжетам (кстати, она довольно отчетливо проявилась и в оригинальных его стихотворениях, соседствовавших с этим переводом),⁴¹ а также потребностям читателей и вкусам критиков тех лет.

³⁶ Там же, ч. 3, с. 217—224. — Три других перевода из Вольтера-прозаика, напечатанные в журн. «Проходные часы, или Аптека врачующая от уныния», — «Путешествие жители звезды Сирия в планету Сатурна. Повесть философская», т. е. «Микромегас» (1793, март, с. 229—236; апр., с. 241—248, 257—291), «Мемнон, желающий быть совершенно разумным» (апр., с. 296—310), а также «О славе. Разговор с китайцем» (июль, с. 71—77) — представляют собой почти не выправленную перепечатку из «Ежемесячных сочинений».

³⁷ С.-Петербург. Меркурий, 1793, ч. 4, с. 38—41. — Автором этих стихотворений был Карабанов, переводчик «Альзиры». Ср.: Карабанов П. М. Стихотворения. СПб., 1801, с. 177—178 (в изд. 1812 г. — ч. 1, с. 211—213).

³⁸ См. стихотворение с типичным для конца века названием «Любезное уединение», в котором среди «услуг» сельских жителей, наряду с «концертом прелестным», фигурировало чтение этой трагедии Вольтера (Приятное и полезное препровождение времени, 1795, ч. 7, с. 393).

³⁹ Хроника недавней старины. Из архива кн. Оболенского-Нелединского-Мелецкого. СПб., 1876, с. 25.

⁴⁰ Слова из «Послания к Ю. А. Н[елединскому]-М[елецкому], который перевел в совершенстве три действия трагедии „Заира“, 20 лет тому назад», содержащего призыв «услать „Заиру“ в свет» (Хованский Г. А. Мое праздное время. СПб., 1793, с. 33; перепеч. в его сб.: Жертва музам. М., 1795, с. 83). Перевод Нелединского-Мелецкого частично (1-й акт) был напечатан в 1812 г. в «Трудах общества любителей российской словесности» (ч. 3, кн. 6, с. 3—19); перепеч.: Новое собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах, ч. 1. СПб., 1821, с. 202—216.

⁴¹ Кроме того, в сборниках Хованского был помещен перевод монолога Лизы из вольтеровского «Блудного сына» (1-я сцена 2-го д.), впрочем имев-

Недаром даже столь ожесточенный противник Вольтера, как Н. Е. Струйский,⁴² для «Заиры» делал исключение и в своем «Письме о российском театре нынешнего состояния» недоуменно восклицал: «В подобном существе открылась „Заира“». Но вольтеровский театр в целом заставлял его содрогаться от ужаса: в нем таилась «страшная опасность» для «русского народа».⁴³ Струйский ратовал за театр «благонамеренный», «нравственный», «спокойный», его идеалом был «северный Расин» и одновременно «Корнель наш» — Сумароков, и он с тоской и сожалением вспоминал о тех счастливых временах, когда на отечественной сцене царил этот «великий писатель» (и лучший, в его понимании, исполнитель сумароковских трагедий — И. А. Дмитриевский, к которому и было обращено «Письмо»). Теперь же (т. е. на рубеже 1780—1790-х гг.) театр сделался жертвой «пиитов дерзновенных» (и «прилепленных» к ним актеров), осмеливающихся посягать «на веру и закон». Струйский имел здесь в виду Княжнина и его «прегнусного „Вадима“», которого «судьбы низринули на век», но обвинял он при этом и того, кто дал «сему безумию и дерзости пример», иначе говоря — Вольтера, который, хоть и полон был сомнений и «то к храму прибегал, то жертвенник корил», но все же «из уст лишь яд свой лил» и — пусть иногда невольно — «воздымал бунт», а в конечном счете «претворил» Францию «во пепел».⁴⁴

Таким образом, наряду с вольтеровской повестью, представлявшей наибольшую «опасность» ввиду ее относительно широкого распространения в народе, война была объявлена и трагедии. И хотя Струйский и ему подобные шли иногда на уступки, а в отдельных случаях им преграждала путь «высочайшая воля», на протяжении 1790-х гг. ни одна трагедия Вольтера и вообще ни одно его драматическое сочинение не было переведено заново.⁴⁵ Между тем в силу разных причин несколько возрос инте-

пешего вне контекста вид скорее моралистического рассуждения в стихах, нежели комедийного эпизода.

⁴² О нем см.: Арсеньев А. В. Старые бывальщины. СПб., 1892, с. 177—200; Долгорукий И. М. Капище моего сердца. М., 1874, с. 211—214.

⁴³ Враждебное отношение Струйского к Вольтеру сложилось главным образом под влиянием революционных событий во Франции: ранее сам он перевел тираноборческий монолог Брута из 3-й сцены 3-го действия трагедии «Смерть Цезаря» (Струйский Н. Е. Соч. СПб., 1790, с. 249) и писал о Вольтере в весьма почтительных тонах, а в «Стихах на четыре астампа» причислил его к тем французским писателям, усилиями которых «невежество... с тиранством потряслось» (там же, с. 314, 325—326, 345). Именно от этих своих «крамольных» утверждений он и отказывался, по-видимому, — ссылаясь на «тлетворный дух времени», — в «Письме».

⁴⁴ Струйский Н. Е. Письмо о российском театре нынешнего состояния. Рузаевка—СПб., 1794, с. 6—8.

⁴⁵ Известен лишь стихотворный перевод оперы «Пандора», выполненный в 1798 г. тринадцатилетним Д. Н. Блудовым и не получивший никакого распространения (ПД, 22619/CLVII б. 8). См.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974 год. Л., 1976, с. 86—87.

рес к вольтеровской поэзии, в особенности к поэзии легкой — ска- зочкам, дружеским посланиям, стансам, мадригалам.

Едва ли не первым эту сторону поэтического творчества Вольтера отметил М. Н. Муравьев, один из зачинателей русского преромантизма и родоначальник русского «легкого стихотворства». ⁴⁶ «Легоньким творениям» французского поэта он посвящал содержательные строки в программном «Послании к А. М. Брянчанинову» (1783); к ним он возвращался и в дальнейшем — в «Эмилиевых письмах» (начало 1790-х гг.). При этом Муравьев никогда не был склонен противопоставлять одну грань вольтеровского таланта другой, в течение всей жизни восхищаясь удивительной способностью фернейского старца «являть истину во одеянье разном». (Сознательно игнорировал он лишь прозу, совершенно чуждую ему по духу и художественной манере).

Так, в пору ученичества он пытается понять, в чем состоит заслуга Вольтера в преобразовании французского театра; ⁴⁷ извлекает «правоучение писателя» из «Альзиры», «Олимпии», ряда комедий, а также «Генриады»; ⁴⁸ под впечатлением от «Аделаиды Дюгеклен» задумывает он и собственный опыт в трагедийном жанре на сюжет из польской истории. ⁴⁹ Позднее он с сочувствием говорит о «Генриаде», хотя и ставит ее ниже поэм Гомера; ⁵⁰ в обоих же главных его прозаических сочинениях — «Обитатель предместья» и «Эмилиевы письма» — неоднократно называются «Танкред», «Заира», «Магомет», «Альзира» и «Меропа», в которой, по словам Муравьева, «сияет простота греческого вкуса со всем богатством выражения». ⁵¹

Даже в «Послании о легком стихотворении» Муравьев с наибольшим сочувствием отзывался о таких произведениях французского поэта, как «Генриада» и «Китайский сирота». И хотя Вольтер, с его точки зрения, сочетал в себе просвещенный ум, утонченную светскость и несравненный поэтический дар, — иными словами, все, чего требует сочинение «общественных стихов» (*vers de société*), — и потому без особого труда оказался «неподражателен» в этом жанре, не они (или во всяком случае не только они) обеспечили ему европейскую славу и предсмертный парижский триумф. ⁵²

Годы, отделяющие заключенное в этом послании «блестящее изображение Вольтера» (как охарактеризовал его впоследствии

⁴⁶ См.: Гуковский Г. А. Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века, с. 235—314; Кулакова Л. И. М. Н. Муравьев. — Учен. зап. КГУ, 1939. Сер. филолог. наук, вып. 4, с. 4—42.

⁴⁷ ГПБ, ф. 499, № 30, л. 78.

⁴⁸ Там же, л. 143.

⁴⁹ В сохранившемся неполном списке книг личной библиотеки М. Н. Муравьева значится также вольтеровский «Век Людовика XIV» (там же, л. 2 об.).

⁵⁰ Муравьев М. Н. Полн. собр. соч., ч. 3. СПб., 1820, с. 141.

⁵¹ Там же, ч. 1. СПб., 1819, с. 104, 153, 154, 196, 197.

⁵² Муравьев М. Н. Стихотворения. Л., 1967, с. 220—221.

К. Н. Батюшков) от «Эмилиевых писем», почти не изменили позицию Муравьева. Для него Вольтер по-прежнему в первую очередь драматург, «удививший ожидание общества великими творениями, которые поставили его подле Корнеля и Расина», и, конечно, певец Генриха IV, но вместе с тем автор замечательных «убегающих стихотворений» (так переводит он термин «*pièces fugitives*») — дружеских посланий, иронических сказочек и эпиграмм, ставших «образцом и отчаянием последователей». Не случайно в текст «Эмилиевых писем» Муравьев включил в собственном переводе подпись к портрету Вольтера, принадлежавшую Дора, в которой фигурировали именно эти аспекты вольтеровского творчества — «Генриада», театр, легкая поэзия.

Неизменное внимание Муравьева к легкой поэзии френейского отшельника не получило, однако, реализации в его творческой практике: в молодости он собирался «преложить» (по всей вероятности, частично) «Генриаду» и «Брута», начал переводить «Заиру» и «Меропу», причем в последнем случае добился некоторых успехов;⁵³ в 1773 г. перевел полностью — и весьма удачно — «Оду на восшествие на престол Фридриха II», но о его попытках воплотить на русском языке какое-либо из «убегающих стихотворений» французского поэта ничего не известно.

Подобных опытов вообще было тогда немного. Это — выполненный одним из ближайших друзей Муравьева В. В. Ханыковым перевод сказочки «Папская туфля»,⁵⁴ перевод другой вольтеровской сказочки «Телема и Макар», сделанный Н. П. Николевым, — вольный, но все же с достаточной полнотой передававший содержание этой «аллегорической басни» и в какой-то степени игровость ее тона, богатство и прозрачность языка, подвижность и легкость ее стихотворного размера.⁵⁵ Это — перевод надписи к статуе Амура.⁵⁶ Это, наконец, перевод знаменитого мадригала принцессе Ульрике (сестре Фридриха II, впоследствии шведской

⁵³ ГПБ, ф. 499, № 48, л. 38, 48, 60, 78; № 30, л. 62; № 53, л. 11. — В переводе «Меропы» имеется несколько реминисценций из незадолго до того вышедшего переложения этой трагедии, сделанного Майковым. Фрагмент перевода Муравьева дважды включался им в текст его сочинений (Полн. собр. соч., ч. 1, с. 153; Стихотворения, с. 134).

⁵⁴ Перевод этот до нас не дошел. См.: Муравьев М. Н. Стихотворения, с. 350.

⁵⁵ См.: Николев Н. П. Творения, ч. 4. М., 1797, с. 135—163. — Кроме того, Николев перевел шестую строфу стансов «К г-же дю Шатле» (там же, ч. 5. М., 1798, с. 70). На зависимость его трагедии «Сорена и Замир» от «Альзиры» и «Магомета» указывалось особо (Кадлубовский А. П. «Сорена и Замир» Николева и трагедия Вольтера. — Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности имп. Акад. наук, 1907, т. 12, кн. 1, с. 185—204). Что же касается неоднократных упоминаний Вольтера в его сочинениях, то они имеют почтительный или нейтральный характер, когда речь идет о Вольтере-поэте (см.: там же, ч. 3, с. 134, 162), и обличительный, когда речь идет о Вольтере — политическом мыслителе и философе (там же, ч. 4, с. 57, 109).

⁵⁶ Еженедельник, 1792, № 5, с. 80 («К портрету Купидона»).

королеве) — «Souvent un peu de vérité». На протяжении нескольких лет его перевели два поэта — П. П. Сумароков (1790)⁵⁷ и Г. А. Хованский (1793).⁵⁸ По-видимому, к концу десятилетия относится также перевод Ю. А. Нелединского-Мелецкого, напечатанный много лет спустя.⁵⁹

Почти одновременное обращение трех переводчиков к одному французскому стихотворению не означало поэтического состязания в точном смысле слова, но элемент состязания здесь несомненно был. Если перевод Сумарокова, напечатанный в тобольском журнале, мог остаться вне поля зрения столичного литератора, то опыт Хованского, опубликованный дважды — в Петербурге и Москве, Нелединский-Мелецкий, конечно, знал и, возможно, именно в противоположность ему попытался с максимальной добросовестностью передать причудливый ритмический рисунок мадригала, которым Хованский (как и Сумароков) пренебрег. Отсутствовало у Хованского (а также Сумарокова) и другое важное достоинство перевода Нелединского-Мелецкого — эквилинеарность: он состоит из семи стихотворных строк (у Хованского их восемь, у Сумарокова — шесть). Только Нелединскому-Мелецкому удалось по силам воспроизвести и своеобразное чередование рифм оригинала (abbacac), в переводе Хованского упрощенное (у Сумарокова оно исчезло совершенно). В большей мере, чем обоим его предшественникам, присуща Нелединскому-Мелецкому и чистота поэтического языка. Тем не менее перевод этот особой известности не получил: распространялся он в списках, в очень узком кругу. Событием в истории «русского Вольтера» этих лет явился другой перевод, принадлежавший перу крупнейшего писателя эпохи — Н. М. Карамзина.

По всей вероятности, Карамзин узнал о Вольтере еще в ранней юности. Трудно допустить, что каких-либо его сочинений не было среди книг родительской библиотеки (впрочем, довольно скудной, если отождествлять ее с тем «желтым шкапом», о котором он писал, предаваясь «воспоминаниям молодости», в «Ры-

⁵⁷ Иртыш, превращающийся в Иппокрену, 1790, апр., с. 58. — П. П. Сумарокову принадлежит также навеянное вольтеровским «Jean qui pleure et qui rit» большое, полное злободневнейших намеков стихотворение «Плач и смех» (1788), рукопись которого хранится в ПД (ф. 265, оп. 2, № 2770). В сильно сокращенной редакции оно было помещено на страницах «Приятного и полезного препровождения времени» (1795, ч. 7, с. 29—31), а затем в «Собрании некоторых подражаний и переводов Панскратия» Су(марокова)» (М., 1799, ч. 1, с. 153—155).

⁵⁸ Хованский Г. А. Мое праздное время. СПб., 1793, с. 48 (перепеч.: Жертва музам. М., 1795, с. 57). — В обоих сборниках помещен и ответ Фридриха II Вольтеру.

⁵⁹ Полторацкий С. Д. Материалы для словаря русских писателей, т. 1, тетрадь 1. М., 1858, с. 9.

царе нашего времени)).⁶⁰ Тем более невозможно представить себе, что творениям Вольтера, по крайней мере таким как «Генриада», «Эдип» или «Заира», вовсе не уделялось внимания и места (пусть лишь при обучении французскому языку) в московском пансионе Шадена, где Карамзин пробыл с 1779 по 1783 г.⁶¹ Вскоре же после выхода в отставку (1784) и возвращения в родной Симбирск у него, по свидетельству И. И. Дмитриева, возникает мысль перевести вольтеровскую повесть «Белый бык».⁶² Правда, свидетельство это весьма недостоверно: сделанное много лет спустя, оно едва ли сколько-нибудь точно воссоздает разговор Дмитриева с Карамзиным. В противном случае остается загадкой, почему Карамзин, владевший и немецким, и французским, собиравшийся переводить Вольтера с немецкого перевода. Возможно, он имел в виду вторую часть «Кандида», выпедшую в 1773 г. под названием «Die beste Welt» (и, кстати, переведенную на русский язык И. Гурьевым в 1779 г.). Лишь тогда приобретает смысл и ответное восклицание Дмитриева: «Как! Эту дрянь, и еще не Вольтеру, подложную!».

Однако самое упоминание в этой беседе Вольтера вполне правдоподобно. К тому же вскоре это имя появилось в одном из писем Карамзина к его наставнику и другу А. А. Петрову из Симбирска в Москву. О содержании письма, до нас не дошедшего, можно судить по изложению Петрова, заметившего в ответном письме от 11 июня 1785 г.: «Ты пишешь о переводах, о собственных сочинениях, о Шекспире, о трагических характерах, о несправедливой Вольтеровой критике...».⁶³ Речь шла о знаменитой антишекспировской кампании, которую Вольтер, некогда сам обративший внимание соотечественников на творчество великого английского драматурга, начал в последние годы жизни, всячески пытаясь ослабить его воздействие на умы и сердца.⁶⁴

Знакомство Карамзина с этой деятельностью фернейского патриарха — весьма шумевшей, хотя и не прибавившей ничего к его славе, — могло состояться в силу разных причин, но скорее всего в связи с его намерением переводить Шекспира.⁶⁵ Первоначально его замысел был необычайно обширен — чуть ли не весь Шекспир (что дало А. А. Петрову повод для иронической ре-

⁶⁰ Ср.: Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников, ч. 1. М., 1866, с. 7.

⁶¹ См.: Там же, с. 16—18.

⁶² См.: Дмитриев И. И. Соч., т. 2. СПб., 1893, с. 25.

⁶³ Рус. архив, 1863, № 5—6, стб. 478—480.

⁶⁴ См.: Jussierand J.-J. Shakespeare en France sous l'ancien régime. Paris, 1898, p. 195—214, 285—317; Baldensperger F. Esquisse d'une histoire de Shakespeare en France. — In: Etudes d'histoire littéraire, 2-me sér. Paris, 1910, p. 161—165, 172—176.

⁶⁵ По аналогичному поводу ранее «антишекспиризм» Вольтера подверг резкой критике М. И. Плещеев в «Письме англomана» (Опыт трудов Вольного рос. собрания при Моск. ун-те, ч. 2. М., 1775, с. 258). Об этом см.: Шекспир и русская культура. М.—Л., 1965, с. 51—53.

марки), но в конце концов, видимо не без влияния новых друзей — участников новиковского кружка и в еще большей степени жившего тогда в Москве Якоба Ленца, — он остановил свой выбор на трагедии «Юлий Цезарь».⁶⁶

В предисловии к этому переводу — замечательном раннем манифесте русского преромантизма — и привел Карамзин «несправедливую Вольтерову критику» Шекспира. При этом он не цитировал какой-либо определенный фрагмент из Вольтера, но излагал его точку зрения на Шекспира вообще, как бы суммируя высказывания разных лет: «Шекспир писал без правил: творения его суть и трагедии и комедии вместе, или траги-коми-лирико-пастушьи фарсы без плана и без связи в сценах, без единств; неприятная смесь высокого и низкого, трогательного и смешного, истинной и ложной остроты, забавного и бессмысленного; они исполнены таких мыслей, которые достойны мудреца, и притом такого вздора, который только шута достоин; они исполнены таких картин, которые принесли бы честь самому Гомеру, и таких каррикатур, которых бы и сам Скаррон устыдился».⁶⁷

Опровергать «мнения сии» каждое в отдельности и доказывать, что Шекспир был не «весьма средственный автор, исполненный многих и великих недостатков», а гениальный драматург, Карамзин считал излишним, но по существу все предисловие в целом являлось его полемическим ответом Вольтеру. Представляя русскому читателю Шекспира, гений которого, «подобно гению натуры, обнимал взором своим и солнце и атомы», Карамзин демонстрировал и несостоятельность вольтеровских суждений. Упрекал же он французского поэта только в одном — в неблагодарности: «Волтер лучшими местами в трагедиях своих обязан Шекспиру, но не взирая на сие, сравнивал его с шутом и поставлял ниже Скаррона». И все же от «оскорбительного следствия» (т. е. вывода) Карамзин «удерживался», ибо «человека сего нет уже в мире нашем».

Вообще русский писатель всячески старался подчеркнуть, что полемика с Вольтером утратила смысл ввиду крайней архаичности его воззрений. Однако и через пять, и через десять лет вопрос этот продолжал сохранять для Карамзина свою остроту, и он еще дважды возвращался к нему в «Письмах русского путешественника», в швейцарском, а затем парижском эпизодах. Правда, с течением времени вопрос переместился в несколько иную плоскость. Карамзин уже не защищал Шекспира от нападок его французского антагониста, постепенно становившихся достоянием истории, но стремился разрешить дилемму: Шекспир или Вольтер, — которая по мере усиления преромантических веяний приобретала все большую злободневность. Противопоставление это имело и более глубокий, более общий смысл: речь шла

⁶⁶ См.: там же, с. 72—75.

⁶⁷ Юлий Цезарь, трагедия Виллиама Шекспира. М., 1787, с. 4—5.

о реформе, о возможном обновлении европейского искусства, прежде всего театра.

Карамзин выступает в поддержку этого обновления, иными словами — он на стороне Шекспира, в котором видит «гения природы». Однако преклонение перед великим английским драматургом не заслоняет от него «священные тени Корнелей, Расинов и Вольтеров». «Славнейший» из писателей XVIII в., Вольтер особенно восхищает Карамзина своей филантропической деятельностью и неустанным распространением «сей взаимной терпимости в верах, которая сделалась характером наших времен».⁶⁸

При этом, ссылаясь на «Похвальное слово» Лагарпа, в котором образ Вольтера предстает изрядно «облагороженным», Карамзин внушал соотечественникам, что Вольтер был «ревностным почитателем божества» и лишь иногда впадал в заблуждение, смешивая истинную христианскую религию с «гнусным лжеверием» (т. е. религиозным фанатизмом). Подобных заблуждений он не одобрял и недвусмысленно заявил об этом в особом примечании.⁶⁹ Впрочем, элемент осуждения содержался и в тех его словах, которые на первый взгляд казались дифирамбом: «Вольтер писал для читателей всякого рода, для ученых и неученых; все понимали его, и все пленялись им. Никто не умел столь искусно показывать смешного во всех вещах, и никакая философия не могла устоять против Вольтеровой иронии. Публика всегда была на его стороне, потому что он доставлял ей удовольствие смеяться!». По мнению Карамзина, «никто из авторов осьмогонадесять века не действовал так сильно на своих современников, как Вольтер», но в его понимании это был дурной знак, ибо подлинно гениальное искусство понятно немногим («Всякий любитися парением весеннего жаворонка; но чей взор дерзнет за орлом к солнцу? Кто не чувствует красот „Заиры“? Но многие ли удивляются „Отеллу“?»).⁷⁰

Позднее Карамзин сам опровергнет свою точку зрения;⁷¹ однако в то время, когда он, вспоминая о поездке в Ферней, писал приведенные выше строки, превосходство Шекспира (а в первоначальной редакции — и Гёте)⁷² не вызывало у него сомнений. Через несколько лет в иной связи он подтвердил и подробнее обосновал эту мысль.

Излагая свои впечатления от спектаклей Французского театра, и в частности от вольтеровского «Эдипа», Карамзин сравнивает французскую и английскую Мельпомену и вновь приходит к вы-

⁶⁸ Карамзин Н. М. Избр. соч., т. 1. М.—Л., 1964, с. 289—290.

⁶⁹ См.: Глебов И. Два наблюдателя европейской жизни. (Письма из-за границы Фонвизина и Карамзина). — Наблюдатель, 1898, № 6, с. 87.

⁷⁰ Карамзин Н. М. Избр. соч., т. 1, с. 289—290.

⁷¹ Об этом см.: Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. 7. СПб., 1882, с. 54—55.

⁷² Сиповский В. В. Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПб., 1899, с. 197.

воду, что французские драматические поэты должны «уступить преимущество» англичанам (и немцам). Французская Мельпомена «благородна, величественна, прекрасна, но никогда не тронет, не потрясет сердца моего так, как муза Шекспирова и некоторых (правда, немногих) немцев». «Тонкий», «нежный» вкус, замечательная картинность, искусное распределение красок и теней, наконец изысканность слога, так восхищающие «соотечественников Вольтеровых», оставляют Карамзина холодным: «Везде смесь естественного с романтическим; везде *mes feux, ma foi*, везде греки и римляне à la Française, которые тают в любовных восторгах, иногда философствуют, выражают одну мысль разными отборными словами и, теряясь в лабиринте красноречия, забывают действовать». Трагедия, полагает он, должна глубоко трогать наше сердце или ужасать душу, и достигается это не красотой стиха, а «естественностью», правдивостью положений. «Чувство природы» — вот что прежде всего необходимо драматургу; отвечает же этому требованию в полной мере лишь Шекспир.⁷³

Тем не менее театр Вольтера (а также Расина) сохраняет для него свою эстетическую ценность. В той или иной степени признавая, что многое из созданного френейским мудрецом уже совершенно устарело, ибо он размышлял больше о «минутной славе», чем о «потомстве», и не столько увлекал зрителей и читателей «изобретением» (т. е. самобытностью и новизной), сколько «искал единственно лучшего выражения для идей обыкновенных», Карамзин все же не соглашается с этой «грозной» критикой вольтеровской драматургии. Особенно решительно защищает он «прекрасную „Заиру“» в которой более других достоинств ценит чувствительность — подобно многим людям «осьмогонадесять века».⁷⁴ О прочих трагедиях Вольтера (за исключением «Эдипа») ⁷⁵ в «Письмах русского путешественника» речи нет. Что же касается произведений иных жанров, то чаще других Карамзин вспоминает «Генриаду», — впрочем, никак о ней не отзываясь.⁷⁶ Однако свое отношение к поэме он все-таки выразил, и притом весьма отчетливо, в связи с появлением в 1790 г. ее второго русского перевода: «„Генриада“ есть одна из тех поэм, которых главное достоинство состоит не в великих новых мыслях, не в живых, с самой природы взятых образах, но в красоте стихов. Тем труднее переводить ее. Здесь надобно не только выразить

⁷³ Карамзин Н. М. Избр. соч., т. 1, с. 389—390.

⁷⁴ Там же, с. 456.

⁷⁵ Там же, с. 391—393.

⁷⁶ Кроме того, Карамзин приводит в тексте «Писем» подпись к изображению герцога де Рогана, небольшой фрагмент «Храма вкуса» и экспромт «*C'est ici le vrai Parnasse*», а также излагает, опираясь на Вольтера, историю Железной Маски. Упоминает Карамзин и «Кандида», которого характеризует, отдавая дань обычному в 1790-е гг. отношению к вольтеровской повести, как «остроумный и безобразный роман».

мысли поэтов, но и выразить их с такою же точностью, с такою же чистотою и приятностию, как в подлиннике: иначе поэма потеряет почти всю свою цену».⁷⁷

Похвала эта заключала в себе изрядную долю осуждения: в эпическом жанре Вольтер тоже не был «гением натуры», и если театру его противопоставлялись Шекспир и Гёте, то «Генриаде» Карамзин мог противопоставить (помимо Гомера и Вергилия) Мильтона и Клопштока. Сходным образом обстояло дело с творчеством Вольтера в других поэтических жанрах. По мнению русского писателя, вершина современной (или точнее — новой) поэзии — Юнг, Томсон, Геснер. Вольтер же привлекает его, как Муравьева, «легким стихотворством» (так, собирая материал для «Московского журнала», он всячески советовал И. И. Дмитриеву заняться переводом «одной из лучших Вольтеровых сказок „Les trois manières“») ⁷⁸ и в особенности философской лирикой, о чем свидетельствует его перевод «Извлечения из Экклезиаста» (1796).

В творческой практике Карамзина это был довольно редкий случай: если он и переводил поэзию, то выбор свой останавливал, как правило, на стихотворениях и фрагментах сравнительно небольшого размера, предпочитая французским авторам немецких и английских.⁷⁹ В основе его обращения к большому стихотворению — почти поэме — Вольтера была глубокая созвучность произведения его умонастроению тех лет. Разочарованность, неприязнь к политике и государственным делам, сомнение в пости-

⁷⁷ Моск. журн., 1791, ч. 2, с. 207—208. — См.: Виноградов В. В. Проблемы стилистики перевода в поэтике Карамзина. — В кн.: Русско-европейские литературные связи. М.—Л., 1966, с. 407—408.

⁷⁸ Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866, с. 21, 30. — Пожелание Карамзина выполнено не было. Вместо этого вскоре Дмитриев обратился к другой вольтеровской сказке — «La Béguenue», — но не перевел ее, а переложил, склонив на русские нравы. Вольтеру он следовал лишь приблизительно и как бы с ним соревнуясь (Дмитриев И. И. И мои безделки. М., 1795, с. 55—85; в дальнейшем текст подвергся некоторой переработке). Во всяком случае, мысль о соревновании Дмитриева с Вольтером присутствовала почти во всех критических отзывах о «Причуднице». «В сей сказке, — писал в связи с выходом третьего издания сочинений Дмитриева А. Ф. Воейков, — г. Дмитриев одержал знаменитую победу над Вольтером. Можно сказать, что французы, несмотря на множество прекрасных своих сказок, едва ли противопоставят что-нибудь в сравнение с „Причудницею“ (Цветник, 1810, ч. 8, № 10, с. 125—126). В рецензии на четвертое издание В. В. Измайлов утверждал (кстати, ссылаясь на Воейкова), что Дмитриев «оставляет далеко за собою того остроумного поэта, который указал ему на вымысел басни» (Рос. музеум, 1815, ч. 1, № 3, с. 285). Наконец, откликаясь на появление шестого издания, Воейков вновь подтвердил свою старую точку зрения: «„Причудница“ есть венец Дмитриева. Он победил в ней Вольтера, а такая победа не безделица» (Новости литературы, 1824, кн. 7, № 3, с. 43). Другое обращение Дмитриева к Вольтеру — перевод надписи к статуе Амура, сделанный не позднее 1803 г. (см.: Дмитриев И. И. Полн. собр. стихотворений. Л., 1967, с. 134).

⁷⁹ См.: Гукровский Г. А. Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века, с. 250—251.

жимости истины и, как результат этого, мысль об уходе в мир частной жизни, в мир высоких этических идеалов — все то, что характеризует общественную позицию Карамзина и его душевное состояние в середине 1790-х гг.,⁸⁰ нашел он в знаменитом вольтеровском парафразе.

Правда, под пером Карамзина «*Précis de l'Ecclésiaste*» (получивший название: «Опытная Соломонова мудрость, или Мысли, выбранные из Экклезиаста») претерпел существенную трансформацию. Это был не просто перевод произведения на другой язык, но перевод французского классического произведения на «язык русского преромантизма».⁸¹ В основном следуя оригиналу, Карамзин едва ли не в каждую строфу вносил нечто новое, он как бы транспонировал вольтеровскую поэму для читателя иной страны, иной эпохи, иных литературных вкусов. Вольтер казался ему слишком рассудочным, холодным, сдержанным, его поэме недоставало чувства, привычных для конца века поэтических образов и формул. В этом направлении и «совершенствовался» вольтеровский текст. Не случайно одним из самых употребительных в нем оказался эпитет «нежный», у Вольтера отсутствующий вовсе: «я нежной страстью услаждался», «подруги нежные», «пол нежный», «он нежный ваш отец», «нежные сердца». К этому же ряду примыкают «прекрасный», «невинный», «чувствительный», «прелестный», «приятный», «прохладный» — слова столь же «сладостные» и столь же расплывчатые, обозначающие скорее оттенок эмоции, нежели конкретный признак.⁸²

Лишена конкретности и «скорбная» лексика карамзинского перевода, создающая некую мрачную атмосферу, настроение и меньше всего картину. «Оплакать», «слезы», «мрак», «гроб», «хладный гроб», «отверстая могила», «тление» — все это редко встречалось у Вольтера, но было неизменным атрибутом «ночной поэзии» и в первую очередь «Ночных раздумий» Юнга,⁸³ поэта, перед которым Карамзин, подобно многим его современникам, как известно, преклонялся.⁸⁴ Весьма характерным следом этой своеобразной «юнгизации» Вольтера явился также знаменитый стих, открывающий строфу о коловращении:

Ничто не ново под луною.⁸⁵

⁸⁰ См.: Лотман Ю. М. Эволюция мировоззрения Карамзина (1789—1803). — Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та, 1957, вып. 51, с. 136—138.

⁸¹ Тихомиров Н. С. Соч., т. 3, ч. 2. М., 1898, с. 341.

⁸² См.: Гукковский Г. А. Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века, с. 287.

⁸³ См.: Tieghem P. van. La poésie de la nuit et des tombeaux en Europe au XVIII siècle. Paris, 1924.

⁸⁴ Об этом см.: Левин Ю. Д. Английская поэзия и литература русского сентиментализма. — В кн.: От классицизма к романтизму. Из истории международных связей русской литературы. Л., 1970, с. 206—225.

⁸⁵ Аониды, или Собрание разных новых стихотворений, кн. 2. М., 1797, с. 169.

«Rien de nouveau sur la terre» в оригинале, вполне традиционное «в подсолнечной премены нет» у Хераскова, в интерпретации Карамзина мысль эта ассоциировалась с «ночной поэзией» и Оссианом. Впрочем, карамзинская формула не исчезла бесследно и тогда, когда в русской литературе утвердились иные тенденции: ее можно встретить (в несколько измененном виде) у Пушкина,⁸⁶ а также у Белинского⁸⁷ и Герцена⁸⁸ (в двух последних случаях — в качестве афоризма). Отчасти этому способствовали переиздания «Опытной Соломоновой мудрости», которой Карамзин (по-видимому, считавший произведение для себя в какой-то мере программным) открывал раздел поэзии в собраниях своих сочинений.⁸⁹ Никаких перемен в текст он не вносил, лишь отпала необходимость в «благонамеренном» примечании относительно бессмертия души, которое было помещено в «Аонидах» с целью усыпить бдительность цензуры.⁹⁰

О довольно широкой известности карамзинского перевода свидетельствуют также подражания ему, появившиеся в последующее десятилетие на страницах русской печати — в «Иппокрене» и «Лицее». Оба они несомненно восходили к Вольтеру, но воздвигшие Карамзина сказывалось во всем — в поэтической фразеологии, лексике, общем тоне.

Перевод, помещенный в «Иппокрене» (он воспроизводил лишь три первые строфы вольтеровского текста), даже назывался почти как у Карамзина: «Соломонова мудрость. Из Экклезиаста».⁹¹ Что же касается другого, хотя и очень вольного (он принадлежал перу Андрея Тейльса), то в нем было еще и несколько более или менее точных текстуальных совпадений: «я вкус свой, чувства притупил» (у Карамзина — «вкус свой притупил»), «осталась

⁸⁶ Об этом см.: Григорьева А. Д. Поэтическая фразеология конца XVIII—начала XIX века. — В кн.: Образование новой стилистики русского языка в пушкинскую эпоху. М., 1964, с. 62—64; Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг». Проблемы его изучения. Л., 1967, с. 226—229.

⁸⁷ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 10. М., 1955, с. 12.

⁸⁸ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 30, кн. 1. М., 1964, с. 97.

⁸⁹ Карамзин Н. М. Полн. собр. стихотворений. М.—Л., 1965, с. 394—395. — Другой стих «Опытной Соломоновой мудрости», тоже в качестве афоризма, см. в письме Г. П. Каменева к С. А. Москотильникову от 12 ноября 1800 г. (Бобров Е. А. Литература и просвещение в России XIX в., т. 3. Казань, 1902, с. 145). Подозревал ли Каменев, что приведенная им строка восходит к Вольтеру, сказать трудно. Вообще же с вольтеровским творчеством он был знаком, и весьма основательно (см. опись книг его библиотеки: Залкинд Г. Г. П. Каменев. Казань, 1926, с. 69, 78, 81—84).

⁹⁰ См.: Аониды, кн. 2, с. 172. — Отметим также перепечатку «Опытной Соломоновой мудрости» в сб. «Священная лира» (М., 1819, кн. 1, с. 75—82) и включение нескольких особенно знаменитых ее стихов в число почерпнутых у Карамзина «апофтегм» (Карманная библиотека Аонид. СПб., 1821, с. 42—43).

⁹¹ Иппокрена, или Утехи любословия, 1799, ч. 4, с. 31—32.

в сердце пустота», «а ты, о юноша любезный» (у Карамзина — «прелестный») и некоторые другие.⁹²

Отзвуки «Опытной Соломоновой мудрости» отчетливо слышатся также в «Путешествии в Норвегию одного молодого человека в 1801 г.» того же автора. В главе, посвященной острову Борнгольму, помимо ссылок на одноименную «готическую» повесть Карамзина, содержатся строки, представляющие собой почти дословное изложение одной из строф его перевода из Вольтера: «... что ж есть слава мира сего? Я вспомнил о славной Пальмире, сравнивал и делал ужасные заключения, слезы лились из глаз моих. Так все исчезает в сем мире, так все падает и разрушается. Сколько прешло царств и народов, сколько колоссов рука времени низвергла, сколько империй будут иметь ту же участь? О прах! о тленность подлунного! о ничтожество смертного!».⁹³ Подобно тому как «Путешествие» в целом напоминает «Письма русского путешественника», этот фрагмент всем своим строем и едва ли не каждым словом (включая, конечно, и столь характерную «тленность подлунного») возвращает нас к замечательной поэме Карамзина—Вольтера, впервые опубликованной за пятнадцать лет до того во второй книжке «Аонида».

Печатаемая в «Аонидах» свой перевод, Карамзин имени Вольтера не упомянул; не сделал он этого и впоследствии, то ли находя подобное пояснение излишним, то ли не считая себя переводчиком вообще. Можно лишь с уверенностью утверждать, что Карамзин не имел в виду таким образом обезопасить издание от цензурных преследований: предисловие к той же второй книжке «Аонид» завершалось цитатой из Вольтера;⁹⁴ назван был Вольтер и в подзаголовке помещенного там перевода его сатирической поэмы «Le Mondain».

Этим произведением Вольтер выразил свое отношение к так называемому «спору о роскоши», который волновал французское общество еще с начала 1720-х гг. и даже раньше, но особенно оживился после 1724 г., когда вышел в свет «Политический трактат о торговле» Ж.-Ф. Мелона. Отвергая традиционные утверждения философов и моралистов, осуждавших роскошь как нечто греховное и пагубное, Мелон увидел в ней необходимое (хотя и далеко не единственное) условие материального прогресса и процветания нации.⁹⁵ Вольтер горячо поддержал эту точку зрения. В своей сатирической поэме «неприглядной картине райского бытия» он противопоставил жизнь современного светского человека, христианской аскезе — эпикурейство и гедонизм. Как и для Мелона (и Мандевиля с его «Басней о пчелах»), роскошь была для

⁹² См.: Липей, 1806, ч. 4, кн. 1, с. 26—29.

⁹³ Сев. Меркурий, 1811, ч. 10, № 15, с. 25—26.

⁹⁴ См.: Аониды, кн. 2, с. XIII—XIV.

⁹⁵ См.: Labriolle-Rutherford M.-R. L'Evolution de la notion du luxe depuis Mandeville jusqu'à la Révolution. — In: Studies on Voltaire and eighteenth century, vol. 26. Genève, 1963, p. 1025—1036.

него одним из признаков цивилизации, одной из движущих ее сил. Убеждение это Вольтер сохранил навсегда: много лет спустя он с еще большей отчетливостью обнаружил его в соответствующей статье «Философского словаря», которую затем переделывал и дополнял; затронута та же тема и в «Опыте о правах», и в «Человеке с сорока эяку», причем это было не только возвращение к ранее высказанным мыслям, но и участие Вольтера в полемике, продолжавшейся в середине века на его стороне энциклопедистами, а с противоположных позиций — Жан-Жаком Руссо.⁹⁶

При всех его симпатиях к женеvскому философу, несмотря на все сомнения и разочарования в общественном прогрессе Камрамзин, конечно, сочувствовал Вольтеру: в противном случае он вряд ли поместил бы столь очевидную «апологию роскоши». Впрочем, в переводе Д. О. Баранова поэма отчасти утратила свою остроту, которая во Франции 1730-х гг. вызвала ожесточенные нападки на Вольтера, а в России конца XVIII в. могла бы вообще оказаться гибельной — если не для переводчика, то для перевода. Во всех тех случаях, когда у Вольтера современная ему цивилизация противопоставлялась примитивной естественности библейских времен, Баранов уничтожил упоминания «прародителей» Адама и Евы, придав вольтеровскому изображению «райского блаженства» некоторую неопределенность: в русском переводе речь идет о «щастливых садах», «праотцах», о «состоянии невинных природы». Изъял он и заключительные строки, где была подвергнута осмеянию «дерзновенность» ученых-теологов, попытавшихся определить точное местонахождение рая. Однако, совершив этот вынужденный шаг, Баранов в остальном отнесся к исходному тексту довольно бережно и воспроизвел его с большим умением. Единственная вольность, которую он себе позволил, заключалась в осторожном, «выборочном» склонении произведений на русские нравы. Так, вольтеровский перечень европейских столиц («soit à Paris, soit dans Londres, ou dans Rome») стал у него звучать: «В Париже, Лондоне, Москве или Мадриде»; вместо знаменитой танцовщицы Камарго появилась Катенька, и т. д.⁹⁷ Особый интерес представляет трансформация в русском переводе двустишия:

Il va siffler quelque opéra nouveau,
Ou, malgré lui, court admirer Rameau.

В 1736 г. эта фраза имела весьма злободневный смысл. 1 октября 1733 г. в Париже состоялось первое представление оперы Ж.-Ф. Рамо «Ипполит и Арисия», а 23 августа 1735 г. парижский зритель увидел его оперу-балет «Галантная Индия». Музыка обоих спектаклей поразила современников смелостью и новизной, и понадобилось немало времени для того, чтобы к ней привыкли

⁹⁶ См.: Державин К. Н. Вольтер. М.—Л., 1946, с. 159, 211.

⁹⁷ Аониды, кн. 2, с. 131, 134, 135.

и ее оценили.⁹⁸ Вольтер, который не только хорошо знал композитора, но и написал либретто его первой оперы «Самсон», запрященной к постановке из-за библейского сюжета, приветствовал новаторскую музыку Рамо и предвещал ей победу. Отзвуком этих событий и явились приведенные выше слова о «невольном» — вопреки его неприязни к новым операм — увлечении «любителя нынешнего света» музыкой Рамо.

Но говорить о новаторстве Рамо в середине 1790-х гг. было невозможно. Типичная для французской музыкальной жизни второй четверти века альтернатива «Рамо или Люлли» теперь уступила место другой, хотя в сущности и не вполне оправданной: «Рамо или Глюк».⁹⁹ Отсюда перевод этих слов у Баранова, сам по себе неверный, но очень точно отразивший смену европейских музыкальных вкусов:

Он новой оперой там едет утешаться,
Освистывать Рамо и Глюком восхищаться.¹⁰⁰

В какой-то мере это было также средством приблизить сатирическую поэму Вольтера к «российскому» читателю: в конце века и здесь великий реформатор оперного театра получил признание и немалую известность.¹⁰¹

Впоследствии Баранов вновь обратился к Вольтеру, «преложив» в стихах девятую песнь «Генриады», но перевод этот страдал тяжеловесностью, обилием славянизмов, инверсий и т. п. Недаром он был напечатан на страницах «Чтения в Беседе любителей русского слова».¹⁰² По-видимому, переводчик полагал, что к этому его обязывает эпический жанр.¹⁰³ Отзывов о переводе не сохранилось, но можно не сомневаться, что «Любитель нынешнего света» пользовался несравненно большим успехом: он распространялся в списках и, кроме того, дважды перепечатывался в антологиях русской поэзии, где без всяких изменений был приведен текст, опубликованный в «Аонидах».¹⁰⁴

Выпустив вторую книжку «Аонид» (и не оставляя надежду издать третью), Карамзин приступил к подготовке нового издания, задуманного им как «собрание переводов всякого рода для

⁹⁸ См.: Fields M. Voltaire and Rameau. — J. of Aesthetics and Art criticism, 1963, vol. 21, Summer, p. 457—465.

⁹⁹ См.: Girdlestone C. Jean-Philippe Rameau, sa vie, son oeuvre. Bruges, 1962, chap. 15; Howard P. Gluck and the birth of the modern opera. New York, 1964.

¹⁰⁰ Аонида, кн. 2, с. 135.

¹⁰¹ См.: Ливанова Т. Н. Русская музыкальная культура XVIII века в ее связях с литературой, театром и бытом, т. 2. М., 1953, с. 311, 423.

¹⁰² Чтения в Беседе любителей русского слова, чт. 14. СПб., 1815, с. 31—47.

¹⁰³ О будто бы осуществленном Барановым переводе всей поэмы (или, во всяком случае, большей ее части) см.: Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых, т. 2. СПб., 1891, с. 111.

¹⁰⁴ См.: Собр. русских стихотворений, ч. 4. М., 1811, с. 87—92; Пантеон русской поэзии, ч. 4. СПб., 1815, с. 60—66.

тех, которые не читают иностранных книг, но имеют вкус и любят чтение», и получившего наименование: «Пантеон иностранной словесности». В первом же его выпуске несколько страниц было посвящено Вольтеру: заключительная часть статьи из «Magazin encyclopédique» о посмертно опубликованном сочинении Шабанона «Tableau de quelques circonstances de ma vie» представляла собой серию анекдотов о Фернее; кроме того, один эпизод восходил к «Мыслям и анекдотам из записок Эро-Сешеля», напечатанным в том же французском журнале.¹⁰⁵

Статья о Шабаноне привлекла Карамзина прежде всего потому, что в ней шла речь о второстепенном писателе, заслужившем уважение и любовь современников главным образом своим душевным благородством. «Шабанон был не столько поэт, сколько умный, ученый и (что всего важнее) добрый человек. Он занимался искусствами для того, что любил их и посвящал им жизнь свою бескорыстно»,¹⁰⁶ — эта мысль как нельзя лучше отвечала настроениям Карамзина, разочарованного в политике и все больше склонявшегося к горацянскому идеалу.

Сообщенные самим Шабаноном и превосходно знавшим его анонимным рецензентом анекдоты о Вольтере в основном тоже касались его «нрава»: изображенный «в подробностях домашней жизни», он оказывался отнюдь не таким язвительным, неумеренно самолюбивым и вспыльчивым, как его обычно характеризовали движимые «ядовитой завистью» враги. Подтверждением этому и служили «анекдоты», в которых приводились одобрительные отзывы Вольтера о творчестве различных писателей, в том числе и таких, которые пытались состязаться с ним в сочинении трагедий (Лагарп) и, наоборот, удачно выступали в жанрах, ему недоступных (Сен-Ламбер, Делиль).

Анекдот, находившийся среди заметок видного деятеля французской революции М.-Ж. Эро-Сешеля, возбудил интерес Карамзина в иной связи. В нем затрагивался давно уже волновавший русского писателя (и его современников) эстетический вопрос: «Французская трагедия или Шекспир». «Дидрот говорил однажды с великим восторгом о Шекспире. „Как можно, — сказал ему Вольтер — как можно предпочитать Виргилию, Расину такого чудовищного, нескладного поэта? Следственно вы оставите Аполлона Бельведерского, чтобы смотреть на безобразную статую св. Христофора в соборной Парижской церкви?“. Дидрот задумался и через минуту отвечал: „Положим; но что бы вы сделали, если бы эта безобразная статуя вдруг тронулась с места и колоссальными ногами своими начала шагать по улице?“ — Вольтер замолчал, удивленный таким разительным сравнением».¹⁰⁷

¹⁰⁵ См.: *Magazin encyclopédique, ou Journal des sciences, des lettres et des arts*, t. 2, p. 118—124; t. 4, p. 489—499.

¹⁰⁶ Пантеон иностранной словесности, 1798, кн. 1, с. 140.

¹⁰⁷ Там же, с. 260—261.

Карамзин никак не комментировал рассказанный Эро-Сетелем анекдот, да в этом и не было необходимости: удивление Вольтера говорило читателю «Пантеона» значительно больше. Сомнение в абсолютном превосходстве классического искусства всеяля в их умы не русский писатель, а сам фернейский патриарх.

Вольтер продолжал интересоваться Карамзина и в 1802—1803 гг., когда он редактировал «Вестник Европы». Если судить по числу опубликованных на его страницах вольтеровских материалов, интерес русского писателя к Вольтеру в названный период даже возрос, но объяснялось это главным образом общественным подъемом начала века и сопутствовавшим ему смягчением цензурного режима. Говорить о фернейском отшельнике можно было теперь и чаще, и громче, нежели в павловское время, и несколько иначе. По мере того как Вольтер и его эпоха уходили в прошлое, все большую ценность приобретали воспоминания о нем современников — врагов и единомышленников, близких друзей и случайных посетителей Фернея, людей различных взглядов и разных поколений. Им Карамзин в основном и «предоставил слово» в своем журнале, широко используя для этой цели французские периодические издания и книжные новинки.¹⁰⁸

Об отношении Карамзина к Вольтеру в последующие годы сказать что-либо определенное трудно. Во всяком случае, два-три мимолетных упоминания в письмах не дают для этого никаких оснований. Примечательно, однако, что «остроумие Вольтерово» фигурирует в предисловии к «Истории государства Российского», которой Карамзин посвятил всю вторую половину своей жизни.

Итак, ни эволюция русской литературы от классицизма к романтизму, ни антипросветительское движение, ни политическая ситуация в России в конце XVIII в. не погасили интерес читающей публики к творчеству и личности Вольтера. Но охлаждение к нему в различных общественных и литературных кругах и выдвигание на первый план других иностранных мыслителей и поэтов, отчасти заслонивших его в русском сознании, — несомненно. Имя его и наследие вызывают ожесточенные споры, переводят его на русский язык неохотно, ценят в основном как поэта и автора «Заиры». Сохраняется такое положение вплоть до 1801 г., когда в связи с общими переменами начинается новый период и в истории «русского Вольтера».

II

«Дней Александровых прекрасное начало» явилось и началом возрождения в России широкого интереса к Вольтеру. Ожидание социальных и политических реформ в духе просветительских

¹⁰⁸ См.: Вестн. Европы, 1802, ч. 1, № 1, с. 6, 43—44; № 3, с. 10—11, 29—33; ч. 2, № 6, с. 132—133; № 7, с. 237—240, 242—245; ч. 4, № 14, с. 122; 1803, ч. 8, № 6, с. 210; ч. 9, № 11, с. 187—189, 204; ч. 10, № 15, с. 161, 173; ч. 11, № 17, с. 116.

идей (отчасти основанное на либеральных заверениях нового императора, обещавшего править «по законам и по сердцу» своей «августейшей бабки») оживило былые симпатии к фернейскому патриарху, причем симпатии эти не исчезли и тогда, когда избыточность надежд на преобразование русского общества сделалась совершенно очевидной.

Своеобразие этого нового обращения к Вольтеру было в значительной мере обусловлено деятельностью переводчиков и издателей (а также театральной практикой) екатерининских времен. «Вольтеристы» 1800-х гг. (по крайней мере на первых порах) стремились не вообще переводить и издавать творения своего кумира, но по возможности вводить в читательский обиход ту часть его обширного наследия, которая в силу различных причин оставалась для русских людей малодоступной или недоступной вовсе. Так, например, обстояло дело с его перепиской.

Появление в 1784 г. 67-го тома «Кельского издания», заключающего в себе переписку Вольтера с Екатериной II, вызвало, как известно, крайнее раздражение российской императрицы, которая, по собственному признанию, боялась публикации своих писем, «как огня».¹⁰⁹ Тем не менее корреспонденция эта получила широкое распространение. Дошла она и до русских подписчиков, и вскоре Екатерине через посредство своего статс-секретаря А. В. Храповицкого пришлось уже опровергать «безрассудный толк известной переписки, которой одной злобой наполненное сердце может дать кривое толкование».¹¹⁰

Единственное, что Екатерина могла теперь сделать, — это преградить Кельскому изданию доступ к русскому читателю, не владевшему французским языком.¹¹¹ Правда, и это ей удалось лишь отчасти, но столь смущавший ее покой 67-й том все же оставался под запретом до конца ее правления. Не произошло в этом отношении перемен и при Павле I, который равно ненавидел и свою августейшую матушку, и фернейского патриарха. Только после 1801 г. переписка Вольтера с Екатериной наконец увидела свет в трех разных переводах.

Самый ранний из этих переводов принадлежал перу М. И. Антоновского, воспитанника Московского университета, состоявшего внештатным библиотекарем петербургской Публичной библиотеки.¹¹² Книгу эту он перевел еще в павловское время, когда,

¹⁰⁹ См.: Сборник имп. Русского исторического общества, т. 23. СПб., 1878, с. 104, 110, 112—113, 119, 436, 438; т. 44. СПб., 1885, с. 363.

¹¹⁰ Речь шла об «извете» протоиерея московского Архангельского собора П. Алексеява в письме его к А. В. Храповицкому от 3 сент. 1789 г. См.: Рус. архив, 1882, кн. 2, № 3, с. 73; см. также: Лихоткин Г. А. Оклеветанный Коловзвон. Л., 1972, с. 19—20.

¹¹¹ Дневник А. В. Храповицкого. М., 1901, с. 379. — См. также: ЦГИА, ф. 396, оп. 70, № 353.

¹¹² Переписка российской императрицы Екатерины Второй с г. Вольтером с 1763 по 1778 год. СПб., 1802. — Об этом издании см.: Письма к Вольтеру

«будучи без службы и без жалования», трудился «для книгопродавцев и печатальщиков книг из самой бедной платы для избежания голодной смерти», но, естественно, издать ее в то время не смог.¹¹³ Вскоре переписка Вольтера с Екатериной II вышла в переводе И. И. Мартынова, сначала в Петербурге, а некоторое время спустя и в Москве — «с дозволения СПб. цензуры».¹¹⁴ В следующем, 1803 г. свой перевод опубликовал И. А. Фабиан, как и Антоновский — питомец Московского университета, преподававший там немецкий язык.¹¹⁵

Все эти переводы восходили к названному тому «Oeuvres complètes de Voltaire», в них было по 153 письма и даже текст примечаний почти совпадал, но каждому переводу и каждому изданию были присущи свои особенности. Так, Антоновский добавил к пятнадцати примечаниям два новых — выписанных из «французского Ладвокатова словаря» (т. е. «Dictionnaire historique portatif»). К московскому изданию 1802 г. были «присовокуплены» послание Вольтера к Екатерине II (в старом переводе Богдановича), стихотворение «О храме дружбы», впервые опубликованное в 1772 г. (это поэтическое приложение было помещено также в московском издании 1803 г.), и ряд библиографических материалов. Однако тщательностью обработки это издание несколько уступало аналогичному петербургскому, по-видимому готовившемуся под непосредственным наблюдением переводчика. В особенности свидетельствует об этом перевод стихотворных фрагментов, содержавшихся во многих вольтеровских письмах. Вообще же передача стихов удалась Мартынову несравненно больше, чем его «совместникам». Антоновский и Фабиан переводили их почти прозой — и притом чрезвычайно неуклюжей.

Впрочем, современники едва ли обращали на это внимание. Во вновь напечатанных письмах было заключено такое множество интереснейших исторических фактов, подробностей политического характера, сведений о Вольтере и Екатерине, что погреш-

теру. Публикация, вводные статьи и примеч. В. С. Люблинского. Л., 1970, с. 239—248.

¹¹³ Жизнеописание Михаила Антоновского. — ПД, ф. 405, № 1, л. 14; ср.: Рус. архив, 1885, кн. 1, № 2, с. 161.

¹¹⁴ Философическая и политическая переписка императрицы Екатерины II с г. Волтером с 1763 по 1778 год. СПб., 1802; Философическая и политическая переписка императрицы Екатерины Втория с г. Волтером, продолжавшаяся с 1763 по 1778 год. М., 1802. — О принадлежности перевода Мартынову см.: Кашпирев В. В. Памятники новой русской истории, т. 2. СПб., 1872, с. 97. — Там же (с. 82) указание на перевод Мартыновым «Опыта об эпической поэзии» и «Философских писем». В этой связи см.: Теплова В. А. Общественно-политические взгляды и литературно-публицистическая деятельность И. И. Мартынова. — В кн.: Освободительное движение в России, вып. 2. Саратов, 1971, с. 69.

¹¹⁵ Переписка российской императрицы Екатерины II и господина Вольтера, продолжавшаяся с 1763 по 1778 год. М., 1803.

ности перевода, конечно, отступали на второй план. С другой стороны, издание переписки российской императрицы с поэтом и философом могло иметь тогда и некий дополнительный смысл: русскому читателю тем самым как бы внушалась мысль о необходимости и благотворности «просвещенного правления». Монарх, внимающий голосу мудреца, — в этом заключались и осуждение произвола, царившего в стране при Павле I, и сочувствие недавним общественным переменам, и рекомендация новому императору следовать по избранному им пути.

Показательно, что почти тогда же, характеризуя в назидание современникам (и потомкам) политическую и государственную деятельность и личность Екатерины II, Карамзин не только обратил внимание на ее переписку с французскими просветителями, и прежде всего с Вольтером, который «жалел, что старость не позволяла ему видеть северную владычицу сердец», но и поставил ей это в заслугу: «Сколь трогательно такое снисхождение в монархине!». Более того, он вообще сомневался в том, что монарх «унижается», когда «он сходит иногда с высокого трона, становится наряду с людьми и, будучи любимцем судьбы, платит дань уважения любимцам природы, отличным дарованиям». «Власть разума не может ли еще служить некоторою опорой для политической власти?» — спрашивал он и отвечал с решительностью: «По крайней мере она может быть ее орудием во всем, кто касается до блага человечества».¹¹⁶

Сообщая о почтительном отношении «великой Екатерины» к «гению фернейскому» (равно как и Петра I к Лейбницу), Карамзин несомненно высказывал одну из сокровенных своих мыслей. Друг и советчик монарха — так он представлял себе назначение поэта и философа. Но был в этих его раздумьях и некий полемический оттенок: по-видимому, в то время существовала и прямо противоположная точка зрения. Косвенным подтверждением этому может служить любопытная запись в дневнике последнего статс-секретаря Екатерины II А. М. Грибовского. Перебирая в памяти «дела давно минувших дней», он записал 22 августа 1827 г.: «Переписка Екатерины II с Вольтером. Екатерина, пленяясь умом сего славного писателя, вошла с ним в переписку, которая продолжалась с 1762 до 1777 г. включительно. Переписка сия доказывает чрезмерное монархини славолубие. Она хотела через Вольтера, который был оракулом своего века, прослыть в Европе необыкновенным гением».

Грибовский осуждал Екатерину за чересчур вольные слова о религии — хотя и вызванные «кошунствами» Вольтера и вообще «модой» той эпохи, но тем не менее глубоко возмутитель-

¹¹⁶ Карамзин Н. М. Историческое похвальное слово Екатерине Второй. М., 1802, с. 158—160. — Ср. характеристику этой переписки в «Московских ведомостях» (1802, 3 мая, № 36).

ные, ибо «это, конечно, весьма много послужило к распространению повсюду неверия и к потрясению престолов и алтарей».¹¹⁷ Но, быть может, еще больше возмущал его самый факт «короткой и дружеской переписки» самодержицы всероссийской с «частным человеком, который был только славный писатель». Не отрицая, что Вольтер был «чрезвычайным гением», «поборником и проповедником истины», «гонителем и поразителем заблуждения и суеверия», он все же не мог простить боготворимой им императрице такое «неслыханное» унижение ее «высокого звания», т. е. утверждал как раз то, что столь решительно отрицал Карамзин.

Однако если подобные суждения и имели место в начале 1800-х гг., то на издательской практике тех лет они почти не отразились. В 1811 г. десять писем из переписки Вольтера с Екатериной II были в новом переводе включены в пятое издание распространенного русского письмовника — в ряду других «примерных» писем «разных великих особ»;¹¹⁸ в следующем году полностью был переиздан перевод Фабиана, а за несколько лет до того появилась в свет вольтеровская переписка с другой «коронованной особой» — Фридрихом II, или, как его называли тогда в России, Фридрихом Великим. Впрочем, «унижение» прусского короля должно было тревожить единомышленников Грибовского несравненно меньше, нежели «ласкательная, а особливо нескромная насчет религии» переписка с Екатериной.

Переводчику переписки Вольтера с Фридрихом, воспитаннику московской Духовной академии (в 1805 г. поступившему на службу в Синод) И. И. Ястребцову, не терпелось увидеть свой труд в печати: несколько отрывков из него было опубликовано — «к удовольствию умных ценителей талантов» — на протяжении 1805—1806 гг. в московских журналах «Новости русской литературы» и «Минерва».¹¹⁹ Полностью же перевод Ястребцова появился в 1807 г.¹²⁰

Правда, и он включал лишь 204 из 438 помещенных в Кельском издании писем. Тем самым картина отношений «сих знаменитых мужей своего времени», «сих двух великих гениев» в известной мере искажалась: из нее было исключено множество примечательных сведений и фактов. За пределами русского перевода осталось и большинство стихотворных фрагментов, принадле-

¹¹⁷ Рус. архив, 1899, кн. 1, № 1, с. 75—76.

¹¹⁸ Всеобщий секретарь, или Новый и полный письмовник. СПб., 1811, ч. 2, № 40—49. — Показательно, что в «Новом и полном письмовнике» П. И. Богдановича (СПб., 1792) Вольтер был представлен всего одним письмом к г-же Дюбарри (№ 112).

¹¹⁹ Новости рус. лит., 1805, ч. 13, № 20, с. 311—318; № 21, с. 231—334; Минерва, 1806, ч. 1, № 6, с. 81—98; ч. 4, № 2—4, с. 18—54; 1807, ч. 5, № 26, с. 129—143; № 30, с. 193—224.

¹²⁰ Переписка Фридриха Великого, короля Прусского, с господином Вольтером, с 1736 по 1778 год. М., 1807.

жавших перу Вольтера, а также и Фридриха, который пытался следовать эпистолярной манере своего корреспондента, причем в ряде случаев этим объясняется исчезновение из сборника важных по содержанию писем. Когда же опустить письмо было нежелательно, Ястрембов или переводил его поэтическую часть на редкость корявым стихом, или, движимый угрызениями совести, передавал прозой. В свое оправдание он в примечании к девятнадцатому письму второго тома привел слова Фридриха (из письма от 8 августа 1736 г.): «Чтобы подражать Вольтеру... надлежит родиться Вольтером».

В 1816 г. переписка Вольтера с Фридрихом II вышла (в несколько улучшенном виде) вторично, и этим первоначальная публикация на русском языке переписки «некоронованного властелина Европы» с его «коронованными друзьями» в основном завершилась. Однако в начале XIX в. была сделана попытка познакомить русских читателей и с другими аспектами вольтеровского эпистолярного творчества: в 1805 г. появилась первая часть переписки с Даламбером, а два года спустя — серия писем к «знаменитым российским вельможам».

Сообщая о предстоявшем издании «Переписки г. Вольтера с г. д'Аламбертом», «Московский курьер» называл издание четырехтомным, а перевод приписывал А. А. Палицыну.¹²¹ И то и другое было неверно. Автором перевода являлся А. И. Подлисецкий, и свет увидел лишь первый его выпуск, соответствовавший первой половине 68-го тома по Кельскому изданию и заключающий в себе 112 писем, тогда как всего их насчитывалось около 500. Находились в нем лишь письма 1746—1762 гг., но и этот не завершенный изданием (и весьма посредственно переведенный) эпистолярный цикл для русских людей представлял немалый интерес. Он воскрешал в их памяти замечательную деятельность во имя успехов просвещения «двух славных философов» минувшего века, причем невозможно было не почувствовать большую (в отличие, например, от переписки с Екатериной II) искренность и, следовательно, достоверность помещенных здесь писем: в них почти не было ни дипломатических умолчаний, ни галантных комплиментов, ни самоуничижительных формул, ни льстивых заверений, ни лицемерных похвал. В этом отношении переписка с Даламбером выгодно отличалась и от напечатанных несколько позднее писем Вольтера к его высокопоставленным русским корреспондентам.

Речь идет о небольшой подборке писем фернейского отшельника, приложенных к русскому переводу его воспоминаний (так называемых «*Mémoires de Voltaire écrits par lui-même*»). Воспоминания эти были в основном посвящены «берлинскому эпизоду» жизни Вольтера, т. е. тому кульминационному и вместе с тем

¹²¹ См.: Моск. курьер, 1805, ч. 2, № 42, с. 253.

кризисному периоду в его отношениях с Фридрихом II, который, естественно, не получил отражения в их переписке.¹²²

Как известно, столь восхищавшее Вольтера на первых порах пребывание при прусском дворе, где он надеялся обрести наконец тихую пристань «после тридцати лет бурь», уже очень скоро сделалось для него «адом», из которого он не замедлил вырваться, навсегда потеряв охоту «соватья в дела королей». Обосновавшись в Фернее, Вольтер поспешил воссоздать эти события, но опубликовать свои воспоминания не решился: они появились лишь четверть века спустя, в 1784 г. — после его смерти, но еще при жизни Соломона Севера, убийственная характеристика которого была в них заключена.

Немыслимое в царствование Павла, с юных лет преклонявшегося перед авторитетом прусского короля, издание вольтеровских воспоминаний было несколько рискованным и после 1801 г.: изображение в столь мрачных тонах одного из могущественнейших европейских монархов не могло и теперь вызвать восторга в официальных кругах. По крайней мере, два особенно рискованных места переводчик — статский советник и кавалер Н. Е. Левицкий — принужден был изъять «по причине некоторых непозволненных выражений». Старый «вольтерист» (недаром он посвятил свой «малый труд» всем «любящим читать» творения фернейского патриарха), Левицкий понимал, что в противном случае «Исторические записки» едва ли увидят свет.

«Присовокупленные» к воспоминаниям письма ни по происхождению, ни по содержанию к «берлинскому эпизоду» отношения не имели: все они были адресованы русским знакомым Вольтера и касались самых разных впечатлений и дел. В письме к Сумарокову (это было все то же единственное письмо от 26 февраля 1769 г.)¹²³ говорилось о литературе; в письмах к гр. А. Р. Воронцову, русскому посланнику в Гааге, к кн. Д. А. Голицыну, состоявшему при русском посольстве в Париже, а затем бывшему послом в Гааге, — главным образом о политике; к гр. А. П. Шувалову — о его французских стихах. Основной же раздел — тридцать одно письмо 1757—1762 гг. к И. И. Шувалову (которого вслед за «Кельским изданием» Левицкий отождествлял с его двоюродным племянником и потому именовал тоже графом) — был почти сплошь посвящен «Истории Российской империи при Петре Великом», создававшейся при его неустанной поддержке. По этим письмам можно было в общих чер-

¹²² Исторические записки о достопамятных и важнейших происшествиях, касающихся до жизни г. Вольтера, писанные им самим, с присовокуплением писем его к некоторым знаменитым российским вельможам, ч. 1—2. М., 1807. — В переиздании 1808 г. вторая часть озаглавлена: Письма г. Вольтера к графу Шувалову и некоторым другим российским вельможам. 1757—1773.

¹²³ В 1807 г. был напечатан и другой перевод этого письма: Весенний цветок, кн. 2, с. 76—81.

тах проследить весь ход работы Вольтера над «Историей», — возникновение и формирование замысла, поиски материалов, изучение источников, уточнение сомнительных и неясных мест, устранение противоречий, ответ на критику, размышления об историческом жанре и т. п.

Вместе с тем «шуваловский цикл»¹²⁴ (наряду с «перечнем письма от Вольтера к г-ну Далиону, находившемуся в С.-Петербурге, в качестве министра от французского двора»)¹²⁵ как бы предвещал появление на русском языке самой «Истории» и вообще способствовал интересу русских людей к вольтеровским историографическим трудам.

В 1803—1804 гг. на русском языке появилась «История Карла XII», долгое время находившаяся из-за «сомнительного» содержания под цензурным запретом.¹²⁶ Правда, анонимному переводчику книги все же пришлось пойти на компромисс, несколько смягчив вольтеровскую характеристику Петра, которого он, кстати, называл «Великим» и в тех случаях, когда у Вольтера стояло всего лишь «*Pierre Alexiowits*». С глубоким сочувствием повествуя о реформаторской деятельности русского царя, которого он противопоставлял завоевателю и деспоту Карлу, пришедшему Швецию на грань катастрофы, Вольтер тем не менее оставался чужд какой бы то ни было идеализации Петра: «основатель России», казалось ему, не обладал «главным достоинством», необходимым тому, кто поставил себе целью «переделывать людей», — человечностью: «он приобщил народ к цивилизации, а сам оставался дикарем». Не забыл Вольтер и об убийстве царевича Алексея, которого, по его мнению, следовало или же наказать, или лишить права на престол. В русском переводе весь этот фрагмент отсутствовал, равно как и весьма ироническое замечание о петровском манифесте, изданном в связи с началом военных действий против Швеции (хотя ирония Вольтера в значительной степени объяснялась незнанием фактов). Пожертвовал переводчик и некоторыми подробностями биографии Екатерины I, «бросавшими тень» на ее происхождение («*cette esclave étrangère*» превратилась у него в «эту иностранку») и жизнь до встречи с Петром (воспитание из милости, пребывание в доме пастора Глюка, замужество с шведским драгуном, взятие в плен, «покровительство» Шереметева и Меншикова). Иного пути у него

¹²⁴ Еще 19 писем к И. И. Шувалову были напечатаны в 1810 г. в сборнике «*Lettres inédites de Voltaire*», но в русском переводе они тогда не появились. О них лишь сообщил «Благонамеренный» (1818, ч. 4, № 10, с. 93), ошибочно указав, что там «находится вся переписка Вольтера с графом Шуваловым».

¹²⁵ Вестн. Европы, 1807, ч. 33, № 6, с. 197—201. — В 1839 г. старанием С. Д. Полторацкого письмо было напечатано, со ссылкой на «московский журнал», отдельным изданием.

¹²⁶ История Карла XII, короля шведского. Творение господина Вольтера. М., 1803—1804.

не было. Следует удивляться лишь, что подобных купюр в русском тексте оказалось не так уж много.¹²⁷

Подобное смягчение французского текста могло быть вызвано не только осторожностью переводчика, но и его несогласием с Вольтером, суждения которого о русской истории оспаривались в то время вообще довольно часто. Так, в 1806 г. «Вестник Европы» поместил статью (переведенную из «иностранного журнала») о И.-Р. Паткуле, лифляндском политическом деятеле, казненном шведами в 1707 г. Пересказывая посвященную Паткулю книгу пастора Бергманна, автор статьи (которая так и называлась — «Паткуль перед судом потомства») особо — и не без удовлетворения — отмечал стремление Бергманна опровергнуть Вольтера, — разумеется, «вооружая фактами» и при соблюдении «должного уважения» к «сему знаменитому писателю».¹²⁸

Почти одновременно в полемику с Вольтером вступил журнал «Минерва», подвергший сомнению — в некоторых ее деталях — приведенную на его страницах сравнительную характеристику Петра I и Карла XII, заимствованную из «Века Людовика XIV» (гл. 17). Возражения эти принадлежали издателю журнала (и переводчику указанного фрагмента) П. В. Победоносцеву.¹²⁹ Раздражение против Вольтера, однако, не помешало ему напечатать в той же части журнала перевод двух диалогов из «Философского словаря»,¹³⁰ а также отрывок «Истории Российской империи при Петре Великом» (на сей раз восторженный дифирамб Петру — воину, законодателю и человеку), предваривший на целые три года первое издание этого знаменитого труда на русском языке.¹³¹

К началу XIX столетия «История Российской империи при Петре Великом» получила весьма широкую известность: многократно переизданная в подлиннике, она, кроме того, была переведена на ряд иностранных языков и сыграла важную роль в осмыслении на Западе русского исторического процесса, во многом обусловив отношение европейской историографии к Петру и его эпохе. В России же книга с самого начала была встречена без особого восторга. Даже Екатерина II в одном из писем дала понять своему «учителю», что хотела бы видеть историографический труд о России несколько иным.¹³² Между тем — в значительной

¹²⁷ Появившиеся в 1820 и 1821 гг. в Орле переиздания «Истории Карла XII» мало чем отличались от исходного. Можно лишь указать на введение подзаголовков, которые в еще большей степени придавали книге «романический» вид.

¹²⁸ Вестн. Европы, 1806, ч. 30, № 21, с. 3—24.

¹²⁹ Минерва, 1806, ч. 1, № 3, с. 35—36.

¹³⁰ Там же, № 2, с. 17—25.

¹³¹ Там же, № 1, с. 7—10. — В 1819 г. Победоносцев перепечатал этот фрагмент с незначительными изменениями в «Новом Пантеоне», составленном, как сам он сообщал в предисловии, в основном из его старых переводов и статей (Новый Пантеон отечественной и иностранной словесности, ч. 1. М., 1819, с. 55—58).

¹³² Voltaire's Correspondence, vol. 53, № 10597.

степени вопреки истине — складывалась легенда об официальном характере «Истории Петра», будто бы написанной по заказу русского двора.

Как очевидную неудачу «старца фернейского» рассматривал этот его труд Я. А. Галинковский, составитель «Корифея»: ¹³³ «Волтер написал историю о России при Петре Великом, и в первый раз, может быть, сей избалованный любимец века, которого он избаловал, бросил с досадою перо свое над сим недоконченным эскизом картины: малым для такого пространного ума, слабым для таких сильных дарований, необработанным для такого искусства! — Панегирист Карла XII не мог быть другом Петру Великому». Он не прощал французскому писателю «худой выбор исторических происшествий, перепутанность дел, не упомянутые многие любопытные известия двора нашего», а также «неисправность орфографии, перепорченные имена городов и фамилий наших». Правда, Галинковский сомневался в том, чтобы «одна корысть двигала столь любочестивое сердце». Но окончательный его вывод был не в пользу «сего великого человека». Его знаменитой книге Галинковский предпочитал даже соответствующую часть «Истории» Левека, которая, по его мнению, была «полнее и достовернее Волтеровой». «Сей историк, — полагал он, — стоил бы того, чтоб потрудиться кому-нибудь из хороших знатоков слога его перевести...». О переводе же «Истории Российской империи при Петре Великом» Галинковский не обмолвился ни словом, хотя и знал, что она остается недоступной людям, владеющим только русским языком. ¹³⁴

Русский перевод этого труда появился лишь в 1809 г. Теперь это была уже история в точном смысле слова; в ней многое потускнело и перестало звучать; но бесстрастный, спокойный перевод вольтеровского текста все же оказался невозможным: речь шла не о римском цезаре или французском короле, но о «бесмертном предке» Александра I, «благополучно здравствовавшего императора», которому, кстати, и был «приписан» перевод. ¹³⁵

«Деяния великих государей, разделенных веками, — утверждал в посвящении С. А. Смирнов (впоследствии профессор Московского университета), — сливаются вместе по отдаленным своим следствиям... Прошедшее становится настоящим». Естественно, что такая позиция обязывала переводчика по возможности «соблюдать приличия»: подобно другим «щастливым россам», он, видимо, слегка опасался «неусыпных попечений» «кроткого государя своего», хотя и говорил о них в сервильно-благоговейных тонах.

¹³³ См. о нем: Лотман Ю. М. Писатель, критик и переводчик Я. А. Галинковский. — В кн.: XVIII век, сб. 4. М.—Л., 1959, с. 230—256.

¹³⁴ Корифей, или Ключ литературы, ч. 1, кн. 1. СПб., 1802, с. 129—135.

¹³⁵ История Российской империи в царствование Петра Великого, сочиненная г-м Волтером. М., 1809.

В силу этих соображений Смирнов изъяснял из текста «Истории» ряд мест, заключавших в себе прямую или косвенную критику Петра. Так, из описания расправы с восставшими в 1698 г. стрельцами (в целом Вольтером оправданной) исчезли некоторые особенно мрачные подробности. Большинство же существенных купюр приходилось на главу, посвященную процессу Алексея Петровича. Судьба царевича неизменно волновала современников Вольтера, которые пытались разобраться в этой трагической истории с помощью всякого рода воспоминаний и подлинных свидетельств. Вольтер произвел тщательную ревизию всех этих фактов и дал им новое освещение. Но хотя вывод, к которому он пришел (не без воздействия Шувалова), звучал оправданием Петру (он полагал, что тот был «в большей степени монарх, нежели отец»), перевести эту главу полностью Смирнов не решился. Он опустил замечание Вольтера о непоследовательности Петра, то угрожавшего сыну, то клявшегося ему в любви. Не воспроизвел он и фрагмент, в котором судьба Алексея сопоставлялась с судьбой Дон-Карлоса, осужденного на смерть отцом, испанским королем Филиппом II, — при том, что Вольтер категорически отрицал их сходство. Опасениями цензурных придирок была обусловлена еще одна купюра, хотя на сей раз речь шла не о Петре, а о его далеком предшественнике — киевском князе Владимире. «Сын наложницы, убивший родного брата в борьбе за власть», — эти подробности мало соответствовали образу крестителя Руси и святого.

Прочие исправления не имели столь отчетливого идеологического и цензурного характера, они касались отдельных деталей, которые или уточнялись на основе новейших данных, или оспаривались, или отвергались. Как и многие его собратья по перу, переводчик шел на явные уступки, дабы вольтеровский (и его собственный) труд увидел свет. Но, достигнув цели, он едва ли был вполне удовлетворен: пробел в освоении вольтеровского наследия был восполнен с огромным опозданием, что не могло не сказаться на восприятии книги и ее оценках в русской печати.

Так, рецензируя первый том русского издания «Истории Петра», М. Т. Каченовский не столько характеризовал его, сколько ругал. «Надобно быть слепым и закоренелым почитателем Вольтера, чтобы пленяться сведениями его отечественной нашей истории», — писал он, иллюстрируя свою мысль множеством примеров. Ни малейшего понимания условий, в которых создавалась «История Петра», и стоявших перед Вольтером общественных и политических задач Каченовский не проявил, он утверждал, что «созданный Вольтером памятник скоро начал валиться», т. е. отрицал его значение для современников и соотечественников фернейского патриарха, и заключал статью безжалостным приговором: «Вообще книга сия написана весьма неверно».¹³⁶

¹³⁶ Вестн. Европы, 1809, ч. 48, № 21, с. 62—63, 68.

В отличие от «Истории Петра», выпедшие в том же 1809 г. в Москве два других историографических труда Вольтера — «Век Людовика XIV» и «Обзор века Людовика XV» — не вызвали откликов в русской печати.¹³⁷ Но о критическом к ним отношении — по крайней мере в определенных кругах русского общества — можно все же судить по примечаниям, которыми был щедро снабжен каждый из четырех составлявших издание томов.

Большинство этих примечаний принадлежало переводчику, известному в свое время литератору А. Ф. Воейкову, который таким образом выступал в двойной роли друга и врага. Избирая подобный метод, Воейков получал возможность исправлять Вольтера и полемизировать с ним без вторжения в вольтеровский текст (хотя делал и это в отдельных случаях, как например при переводе характеристики Петра III). Впрочем, отделить поправки и дополнения от антивольтеровских выпадов у Воейкова почти невозможно. Чаще всего он и уточняет иронизируя, удивляясь или негодуя, пользуясь любым предлогом, чтобы оскорбить или опорочить Вольтера. Так, обвинение в склонности к «предметам развратительным», брошенное мимоходом Жан-Батисту Руссо, побудило Воейкова разразиться обвинительной речью против самого Вольтера — автора «Pucelle d'Orléans».¹³⁸ Замечание фернейского патриарха по поводу того, что у французов XVII в. существовало довольно смутное представление о Московском государстве, Воейков сопроводил ремаркой: «Из этих слов видно, что и сам Вольтер-историк знал о России не лучше своих соотечественников». Другое же замечание — о «варварском» обычае заменять французские названия латинскими — явилось для него поводом «припомнить» Вольтеру сознательное искажение «славных имен сподвижников Петровых» в «Истории Российской империи». «Мы можем в свою очередь спросить, — восклицал Воейков, — почему Меншикую, Шереметью нравились ему лучше Меншикова, Шереметева?».¹³⁹

Вообще опровержение высказываний Вольтера о России и русских занимает важное место в примечаниях к книге. Воейков отвергает утверждения Вольтера о том, что в XVII в. русские нападали на Польшу, что Московия пребывала тогда в глубоком невежестве и не получила международного признания, что Петр I был завоевателем чужих земель и убийцей собственного сына. Конечно, кое в чем переводчик был прав. Он лучше знал русскую историю и во всяком случае не затруднялся в произношении и написании русских имен. Искажение отечественной

¹³⁷ Краткий отзыв о первом из этих трудов (прочитанном в оригинале) см. в письме Д. В. Дашкова к Н. Ф. Грамматину от 23 июля 1805 г., где «Век Людовика XIV» назван «одним из лучших Вольтеровых исторических сочинений» (Библиогр. зап., 1859, т. 2, № 9, с. 258).

¹³⁸ История царствования Людовика XIV и Людовика XV, королей французских... Сочинение г. Вольтера, ч. 4. М., 1809, с. 404.

¹³⁹ Там же, ч. 3, с. 48; ч. 4, с. 420.

истории оскорбляло его патриотическое чувство. Однако при этом он не исправлял, он боролся, ибо Вольтер был для него не просто недостоверным или устарелым историком, но воплощением свободомыслия, в конце концов приведшего Францию к «ужасной катастрофе».

Именно этим было вызвано несколько особенно выразительных его реплик. В связи с упоминанием у Вольтера так называемых «баррикад», т. е. парижских событий 26—27 августа 1648 г., он разъяснил исторический смысл слова, а затем добавил, что оно непереводимо, равно как гильотина и нояды, и «так же для нас непонятно, как республиканские свадьбы» (речь шла о массовых политических расправах, осуществленных Ж.-Б. Каррье в 1793 г. в Нанте).¹⁴⁰ К словам Вольтера о печальной судьбе династии Стюартов, свергнутой в 1688 г. с английского престола, Воейков сделал примечание, представлявшее собой решительное осуждение цареубийства: «Вольтер не почувствовал, что дом Иакова II можно будет назвать счастливым в сравнении с домом Бурбонов. Англичане свергли с престола короля, но не ругались бедною его супругою, не терзали несчастного младенца его в такие лета, когда и самое имя преступления не могло быть ему известно. Беспримерное в истории злодеяние должно было совершиться в конце века мудрости, в просвещеннейшем государстве и в царствование разума».¹⁴¹ Лаконичную ремарку Воейков использовал для очередного проклятия Французской революции («Кажется, здесь Вольтер пророчествует о французском перевороте. Пророчество его сбылось, и миллионы мучеников запечатали его своею кровью»),¹⁴² и т. п.

Этой «истерзанной анархией» и «внутренними распрями» Франции Воейков навязчиво противопоставлял «благоденствующую» под эгидой самодержавных властителей Россию. Он утверждал, что русские государи никогда не обманывали подданных «ложными ласками» и «не имеют нужды так поступать: решимость и прямоту доказывают прочность правления». Он говорил о преимуществе греческой церкви перед западной, римской; отечественного способа правления перед французским; восхищался филантропической деятельностью Екатерины II и вежливостью российской полиции, «созданной для граждан», между тем как во Франции граждане якобы существуют для полиции. В своем верноподданническом рвении Воейков — восемь лет спустя после убийства Павла — решил даже заявить, что в то время как «многие христианские государи умерщвлены изуверами», в России ничего подобного не случалось: «Россияне всегда умели воздавать божия богам, а кесарева кесареви».¹⁴³

¹⁴⁰ Там же, ч. 1, с. 58—59.

¹⁴¹ Там же, с. 329.

¹⁴² Там же, ч. 2, с. 397.

¹⁴³ Там же, ч. 4, с. 65.

Таков был этот перевод, перевод-расправа, последний новый перевод из Вольтера-историка, вышедший в начале века на русском языке отдельной книгой. В последующее время интерес к вольтеровскому историографическому наследию затухает, а если вдруг и вспыхивает вновь, то лишь для очередного разоблачения.

В 1811 г. «Вестник Европы» поместил на своих страницах фрагмент сочинения Мабли «О способе писать историю»,¹⁴⁴ где метод Вольтера — автора исторических трудов безоговорочно осуждался и отвергался, а несколько позднее харьковский журнал «Украинский вестник» напечатал перевод статьи «История» из Энциклопедии, сопроводив его примечаниями от издателя и переводчика, сильно напоминавшими язвительные реплики Боейкова. Особенно острую реакцию вызвало осуждающее замечание Вольтера об искажении исторических фактов: «Как люди, считающиеся даже просвещеннейшими, противоречат часто сами себе — когда просвещение их или безбожно или безнравственно! Как они осуждают себя и определяют себе наказание сами! Я припоминаю здесь „Историю Петра I“, писанную сочинителем сей статьи».¹⁴⁵

Сходную судьбу имела в России тех лет вольтеровская повесть. Необычайный интерес к ней проявившийся в начале 1800-х гг., вскоре сменился почти полным его упадком.

Цензурный гнет павловского времени исключал не только появление новых переводов «Задига», «Простодушного» или «Принцессы Вавилонской», но даже простое переиздание старых, уже разрешенных некогда к печати. Во всяком случае, о подобных переизданиях, относящихся к самому концу XVIII в., ничего не известно, да и попытки осуществить их в том или ином виде было, по всей вероятности, очень немного. С уверенностью можно указать лишь на попытку, сделанную в декабре 1800 г. И. Г. Рахманиновым.

Потерпевший полный крах в своем стремлении донести до русского читателя все обширное наследие боготворимого им Вольтера, доживавший свой век в деревенской глуши, полузабытый и больной, Рахманинов еще продолжал на что-то надеяться. Узнав о намерении И. П. Глазунова перепечатать некоторые его издания, он тотчас же охотно откликнулся на это предложение. С грустью сообщая Глазунову о невозможности возобновить собственную деятельность, ибо «ныне уже остались только одни государственные типографии, да и в цензуре другие уже положения», он заранее соглашался на переиздание любой из выпущенных им книг. Но, предоставив Глазунову право выбора, Рахманинов все же подсказал ему несколько названий. Среди них были «Утренние часы» и «Мой спальный колпак» Мерсье. Упомянут

¹⁴⁴ Вестн. Европы, 1811, ч. 57, № 11, с. 211—212.

¹⁴⁵ Укр. вестн., 1816, ч. 4, кн. 10, с. 25; кн. 12, с. 296.

был, конечно, и Вольтер: «...а может быть, с нынешним вновь пересмотрением, некоторые и Волтеровы (сочинения, — П. З.), тогда печатанные, позволят».¹⁴⁶ Реальных последствий письмо, однако, не имело. Для осуществления столь смелого по тем временам замысла обстановка оказалась в высшей степени неблагоприятной.

Произошло это лишь с изменением цензурного режима: в ноябре 1801 г. Рахманинов «заключил условие» с московскими купцами Т. Е. Акоховым и И. А. Козыревым о продаже для выпуска «вторым тиснением» изданных им в свое время сочинений, в первую очередь вольтеровских (или с Вольтером связанных), — «Политическое завещание, в одной книге, Собрание сочинений, в трех частях, Аллегорические и философические сочинения, в одной книге, Известие о болезни и исповеди, в одной книге», — а в следующем году в доверенности, выданной губерискому секретарю Н. М. Осипову, констатировал появление в свет «Волтеровых сочинений трех частей».¹⁴⁷

Речь шла о новом издании трех первых частей «Полного собрания всех донныне переведенных на российский язык и в печать изданных сочинений г. Волтера», отпечатанном в Сенатской типографии, в Москве, в 1802 г. Для Рахманинова это событие могло послужить некоторым утешением. Хотя имя подлинного издателя и переводчика нигде не называлось, труд его обрел вторую жизнь, и притом без малейших искажений, без всяких отмен и перемен: от издания 1791 г. вновь выпущенные книги отличались лишь пагинацией и шрифтом.

Таким образом, давно ощущавшаяся на книжном рынке потребность в сочинениях Вольтера, и прежде всего Вольтера-прозаика, была отчасти удовлетворена. Но только отчасти. Среди шестидесяти двух произведений и фрагментов, включенных Рахманиновым в первые выпуски его издания, не было, например, ни одной из философских повестей, получивших в России особенно большую и прочную известность. То, что Рахманинов некогда собирался сделать сам, теперь предстояло в короткий срок осуществить многим издателям и типографам. Первой такой книгой, как бы дополнявшей «Полное собрание», явился «Гурон, или Простодушный», опубликованный в том же, 1802 г.¹⁴⁸

Впрочем, и этот перевод был лишь «возобновлением» старого, принадлежавшего перу Н. Е. Левицкого (1789). Выправил ли его сам Левицкий, вновь обратившийся к переводческой деятельности после длительного перерыва, или кто-либо другой, неизвестно.

¹⁴⁶ ГПБ, ф. 188, № 10, л. 1.

¹⁴⁷ Известия Тамбовской ученой архивной комиссии, вып. 18. Тамбов, 1888, с. 87—89.

¹⁴⁸ Гурон, или Простодушный, истинная повесть, из сочинений г. Волтера. СПб., 1802.

Очевидно только, что правка была осуществлена весьма старательно и, что особенно важно, с пониманием изменений, происшедших в политической ситуации: в тексте 1789 г. имелось довольно много умолчаний и замен.¹⁴⁹

Другим важным дополнением к собранию всех вольтеровских сочинений был изданный в 1802 г. «Белый бык» — единственная повесть фернейского патриарха, все еще остававшаяся неизвестной широкому русскому читателю, хотя попытки такого рода делались и раньше.¹⁵⁰ Правда, и в 1802 г. эта остроумная повесть-памфлет ввиду ее антибиблейской направленности могла увидеть свет на русском языке лишь в сильно «очищенном» виде. Из нее исчезли Моисей, прародительница Ева, архангел Рафаил, исчезли пророки Иезекииль, Иеремия, Даниил, исчезли Иона, Товия, Иов, Ахав, Самсон, Авраам и Иаков, царь Соломон, исчезли Вооз и Руфь, исчез Навуходоносор, вместо которых появились соответственно «один глубокомысленный философ». Прокрита, Лиафар, Мердаманзар, Фаметрапассар и Амиколеф, Цетобрух, Витои, Марбон и Кридокс, Феладассар, Иронт, Барамид, Таллемад, Форa и Анамира, и, наконец, Бифеосграс. Было в русском переводе и много других замен и просто изъятий (так, не оказалось в нем Палестины, Иерусалима, «древа познания» и т. п.), но при этом в переводе остались и Эндорская волшебница, и змей, и голубь, да и превращение вавилонского царя в быка восходило к библейской легенде, заключенной в четвертой главе книги Даниила. К тому же, придумывая своим героям новые экзотические имена, переводчик и сам в ряде случаев обращался к Библии. Так, по-видимому, сконструировал он имена Мердаманзар, Фаметрапассар, Феладассар (ср. фигурирующие в Библии имена ассирийских царей: Валтассар, Теглатпалассар, Саразар, Салманазар). Пользовался он и другими приемами, например перестановкой букв (Рафаил — Лиафар) и слогов (Сихем — Хемис, Товия — Витои, Иордан — Надорио). Однако библейская основа повести с большой отчетливостью проглядывала и сквозь этот более или менее фантастический покров. Целью переводчика было скорее всего лишь «успокоить» петербургскую цензуру.

Все это плохо вяжется с обликом литератора, которому традиционно и, кажется, без достаточных оснований приписывается перевод «Белого быка», — С. Е. Родзянко.¹⁵¹ Воспитанник Бла-

¹⁴⁹ По-видимому, «Гурон» должен был составить часть сборника «Философических» и «критических» сочинений Вольтера. Об этом свидетельствует хранящаяся в ГПБ (F.XV.35) наборная рукопись повести (с цензурным разрешением от 8 июля 1801 г.); кстати, рукопись эта дает наглядное представление о трансформации первоначального текста.

¹⁵⁰ См., например, любопытный рукописный перевод 1797 г., подписанный литератами В. Е. (ГПБ, ф. 341, № 414, л. 1—29).

¹⁵¹ См.: Языков Д. Д. Вольтер в русской литературе (историко-библиографический очерк). — В кн.: Под знаменем науки. Сб. статей в честь Н. И. Стороженко. М., 1902, с. 706.

городного пансиона при Московском университете, он сформировался в атмосфере совсем иных общественно-литературных интересов и воздействий.¹⁵² В кругу его ближайших друзей к Вольтеру относились без особых симпатий. Андрей Тургенев осуждал его философию, главными чертами которой считал «дерзость, ругательства, эгоизм»,¹⁵³ другие не оставили столь же красноречивых признаний, но дальше почтительной констатации его заслуг перед французской словесностью почти никто из них не шел; ¹⁵⁴ особенно же чужд «вольтеризму» был сам Родзянко, опубликовавший на страницах пансионского сборника «Утренняя заря» несколько сочинений в юнгианском духе и вообще тяготевший к мистицизму.¹⁵⁵

Правда, ему принадлежал также один перевод из вольтеровских «Вопросов в связи с Энциклопедией»,¹⁵⁶ но, как ни странно, диалог этот легко вписывался в контекст окружавших его меланхолических раздумий о мироздании, целях бытия, вечности и боге и уж во всяком случае несколько не напоминал озорных замечаний Вольтера об Эндорской волшебнице и ее затаившемся девичестве, о веселой трапезе волхвов и козле отпущения, которому после того, как был возвращен из пустыни, «в награждение дали двенадцать коз».¹⁵⁷

Для современников имя переводчика «Белого быка» едва ли представляло особый интерес, самое же появление перевода было отмечено в печати. «Сие известное и остроумное сочинение славного Волтера, — писали «Санкт-Петербургские ведомости», — доселе не было еще напечатано на русском языке. Содержание

¹⁵² См.: Резанов В. И. Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского. СПб., 1906, с. 252—263.

¹⁵³ ПД, ф. 309, № 271, л. 9 об. (запись от середины ноября 1799 г.). — Впрочем, и Андрей Тургенев понимал, конечно, значение Вольтера. См., например, его пронический отклик на охранительную «Оду в честь моему другу» П. И. Голенищева-Кутузова:

О, как священная религия страдает!
Волтер ее бранит, Кутузов защищает!

(Поэты начала XIX века. Л., 1961, с. 256).

¹⁵⁴ С этой точки зрения показательна составленная В. А. Жуковским в 1805 г. для самообразования «Роспись во всяком роде лучших книг и сочинений, из которых большей части должно сделать экстракты», где упоминаются «Век Людовика XIV» и «Век Людовика XV», повести и некоторые произведения иных жанров (*oeuvres diverses*). Характерно также, что ни один из своих литературных замыслов, связанных с Вольтером, Жуковский не осуществил (см.: Резанов В. И. Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского, вып. 2. Пг., 1916, с. 247, 250, 253, 554).

¹⁵⁵ См.: Лотман Ю. М. Андрей Сергеевич Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени. Тарту, 1958, с. 27, 60.

¹⁵⁶ Разговор между философом и натурою. — Утренняя заря, 1800, кн. 1, с. 182—188.

¹⁵⁷ Белый бык, истинная повесть, сочинения г. Волтера. СПб., 1802, с. 74.

оного, взятое из самой древней и истинной истории, автор по обыкновению своему украсил живыми цветами своего воображения и чрез то сделал оное столь занимательным, что каждому читателю может доставить пользу и удовольствие». ¹⁵⁸ Более сдержанно отзывался о повести «Московский Меркурий». «О сей книжке можно сказать то же, что и о „Гуроне“, — сообщил он, отсылая читателей к помещенной там же критической статье, где отмечалось, что «сей новый перевод „Гурона“ не дурен». Впрочем, критик сомневался в возможности перевода, сохраняющего «весь колорит оригинала»; «Где взять тонкое Вольтерово перо — напитанное философиєю и которое, однако же, с удивительною легкостью бегаёт по бумаге, резвясь и роняя блистательные перлы остроумия?». Еще меньше был он уверен в том, что вольтеровская повесть не утратила для русского читателя своей былой злободневности. «Кто не знает Вольтеровых романов! кто не читал „Кандида“, „Принцессы Вавилонской“, „Микромегаса“!... — восклицал он. — Но все сии *маленькие* творения *великого* человека (если рассматривать их только с философской стороны) будут ли еще и ныне так же нравиться, как они нравились лет за тридцать прежде? — Есть вещи, которые тогда действительно почитались очень важными, а ныне уже никого не занимают». ¹⁵⁹

В этих словах, несмотря на примененный по отношению к Вольтеру эпитет «великий», ощущалась карамзинская ориентация журнала. При всех их достоинствах, повести фернейского мудреца не могли сравниться с остальным его творчеством, они были *маленькими* творениями и по своим размерам и по значению — в противоположность его «Генриаде» и театру.

Сходным образом отзывался тогда же о вольтеровских повестях Галинковский в разделе «Корифея», посвященном романам Коцебу. Этим бездарным и бесцельным, с его точки зрения, писанием чересчур плодовитого немецкого автора он противопоставлял внушавшие ему сочувствие различные явления европейской литературы — Боккаччо, Филдингa, Ричардсона, Стерна, Мармонтеля, Флориана, Руссо. Противопоставлял ему Галинковский и Вольтера, вспоминая в качестве очередного укора Коцебу «остроту» его романов (при этом он называл «Принцессу Вавилонскую» и «Кандида»). Однако, утверждая, что вольтеровские повести являются «образцами в своем роде», Галинковский отнюдь не переоценивал самый этот род творчества: Вольтер-прозаик мог научить искусству сочинения хотя и превосходных, но «безделок», которые к тому же обесценивались «ложной философией», в них заключенной. ¹⁶⁰

¹⁵⁸ Санкт-Петербург. ведомости, 1802, 19 дек., № 101.

¹⁵⁹ Моск. Меркурий, 1803, ч. 1, № 2, с. 156—158.

¹⁶⁰ См.: Корифей, или Ключ литературы, ч. 2, кн. 2. СПб., 1803, с. 171—

Эти и подобные им суждения¹⁶¹ не могли, разумеется, пройти бесследно, они настораживали читателей, охлаждали их пыл, способствовали их общественной и эстетической переориентации. И все же интерес к «плевелам Волтеровым» (и вообще к философской прозе — западноевропейской и русской) был еще очень силен. Об этом свидетельствует серия переводов повестей Вольтера в петербургских и московских журналах, а также во всякого рода сборниках, изданных в обеих столицах и в провинции, например в Смоленске.

Типография, перемещенная в 1795 г. из Петербурга в Смоленск, выпустила на рубеже XVIII—XIX вв. большое число всевозможных книг. Купец И. Я. Сытин, которому типография, находившаяся первоначально в ведении приказа общественного призрения, а затем губернского правления, была отдана в аренду, обладал солидным издательским опытом (он содержал эту типографию и в петербургский период). Разбирался ли он в литературе сам или же пользовался советами понимающих людей, неизвестно, но во всяком случае издавал Сытин наиболее читаемых авторов — главным образом иностранных. Центральное место среди них принадлежало Коцебу, но и фернейский патриарх не был оставлен без внимания: в 1803 г. вышел в свет «Дух, или Избранные сочинения г. Волтера».¹⁶²

Издание это не являлось новым в точном смысле слова; оно было составлено из опубликованных уже в разных местах переводов, но все они подверглись довольно тщательной, хотя и не всегда умелой обработке. Более других отличался от исходного перевод «Белого быка» (озаглавленного на сей раз «Белый вол»). Несмотря на некоторое число текстуальных совпадений с переводом 1802 г., его можно было бы считать самостоятельным, не будь в нем всех без исключения ранее употребленных приемов мистификации (замена библейских имен, уничтожение аллюзий) и, кроме того, одной «общей» ошибки: царевна Амазида у Вольтера старше на два года. Правда, именам собственным в смоленском переводе придан был несколько иной вид, но сделано это было непоследовательно: в большинстве случаев именам сообщалось условно-греческое звучание (Мембрес — Мамвриос, Бифеосграс —

¹⁶¹ См., в частности, «Взгляд на повести, или сказки» (Патриот, 1804, т. 2, кн. 2, с. 205—214), анонимный автор которого «замысловатым сказкам» Вольтера с их язвительными насмешками над «философией века» предпочитал чувствительную повесть Мармонтеля, «оттенявшего легкою кистью картины жизни и общения», а также его «последователей» и «единомышленников» в разных странах — Жанлис, А. Лафонтена, Мейснера, Карамзина (см.: Мордовченко Н. И. Русская критика первой четверти XIX века. М.—Л., 1959, с. 110—112).

¹⁶² См.: Семеновиков В. П. Литературная и книгопечатная деятельность в провинции в конце XVIII и в начале XIX веков. — Рус. библиофил, 1911, № 8, с. 28—30; Кацпржак Е. И. Типография И. Я. Сытина в Петербурге (1791—1794). — Тр. Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина, т. 2, М., 1958, с. 38—66.

Вифеосграс, Цетобрух — Цефобрух, Манетон — Манефон); Феладассар же оказывался Теладассаром, Эфида — Этидой, а Лиафар — Лиатаром.¹⁶³ Перевод «Истории Дженни» восходил к новиковской «Городской и деревенской библиотеке», прочие — в той или иной степени — к «Аллегорическим, философическим и критическим сочинениям г. Волтера».¹⁶⁴

Тогда же в Москве увидел свет другой сборник под названием «Разумный и забавный собеседник», куда в новых переводах вошло несколько прозаических сочинений Вольтера: «Мемнон, или Человеческая мудрость», «Белый и черный» и статья из «Вопросов в связи с Энциклопедией» — «Наружность, видимость».¹⁶⁵ Показательно окружение вольтеровских повестей в этом сборнике, рассчитанном на читателя «новой формации»: Руссо, Бартеlemi, К.-Ф. Мориц и, конечно, Коцебу, занимавший чуть ли не треть книги.

Две заново переведенные повести Вольтера появились в том же году на страницах «Новостей русской литературы» (обе они получили широкое распространение в русской читательской среде, особенно «Индийское приключение», опубликованное к тому времени по меньшей мере восемь раз),¹⁶⁶ а вскоре там же с подписью «Я...» был напечатан отрывок из «Человека с сокола эку» — «О пропорциях», одна из важнейших глав этого произведения, впервые переведенного на русский язык за четверть века до того.¹⁶⁷

Еще более плодотворным в этом смысле оказался следующий, 1805 год, на протяжении которого в Москве вышли четвертый и пятый тома «Полного собрания всех... сочинений г. Волтера» и собрание его прозаических сочинений в пяти частях.¹⁶⁸ Хотя издания эти появились у разных типографов (Хр. Клаудий в первом случае, С. И. Селивановский — во втором)¹⁶⁹ и имели различ-

¹⁶³ Соотношение этих переводов заставляет даже предполагать существование общего для них французского источника, однако поиски его остались безрезультатными.

¹⁶⁴ Несколько фрагментов из сочинений Вольтера (и других «новых» писателей) см. в переведенном с французского моралистическом сборнике «Свойства и действия страстей человеческих» (СПб., 1802, с. 44—49, 145—146).

¹⁶⁵ Разумный и забавный собеседник. М., 1803, с. 37—53, 116—140.

¹⁶⁶ Новости русской литературы, 1803, ч. 7, № 57, с. 65—70; № 58, с. 81—83. — Ранее этот журнал (1802, ч. 4, № 87, с. 132—143) поместил извлечение из «La défense de mon oncle» и новый перевод диалога «Les anciens et les modernes» (1803, ч. 6, № 40, с. 209—224).

¹⁶⁷ Там же, 1804, ч. 10, № 47, с. 325—336. — На страницах этого журнала был также опубликован перевод подписи к портрету Вольтера (ч. 12, № 91, с. 205) и знаменитой эпитафии ему, принадлежащей Лебрену (№ 100, с. 342).

¹⁶⁸ Романы и повести г. Волтера. М., 1805.

¹⁶⁹ О С. И. Селивановском и, в частности, его интересе к Вольтеру см.: Записки Н. С. Селивановского. — Библиогр. зап., 1858, т. 1, № 17, с. 526; К о н о в и ч С. С. Типографский Селивановский. — В кн.: Книга. Исследования и материалы, сб. 23. М., 1972, с. 100—123.

ные цели, обозначенные в заглавиях, их состав в значительной степени совпадал. Сходным был и характер их с точки зрения переводческой: новые переводы соседствовали в них с подновленными и просто заимствованными из старых изданий. С помощью последних был составлен в большей своей части пятый том «Полного собрания...» (источником вновь послужил сборник «Аллегорические, философические и критические сочинения г. Волтера»). Там же был напечатан «Гурон» в переводе Левицкого, сильно переработанном не только по сравнению с первоначальным вариантом, но и с редакцией 1802 г.¹⁷⁰ Почти в таком же виде «Гурон» вошел в «Романы и повести», издатель которых, как видно, особенно сочувствовал подобной компромиссной манере, облегчавшей и ускорявшей его деятельность. Аналогичным образом были для него приспособлены перевод «Задига», сделанный некогда И. Л. Голенищевым-Кутузовым, полунинский перевод «Принцессы Вавилонской» и перевод «Человека с сорока эку», связь которого с исходным текстом, впрочем, столь трудно уловима, что его вообще можно отнести к разряду новых, составляющих в этом издании часть третьей и всю пятую книгу (шестнадцать названий). Целый том был отведен новым переводам и в «Полном собрании...», но число их ограничилось четырьмя: «Кривой носильщик», «Кози-Санкта», «Задиг» и «История Дженни» (с восстановленной третьей главой).

«Романы и повести» не предполагали ни продолжения, ни дополнений. Что же касается «Полного собрания...», то на пятой части издание прекратилось — возможно, из-за смерти Хр. Клаудия. В сопоставлении с изданием Рахманинова успех был невелик: восемнадцать произведений вместо многих десятков, если не сотен, о которых мечтал «казинский философ». Но и это предприятие выглядело почти грандиозным на фоне единичных, случайных публикаций вольтеровской прозы в дальнейшем.¹⁷¹ Недаром именно рубеж веков в сознании современников надолго остался эпохой, когда «переводились, печатались и с дозволения цензуры продавались все забавные, веселые и богомерзкие ро-

¹⁷⁰ В этом обновленном виде «Гурон» тогда же был издан отдельно: Гурон, или Простодушный, истинная повесть из сочинений г. Волтера. М., 1805.

¹⁷¹ Речь идет о переводе диалога Лукреция с Посидоном о «бытии бога» (Моск. собеседник, 1806, ч. 1, с. 92—101), а также о перепечатке в этом журнале старого, сокращенного перевода повести «Жанно и Колен» (1806, ч. 2, с. 377—385), извлеченного из «Детского чтения для сердца и разума», и новом, полном переводе той же повести, помещенном в «Аглае» (1809, ч. 5, кн. 1, с. 28—51). К этим переводам примыкает трехтомный «Дух, или Избранные философические мысли г. Волтера», вышедший в 1812 г. (Ценз. разр. первого тома — 18 марта, второго и третьего — 26 мая 1812 г.) в переводе Н. Е. Левицкого. Издание это дошло до нас в одном экземпляре (ГБЛ). Остальные погибли во время московского пожара. Ср.: Языков Д. Д. Вольтер в русской литературе, с. 12.

ДУХЪ,

или

ИЗБРАННЫЯ ФИЛОСОФИЧЕСКІЯ МЫСЛИ Г. ВОЛТЕРА

О ВАЖНѢЙШИХЪ ПРЕДМЕТАХЪ, КАСАЮЩИХСЯ ВООБЩЕ ДО РЕЛИГІИ, БОГОСЛУЖЕНІЯ, НРАВСТВЕННОСТИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОЛИТИКИ, ИСТОРИИ, ЛЮБОМУДРІЯ, СЛОВЕСНОСТИ; О ЗАКОНАХЪ, ПРАВАХЪ, ОБЫЧАЯХЪ, НАУКАХЪ И ХУДОЖЕСТВАХЪ У РАЗЛИЧНЫХЪ НАРОДОВЪ, ОБИТАЮЩИХЪ НА ЗЕМНОМЪ ШАРѢ, ВЫБРАННЫЯ ИЗЪ ВСѢХЪ ЕГО СОЧИНЕНІЙ НѢКОТОРЫМЪ ЛЮБИТЕЛЕМЪ ВСЕОБЩАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.

Перевелъ съ Французскаго Статскій
Совѣтникъ и Кавалеръ
Н. Леветскій.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

М. Д. С. К. В. А.
Въ Типографіи С. Селивановскаго.



«Дух, или Избранные философскіе мысли г. Волтера».
Титульный листъ части 1. ГВЛ. Редчайшій экземпляръ.

маны Вольтера», когда даже «совершенные неучи» перевозносили «Кандида» и «Белого быка».¹⁷²

Впрочем, «Кандид» попал в этот перечень «по инерции»: он был единственной знаменитой повестью Вольтера, не переиздававшейся ни на протяжении 1800-х гг., ни позднее, главным образом по цензурным причинам. Подтверждением может служить, например, дошедший до нас любопытный рапорт цензора, ординарного профессора Я. В. Толмачева. Ознакомившись с рукописью «Вольтер. Кандид, или Оптимизм», он 17 декабря 1818 г. донес Санкт-Петербургскому цензурному комитету о том, что «содержание всей повести клонится к опровержению промысла, пекущегося о мире; соблазнительные же происшествия, составляющие оную, представлены в самом гнусном циническом виде; оные противны не только нравственности, но даже общим правилам благопристойности»; и комитет, «соглашаясь с мнением г. профессора Толмачева», определил издание запретить.¹⁷³

И все же дело было не только в цензурных препонах: усвоение вольтеровского творчества, как и раньше, происходило в обстановке напряженной идеологической борьбы, одним из аспектов которой было противодействие французскому влиянию в разных сферах русской общественно-литературной жизни, и прежде всего влиянию Вольтера.

После мартовских событий 1801 г., когда фернейский патриарх вновь обрел в России былые права, возобновилась и война с ним, усиливавшаяся по мере того, как нарастал поток русских переводов его произведений. Убедившись в том, что угроза «вольтеризма» отнюдь не миновала, русская «антивольтеровская партия» перешла в наступление. При этом она использовала как отечественных, так и французских противников «новой философии», своих современников и современников Вольтера. Одним из первых на свет был извлечен полузабытый труд аббата К.-М. Гюйона «L'Oracle des nouveaux philosophes» (1759—1760). В ее русской редакции (И. И. Ястребцова) книга получила наименование «Оракул новых философов, или Кто таков г. Вольтер».

Основной целью Гюйона было доказать несостоятельность вольтеровской и (вообще просветительской) философии и опровергнуть ее с религиозно-мистических и метафизических позиций. Он отвергал «веру естественную, запечатленную в сердцах наших». Он осуждал Вольтера за провозглашенный им принцип «терпимости вер» и его «попытки принудить государей к принятию ее под свое покровительство». «Толь вредному учению» Гюйон противопоставлял «спасительные действия откровения», плоды ко-

¹⁷² Вигель Ф. Ф. Записки, т. 1. М., 1928, с. 142, 339.

¹⁷³ ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 256, л. 1. — См. также: Описание рукописей Научной библиотеки им. Н. И. Лобачевского, вып. 7. Казань, 1961, с. 33; вып. 15, 1968, с. 83, 89.

торого «превыше самого чувствования», «боговдохновенность» и абсолютную достоверность «священных» книг. Всячески отстаивал он от посягательств Вольтера и церковную обрядность, видя в «новых родах богопочтения, совершенно отличных от предписанного свыше», один из источников анархии, «жесточких междоусобных браней» и разных других плачевных явлений в жизни народов и государств. «Сия же язва, — восклицал в этой связи И. И. Ястребцов, — не нашла желаемой себе пищи в России, и посмотрите, какая там тишина и благоустройство; между тем как большая часть Европы, погибая от оружия, отсылала своих государей на аглинские ешафоты». ¹⁷⁴

Книга Гюйона привлекла Ястребцова не случайно: своей основательностью она выделялась среди обширной антивольтеровской литературы, опубликованной во Франции при жизни фернейского мудреца. И все же для читающей публики 1800-х гг. это была старая книга, причем не только потому, что с момента ее выхода в свет прошло почти полвека, но и по содержанию: при всей его проницательности, автор «Оракула», конечно, не мог себе представить, какую роль Вольтеру (и другим «новым» философам) суждено было сыграть в подготовке «революционного переворота». Между тем в сознании людей начала века Вольтер был неотделим от этих великих событий, и творчество его неизбежно воспринималось сквозь их призму. С этой точки зрения русских читателей не могли не привлечь сочинение аббата Пруайяра «*Louis XVI détrôné avant d'être roi, ou Tableau des causes nécessaires de la révolution française et de l'ébranlement de tous les trônes*» ¹⁷⁵ и в особенности обширный труд аббата Баррюэля «*Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme*», вышедший на русском языке в переводе П. Н. Дамогацкого под характерным названием «Волтерьянцы, или История о якобинцах».

Заклятый враг революции, проведший около десяти лет в эмиграции в Англии, Баррюэль поставил перед собой нелегкую цель — проследить истоки «революционного заговора», определить причины, его породившие, назвать его участников, идеологов и предтеч. Предпринятый труд он считал важным политическим делом: повествуя о событиях, ушедших в прошлое, он призывал к бдительности современников и потомков. История французского вольномыслия должна была послужить уроком всему человечеству, всем странам. ¹⁷⁶

Россия не исключалась из их числа, это отчетливо понимал Дамогацкий, несомненно вложивший немало собственного «энтузи-

¹⁷⁴ Оракул новых философов, или Кто таков г. Вольтер. Критические замечания. М., 1803, с. 116—117.

¹⁷⁵ О революции французской, о бывших и могущих впредь быть от нее следствиях. Сочинено на французском языке г. аббатом Проярт, ч. 1. М., 1804, с. 45—47, 290 и др.

¹⁷⁶ Об этом см.: Baldensperger F. Le mouvement des idées dans l'émigration française (1789—1815), t. 2. Paris, 1924, с. 19—29.

азма» в перевод огромного сочинения о едва не погубивших Францию заговорах «якобинских корифеев». «1-й заговор, — указывалось в предисловии к книге, — составляют софисты беззакония против бога, против всякой христианской религии вообще, без исключения и без различия... 2-й заговор заключает в себе софистов беззакония и возмущения против всех царей. 3-й заговор умышляют софисты беззакония и безначалия против всех законов и правлений, не исключая даже и республик, против всех гражданских обществ и против всякой собственности, какая б она ни была».

Первый заговор явился делом рук «людей, называвшихся философами», и его «главным виновником», наряду с Даламбером, Дидро и Фридрихом II, был Вольтер, «атаман над шайкою софистов-заговорщиков», ненавидевший закон (т. е. христианский закон), ибо «завидовал творцу его и всем тем, которые чрез него прославились». Баррюэль признавал, что «не было ни одного человека, который бы мог в ученом свете равняться с его талантами и пылкостью ума его», но с юных лет «он ощутил в себе те пагубные страсти, которые обращают все таланты в ничтожество». Он задумал «ниспровергнуть религию», поклялся «посвятить жизнь свою на сей умысел» и сдержал обещание. Объединив вокруг себя единомышленников — атеистов, деистов, спинозистов («мерзкую сволочь», по определению Дамогацкого — Баррюэля), — он повел их в поход против «святых отцов и новейших писателей, открывающих истину христианской религии и утверждающих бытие Иисуса Христа». Паролем заговорщиков стало слово, избранное Вольтером для изъяснений своего умысла, слово, изобретенное «дьяволом ненависти, бешенства и безумства»: «Подавляй нечестие» (так передал Дамогацкий знаменитое вольтеровское «Ecrasez l'infâme!»).

Ненависть к христианской церкви, полагал Баррюэль, Вольтер испытывал «при самом своем рождении» и притом «в высочайшей степени». Ненависть его к государям зрела постепенно и никогда не достигла такого же накала. Он слишком ценил их милости, сам имел «все прихоти знатных бояр» и отнюдь «не хотел быть партизаном равенства». «Неистовая демократическая чернь» внушала ему значительно больший страх, чем самовластие монархов. Только к концу жизни «антипатия Вольтера к тронам чрезвычайно сблизилась с антипатиею к олтарям».

Правда, основной удар в этой связи был направлен против «систем» Монтескье и Руссо и особенно франкмасонов, осуществивших их разрушительные замыслы в революционный период. Однако на последних страницах «труда» Баррюэля имя Вольтера появилось вновь: наряду с Руссо он был назван «героем революции», да и все заключительное обращение исходившего яростно аббата к «правителям и государям» имело прямое отношение к Вольтеру, ибо речь в нем шла в первую очередь о «сочинениях и книгах, преисполненных нечестия и возмущения», выпешших

из-под пера «ложных мудрецов». «Они обещали нам революцию мудрости, просвещения, добродетелей, — патетически восклицал Баррюэль, — а произвели революцию заблуждения, иступления и злодейства. Они обещали нам революцию благополучия, равенства, свободы, золотого века, а произвели революцию, которая сама по себе ужаснейший из бичей, ниспосланных на землю богом...». Он призывал сильных мира сего не придавать значения таким повсеместно вошедшим в употребление словам, как «свобода гения» и «вольность книгопечатания», поскольку «тот им (людям, — П. З.) отец, а не деспот или тиран, кто у сих детей отнимает всякое орудие, могущее в руках их и против них самих сделаться мечем смерти».¹⁷⁷

Публикуя свой «труд», Баррюэль надеялся принести пользу народам, «которые еще могут предохранить или избавить себя от сих бедствий». К числу этих «счастливых» народов он относил, конечно, и русский. Не случайно в России — в реакционных кругах — высоко оценили его «заботу»: одновременно с двенадцатитомными «Волтерьянцами» на русском языке были изданы «Записки о якобинцах» в шести частях, восходившие к опубликованному в 1799 г. в Лондоне «*Abrégé des mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme*».¹⁷⁸

Но этим дело не ограничилось. Вслед за трудом Баррюэля и как бы в дополнение к нему в русском переводе появилось несколько других французских сочинений, направленных против Вольтера, его единомышленников и последователей. В 1808 г. начали выходить «Иудейские письма к г. Вольтеру» аббата Гене, издание которых растянулось на целое десятилетие. В 1809 г. увидели свет «Энциклопедисты без маски»; в 1812 г. — трактат Ж.-М. Риголе де Жювины «Об упадке наук и нравов».

«Иудейские письма» представляли собою критическое обозрение всех вольтеровских произведений и отдельных фрагментов, содержавших те или иные суждения о религии и «священных» книгах. Это была нескончаемая цепь изъяснений, возражений, отвержений, опровержений и разоблачений, с помощью которых автор — теолог и библеист — пытался рассеять «лжеумствования» Вольтера и защитить христианскую веру от его «несправедливых укоризн», «ложных нареканий» и «гнусных клевет».

Русский переводчик первых четырех частей труда, Ст. Смирнов, глубоко сочувствовал обличительному пафосу Гене. В его представлении Вольтер являл собой «печальный пример буйства и ослепления ума человеческого», «гибельного растления ума и сердца». Он «всеми силами старался оспаривать достоверность и

¹⁷⁷ Волтерьянцы, или История о якобинцах, ч. 1. М., 1805, с. XXIV—XXV, 1—3, 34; ч. 3, 1806, с. 26; ч. 12, 1809, с. 153, 154, 202.

¹⁷⁸ Записки о якобинцах, открывающие все противухристианские злоумышления и тайнства масонских лож, имеющих влияние на все европейские державы. М., 1806—1808.

божественность книг Моисеевых, книг пророческих и других библейских писаний, нападая со всею злобою и ядовитостью как на догматы учения, во оных содержащегося, так и на все почти происшествия, в оных повествуемые, искажая притом и обезображивая истинный смысл текста. Непластный сей мечтал, что ежели ему удастся подорвать сие древнее основание, то здание христианства обрушится само собою».

Полагая, что в «преложенном» им труде «истинность и божественность сих книг доказана в высочайшей степени», он всячески рекомендовал его своим соотечественникам. «Таковое творение, — писал Смирнов, — очень достойно чтения правоверных россиян для большего их утверждения в благочестии».¹⁷⁹ О его отношении к книге Гене свидетельствовали также многочисленные примечания переводчика, в которых приводилась обширная дополнительная аргументация против Вольтера, «покаявшегося в исступлении своего дерзкого высокомерия искоренить христианство».¹⁸⁰

Два других названных выше сочинения не были посвящены Вольтеру полностью. В первом из них речь шла о «новой философии» и ее основателях, к которым, по мысли автора, относились наряду с Вольтером Даламбер и Дидро; во втором Вольтер фигурировал как «признак» — один в ряду многих — величайшего упадка «наук и прав» в «наши дни».

При всей ненависти автора «Энциклопедистов без маски» к «сим триумвирам», которых «слабые умы» ошибочно почитали «святилами» и «своими благотворными гениями», Вольтеру он уделил наибольшее внимание: в отличие от Даламбера и Дидро, это был «единственный человек», «кумир своего века». На первых порах, негодовал автор брошюры, казалось, что этому веку суждено стать вторым «золотым», что «новые Прометеи похитили с небес чистейший огонь для одушевления смертных и утверждения их щастия», что вскоре на земле воцарятся всеобщее благоденствие и справедливость. «Глас чародейный, учение ослепительное, чувства выспренность, изречения чудесные разгорячали головы читателям, причиняли философические судороги, и слово „философ“ раздалось от академий до конюшен... Но горизонт не долго был ясен. Сия благотворная философия окисла, как окисают все

¹⁷⁹ Иудейские письма к г. Вольтеру, ч. 1. М., 1808, с. VI—VII, IX. С сочинением Гене отчасти перекликались «Fragments de l'Apologie de la religion» Ж.-Ф. Лагарпа, его вышедшее посмертно антипросветительское сочинение, заключавшее ряд выпадов против некогда боготворимого им Вольтера. Книга была переведена на русский язык переводчиком Коллегии иностранных дел Я. И. Бардовским и выпущена под заглавием «Опровержение злоумышленных толков, распространенных философами XVIII века против христианского благочестия» (М., 1810).

¹⁸⁰ Точку зрения Смирнова несомненно разделял и М. М. Снегирев, профессор церковной истории и цензор, переводчик двух последних частей книги. Во всяком случае по числу и объему примечаний эти части не отличаются от остальных.

жидкости с поддельным вкусом. Мгновенно приятный и сострадательный голос ее переменялся в яростные вопли; светильники ее стали факелами, обратившими все в пожар; небесная терпимость превратилась в неумолимую фурию, ниспровергающую все, что есть святого и достопочтенного... Мгновенно из чаши сей новой Пандоры исторглись ядовитые реки злоречия, богохуления и злодейств».

С наибольшей отчетливостью эта трансформация обнаруживается на примере Вольтера. «Тиранствующая и не мудрая философия», им основанная, «растлила», «иссушила», обесценила его ум и талант. Словно «медузина голова, превращающая в камень все к ней приближающееся», она наложила печать на его личность и творчество во всех без исключения жанрах — от «Генриады» до исторических сочинений и повестей.¹⁸¹

Сходная, но несколько более мягкая характеристика Вольтера заключалась в трактате Риголе де Жювиньи «De la décadence des lettres et des mœurs depuis les Grecs et les Romains jusqu'à nos jours» (1787), направленном также против «обманчивой и безрассудной» философии XVIII в., «великолепное титло» которого — просвещенный — он воспринимал почти как насмешку. «Если рассуждать о Вольтере, яко о философе, — восклицал он, — ах! Кто менее таков, как не он? ... Он был прорицалищем филозофизма, а не философии». Но и Вольтер — эпический поэт не внушал Риголе де Жювиньи особого почтения, он усматривал в «Генриаде» множество всякого рода недостатков, происходивших «от дурного состава творения и от скудости гения в стихотворце». Немало погрешностей находил он в легкой поэзии Вольтера, в его трагедиях и, конечно, в прозе, которая изобиловала всевозможными «мерзостями», «невероятностями», «безумствами» и «ругательствами, не известными даже на площадях».

В целом, по мнению Риголе де Жювиньи, деятельность Вольтера, хотя он и был наделен от природы «драгоценнейшими» и «блистательнейшими» дарами ума, оказалась вредоносной: «Он имел в себе все способы прельщать и нравиться; но к несчастию употребил их во зло, и раны, кои причинил он нравам и наукам, столь глубоки, что невозможно скоро залечить их». И все же Риголе де Жювиньи не терял оптимизма: он надеялся, что «время и истина раздерут завесу мечты — и Вольтер явится наконец тем, что он есть».¹⁸²

Таким образом, книга, изданная во Франции накануне революции для отвержения и опровержения просветительских идей, оказалась созвучной настроением русских ретроградов, напуганных усилением отечественного «волтерианства». «Намерение,

¹⁸¹ Основатели новой философии Вольтер, Даламберт и Дидерот, или Энциклопедисты без маски. СПб., 1809, с. V—VII, XII, 29.

¹⁸² О упадке наук и нравов со времен греков и римлян до наших дней. Сочинение Риголея де Жювиньи. СПб., 1812, с. 281, 286—289, 293, 295.

с которым я предложил книгу сию на российский язык, — сообщал в предисловии В. Крылов, — есть то же, с каковым сочинитель издал ее в свет: чтоб поддержать блеск наук и чистоту нравов». За сравнительно короткое время в распоряжении русского читателя оказался, следовательно, обширный репертуар французских антивольтеровских сочинений, как старых, так и более новых и даже вполне современных. Тем не менее борьба за «чистоту» нравов требовала — на каждом этапе — дополнительных усилий. В 1808 г. в эту кампанию включился, например, московский журнал религиозно-мистического направления «Друг юношества» (позднее — «Друг юношества и всяких лет»).

На первых порах был использован довольно обычный в русской журнальной (и не только журнальной) практике прием: поместив на страницах журнала весьма сочувственную биографию Вольтера, почерпнутую из широко распространенного в России первой четверти XIX в. сборника «Le Plutarque de la jeunesse» Пьера Бланшара,¹⁸³ издатели «Друга юношества» сопроводили ее разоблачительным предисловием и двумя десятками не менее разоблачительных примечаний. «Сие показалось нам тем необходимым, — сообщали они в свое оправдание, — что как у нас при воспитании молодых людей большую частью употребляют иностранные книги, и в особенности французские, то воспитываемые молодые люди без предостережения могут впасть в великие погрешности и напитать себя весьма часто неправильными умствованиями сих сочинителей, которые, несмотря на их пылкость и умы, делают заключения о пользе или вреде какой-нибудь вещи, о великости или низости какого человека очень скоро, бегло и без особенного внимания и размышления». В примечаниях же Вольтеру инкриминировались «любление славы», «сребролюбие», «зависть», «недоброхотство», «гордость», «мщение», «безбожие», «лицемерие» «нетерпимость» и т. п. Характеризовалось в них и самое вольтеровское творчество в разных жанрах; особое примечание было отведено «Орлеанской девственнице»: «Поэма сия исполнена всяких кощунств насчет веры и закона и всяких похабных и бурлацких выражений и оборотов ума, и ежели читана быть может, то только в питейных и непотребных домах, однако не без краски». Наконец, в одном из примечаний содержался патетический призыв отвергнуть разрушительную философию, которой обучал Вольтер и которой следовал, — призыв, обращенный к юным россиянам, их родителям и наставникам: «Отцы, матери и воспитатели! обратите здесь все свое внимание и старайтесь с помощью божиею отводить детей своих и питомцев от сей фило-

¹⁸³ На русском языке «Le Plutarque de la jeunesse» был известен в двух различных переводах — Г. П. Дубецкого (1808—1810) и С. А. Немцова (1809). В свою очередь последний дважды переиздавался. Очерк о Вольтере находился соответственно в восьмом (СПб., 1810, с. 104—143), пятом (М., 1809, с. 158—186) и девятом (М., 1814, с. 161—190; М., 1822, с. 172—203) томах.

софской заразы, опаснейшей всякой чумы! — Юноши! не верьте никаким бродягам и шарлатанам, выдающим себя за философов и мудрецов, кои желая только вам понравиться, будут хвалить таковую философию, которая лъстит только нашим страстям и учит питать их, а не побеждать».¹⁸⁴

В дальнейшем «Друг юношества» напечатал всего два фрагмента, непосредственно посвященных Вольтеру. Это был ругательный «Портрет г. Вольтера», восходивший к «*Esprit de Monsieur de Voltaire*» (1760) и ранее уже опубликованный на русском языке в качестве приложения к «Оракулу новых философов», а также письмо Делюка к Баррюэлю о последних днях Вольтера, приведенное в многословном сочинении некоего «почтеннейшего автора» под названием «Новый опыт милосердия божия».¹⁸⁵ Во всех остальных случаях фернейский патриарх только упоминался и, как правило, в более или менее сходном контексте: в очерке о «поэтах бедных и поэтах богатых», в статье «О правоучении неверующих» (переведенной с французского М. И. Невзоровым, который в 1809 г. стал единоличным издателем журнала),¹⁸⁶ в оригинальном сочинении того же Невзорова о «жалости достойном образе французского умствования», в обзоре новейших книг и журнальных материалов антивольтеровского и вообще антипросветительского содержания, озаглавленном «Франция, оплакивающая безумие свое»; наконец, в пространной поэме Д. И. Восленского, направленной против «фернейской философии» и

того Вольтера,
От коего почти везде страдала вера.¹⁸⁷

Против «вольтеровского просвещения» было направлено и другое «русское сочинение» в стихах — «Вольнодумец, убеждает

¹⁸⁴ Друг юношества, 1806, кн. 1, с. 81, 101—103.

¹⁸⁵ Там же, 1811, кн. 6, с. 37—42; 1812, кн. 10, с. 24—31.

¹⁸⁶ Постоянные нападки Невзорова на Вольтера вызвали характерную реплику Воейкова в его сатире «Дом сумасшедших»:

...Максим Невзоров
Углем пишет на стене:
«Если б, как стихи Вольтера,
Христианский мой журнал
Расходил.с. Горе! вера,
Я тебя бы доконал!».

(Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в.
Л., 1959, с. 308).

См.: Лотман Ю. М. Сатира Воейкова. «Дом сумасшедших». — В кн.: Труды по русской и славянской филологии, т. 21. Тарту, 1973, с. 10.

¹⁸⁷ «Друг юношества», 1815, кн. 1, с. 134. — В другом месте Вольтер был упомянут у Восленского как «развратитель юношества» — наряду с Даламбером и «сыном адским» Мирабо (с. 131). Сближение имен Вольтера и Мирабо см. также: Вестн. Европы, 1807, ч. 32, № 6, с. 144; Рус. вестн., 1808, ч. 2, № 5, с. 188.

мый в несправедливости его рассуждений, в истине бессмертия души и в любви евангельския веры» И. М. Кандорского, хотя Вольтер фигурировал не столько в стихотворном тексте, сколько в «особенных исторических, философических и нравственных примечаниях», превосходивших самую поэму более чем в три раза.¹⁸⁸

Приблизительно тогда же борьбе с Вольтером отдал дань «харьковский стихотворец» А. Н. Нахимов, автор «Мерзилкина, или Русского выроodka, превратившегося в офрануженную гадину». В сатирическом очерке «Словесные обезьяны» он попытался поразить фернейского мудреца его же излюбленным оружием — язвительной насмешкой. Речь шла об «одной длинной, желтой, тощей, уродливой обезьяне», которую некогда «почитали атаманом многочисленной философической шайки». «Но не одни орангутанги, — замечал далее Нахимов, — нет! должно к стыду человечества признаться, что весьма многие из людей почти боготворили безобразную сию обезьяну. Она так искусно приправляла философское вранье свое, что трудно было, отведавши его, узнать сокрытый в нем яд. Одним каким-нибудь насмешливым кривляньем заставляла она молчать и здравый смысл и совесть. Ее старанием новая премудрость, как некая зараза, распространилась повсюду». В той же «аллегорической» манере говорил он о смерти Вольтера, о революции, с началом которой «словесные орангутанги», пришедшие от «сего дурмана» в «несказанное бешенство», сделались «свирепыми чудовищами», о Наполеоне, мало-помалу «поработившем себе» всех «словесных обезьян»,¹⁸⁹ и т. д.

Очерк Нахимова был написан на рубеже 1812—1813 гг., т. е. в период чрезвычайного усиления антифранцузских настроений. Но и спустя несколько лет после окончания Отечественной войны тема эта не утратила своей злободневности. Хотя теперь «все увидели, что нет на свете (разумея в нравственном и политическом смысле) глупее народа, как французы», они тем не менее по-прежнему внушали страх благонамеренным русским писателям, продолжавшим оказывать отчаянное сопротивление «французскому просвещению ума». Причину «повреждения отечественных нравов, веры и обычаев, на оной основанных», они единодушно усматривали в «смешении народов», в распространении французского языка, философии, литературы и, конечно, в деятельности «себе и многим на погибель рожденного ... Мария-Франциска Аруета, проименовавшего себя во время учения Волтером».¹⁹⁰ Из всего огромного его наследия одобрялось лишь несколько стихотворных строк. «Циническому» и излишне плодовитому

¹⁸⁸ Вольнодумец, убеждаемый в несправедливости его рассуждений, в истине бессмертия души и в любви евангельския веры. М., 1811, с. 8, 9, 20, 30, 37, 42—45, 51—57.

¹⁸⁹ Нахимов А. Н. Соч. в стихах и прозе. М., 1822, с. 161—162.

¹⁹⁰ Предмет французского просвещения, ума и противоположные оному истинны, извлеченные из разных сочинений. М., 1816, с. VI, 10.

Вольтеру и его единомышленникам противопоставлялись писатели отечественные, например Державин, который «затмил и мыслями и громом слов всех французов».¹⁹¹

Однако, кажется, с наибольшей отчетливостью и последовательностью тенденция эта проявилась в многочисленных антифранцузских статьях, публиковавшихся на страницах журнала «Русский вестник». Всячески насаждая казенный патриотизм, издатель «Русского вестника» С. Н. Глинка внушал своим соотечественникам ненависть к «адской революции» и породившей ее просветительской философии и литературе.¹⁹² Идеализируя русскую патриархальную старину, он противопоставлял ее испорченному под французским влиянием нравам и «новомодному воспитанию», в котором видел источник всех несчастий и бед, ибо «от различного воспитания происходит различный образ мыслей обо всем».¹⁹³

Едва ли не самым типичным атрибутом этого «губительного» воспитания являлся, по мнению Глинка, неизменный интерес русских людей к наследию Вольтера. Особенно возмущало его широкое распространение Вольтера подлинного, наличие во многих частных библиотеках полного сточастного Вольтера: «У нас и по сие время, — негодовал он, — сии сто частей, вредные вере и нравственности, в великолепном сафьянном переплете служат украшением модных библиотек».¹⁹⁴ Месяц спустя автор программной статьи «Вольтер для юношества» вернулся к этой теме: «... все его сто частей давно уже в руках питомцев модного воспитания. Единоземцы Вольтера учат их восхищаться затейливостью и легкостью его слога. Ученики вытверживают наизусть целые страницы; скоро весь Вольтер овладеет их памятью и душами; чему же русскому в них проникнуть?».¹⁹⁵

¹⁹¹ Оставшееся после покойного Н. Н. рассуждение об опасностях и вреде, о пользе и выгодах от французского языка. М., 1817, с. 32—34 (2-е изд. — 1825).

¹⁹² См. протест против такого рода внушений в воспоминаниях Винского: «... сколько бы старообрядцы и новообрядцы и все их отголоски не вопияли: „Распинайте французов!“», но Волтеры — не Мараты; Ж. Ж. Руссо — не Кутоны. Бюффоны — не Робеспьеры. Ежели когда-нибудь настанут времена правды, тогда великие умы XVIII-го столетия, истинные благодетели рода человеческого, получают всю им принадлежащую честь и признательность» (Винский Г. С. Мое время. СПб., 1914, с. 17).

¹⁹³ Рус. вестн., 1808, ч. 3, № 8, с. 276—277.

¹⁹⁴ Там же, 1811, ч. 14, № 5, с. 67. — См. в этой связи любопытное свидетельство П. И. Бартенева о В. И. Киреевском — отце Ивана и Петра Киреевских: «Он имел обыкновение откладывать известную немалую сумму из своих доходов на истребление вольтеровских писаний. Осенью, проезжая из своего Долбина на зимнее жительство в Москву, отправлялся он во французские книжные лавки (к Аллару или Рису), закунал что было Вольтера и потом в течение зимы сжигал в печках» (Рус. архив, 1882, кн. 3, № 6, с. 209).

¹⁹⁵ Рус. вестн., 1811, ч. 14, № 6, с. 64. — Ср. диалог Развратина и молодого Ветрова в повести А. Е. Измайлова «Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и сообщества» (ч. 2. СПб., 1801, с. 55—56). С этим

Отсюда неустанная борьба «Русского вестника» с французским языком, аргументацию для которой он черпал из самых различных источников — от шишковского «Рассуждения о старом и новом слоге русского языка» до сочинений... самого Вольтера. К Шишкову восходило множество фрагментов и даже целых статей, где говорилось — так или иначе — о «безумном прилеплении нашем к французскому языку» и «рабственном подражании нашем французам».¹⁹⁶ Вольтер же использовался преимущественно в связи с замечаниями о «грубости» и «бедности» французского языка. Журнал с удовлетворением, даже с восторгом констатировал, что «Вольтер, написав сто частей по-французски, называет свой язык бедным и грубым; а мы, едва ли по складам зная французский язык, презираем свое обильное и звучное наречие!».¹⁹⁷

Впрочем, и Вольтер «русский» причинял Глинке немало беспокойства. Так, сообщая о нападках на Вольтера, содержавшихся в «Истории Франции» Лакретеля, он горестно восклицал: «А у нас и по сие еще время уведомляют в ведомостях о продаже нескольких частей, переведенных из сочинений Вольтера. Скажут, что остроумие сего писателя забавляет. Вера и добродетель полезнее всякого остроумия, которое еще тем вреднее, что нечувствительно вовлекает в сети зломыслия и страстей».¹⁹⁸ «Не говоря о питомцах французов, — отмечалось в 26-й части журнала, — сколько мечтан и даже поселян развратились от чтения Вольтеровых сказок, к несчастию переведенных! Некоторые целые страницы вытвердили из „Кандида“ и других своевольных и беспутных Вольтеровых вздоров, а едва ли помнят одно изречение из книг священных!».¹⁹⁹ Этим развращенным «простолюдинам» далее

разговором перекликаются ламентации г-на Простакова в «Российском Жилблaze» В. Т. Нарезного (1814). См.: Нарезный В. Т. Избр. соч., в 2-х т., т. 1. М., 1956, с. 222.

¹⁹⁶ Ср.: [Шишков А. С.] Рассуждение о старом и новом слоге русского языка. СПб., 1803, с. 9; см. также: Прибавление к сочинению, называемому «Рассуждение о старом и новом слоге русского языка». СПб., 1804, с. 125, 135—136, 138—140.

¹⁹⁷ Рус. вестн., 1808, ч. 3, № 7, с. 73.

¹⁹⁸ Там же, 1811, ч. 16, № 10, с. 91—92.

¹⁹⁹ Там же, 1814, ч. 26, № 4, с. 18—19. — Тремя годами раньше против распространения в низших слоях русского общества вольтеровских повестей, как и вообще переводных романов, «писанных для развращения ума», с чрезвычайной энергией выступил составитель «Собрания отрывков, взятых из нравственных и политических писателей» (М., 1811, с. 13, 46—47), которого особенно возмущал интерес к этим книгам «торгующих господских крестьян». «Я, бывши в Костромской губернии, — писал он, — видел у одного из таких крестьян два тома Вольтеровых сочинений, конечно, совсем не нужных быть переведенными, о которых сей человек такие делал рассуждения, что нельзя было не поразиться его беззаконием». Ср.: Никитенко А. В. Моя повесть о самом себе и о том, чему свидетель в жизни был. Записки и дневники, т. 1. СПб., 1904, с. 11, 67; Domergue A. La Russie pendant les guerres de l'Empire (1805—1815). Souvenirs historiques. Paris, 1835, p. 172.

противопоставлялись «богобоязненные крестьяне», которые, «не умея ни читать, ни писать, но сердечно внимая церковному чтению, затверживают правила священной нравственности и руководствуются ею в делах своих».

И все же подобный взгляд на прозу Вольтера не помешал журналу использовать одну из его повестей в собственных целях. В борьбе со «смертоносною язвою французских лжеумствователей», с «развратом душ, умов и сердец» Глинка поместил в своем издании «Историю Дженни», приспособив ее для «российского юношества». Заимствуя у Вольтера «главное основание» повести (получившей название «Побежденное безбожие, или Торжество отцовской любви»), он «старался отделять золото от грязи», иными словами — всячески усиливал ее антиатеистический смысл, дописывая за Вольтера целые страницы, «ненужное» же изымал с легкостью, жертвуя вольтеровским текстом во имя большей назидательности и без того весьма назидательного сюжета.²⁰⁰

Сходным образом несколько раньше поступила писательница-пушкинистка К. Н. Пучкова (впоследствии осмеянная Пушкиным): в 1809 г. она напечатала в «Аглае» перевод «Жанно и Колена», а год спустя в «Письме к приятельнице» эта «грация-россиянка» (как не без иронии назвал ее П. И. Шаликов) разразилась гневной филиппикой против поклонников «новой философии», верующих «слепо и несомненно в Вольтеров, Белев, Бюфонов и прочих». Негодовала она и против тех, кто теряет лучшее время жизни своей на познание языка чужого и, «зная наизусть Расина, Вольтера, Кребийлона, не имеет ни малейшего представления о Сумарокове и Княжине».²⁰¹

Нечто подобное можно обнаружить и в некоторых других изданиях тех лет, например в «Минерве», где мысли Вольтера соседствовали с рассуждением о его слабостях, в журнале А. Ф. Кропотова «Демокрит», где Вольтер то назывался «великим» и «преумным», то подвергался насмешкам, и особенно в «Вестнике Европы», где, в зависимости от политической ситуации и состояния русско-французских отношений, Вольтера то защищали от клевет, то причисляли к «апостолам неверия» и «революционистам».²⁰² Впрочем, подчас «Вестник Европы» склонялся все же к более «диалектической» оценке «владельца фернейского», признавая, что

²⁰⁰ Рус. вестн., 1812, ч. 20, кн. 11, с. 33—101. Перепеч.: Театр света, ч. 1. М., 1823, с. 146—183.

²⁰¹ Аглая, 1809, ч. 8, кн. 1, с. 15—21. — Ср.: Пучкова К. Н. Первые опыты в прозе. М., 1812, с. 96—99.

²⁰² См.: Минерва, 1806, ч. 2, № 21, с. 62—72; ч. 3, № 38, с. 42—52; ч. 4, № 17, с. 266—269; 1807, ч. 6, № 49, с. 216—217; Демокрит, 1815, ч. 1, кн. 1, с. 34; кн. 3, с. 188; Вестн. Европы, 1804, ч. 13, № 2, с. 144—148; ч. 17, № 17, с. 58—63; ч. 36, № 24, с. 250; 1809, ч. 44, № 5, с. 41—55; ч. 45, № 10, с. 81—90; 1810, ч. 51, № 9, с. 9; 1811, ч. 59, № 17, с. 30—37.

«в Вольтере были два человека: один богатый остроумием, вкусом, ученостью, а другой с качествами противными».²⁰³

Отмечали «сей двоякий дух» вольтеровского творчества и авторы целого ряда русских и переводных сочинений различных жанров, вышедших в виде отдельных книг и брошюр.

Так, в сборнике «Старинный друг, возвратившийся из путешествия и рассказывающий все, что видел, слышал и чувствовал» утверждалось, что «приятность стихов сего писателя ни с чем сравнена быть не может», и в то же время выражалось сожаление, что «многие заблуждения, дерзкие и соблазнительные, вкрались в его сочинения; заблуждения, кои служили камнем преткновения для молодых, не утвердившихся в законе людей».²⁰⁴ В «Литеральном исповедании господина Вольтера» к «самовосхвалениям» всюду примешивалась «автокритика».²⁰⁵ Двойственная оценка была дана Вольтеру устами «человека в темном кафтане» в повести Н. П. Брусилова «Бедный Леандр, или Автор без риторики»²⁰⁶ и в «Письмах россиянина, путешествовавшего по Европе» Д. П. Горихвостова. «Вольтер, — писал он, — сделал влияние на сие столетие; если и много способствовал уничтожению суеверия и фанатизма, не менее и оскорбил религию, сеяв семена беззакония в обществе; он поколебал нравственность, поющуюся на религии».²⁰⁷

Таким образом, о безоговорочной защите Вольтера не помышлял в это время почти никто.²⁰⁸ Самое большее, на что решались, как правило, тогда его русские почитатели, было компромиссное разделение его наследия на «полезное» и «вредное», «хорошее» и «плохое». Как отмечалось выше, мнения на этот счет часто расходились, но все же наиболее типично было неприятие Вольтера-

²⁰³ Вестн. Европы, 1813, ч. 68, № 5—6, с. 52—53 (перевод отрывка из «Гения христианства» Шатобриана; перепеч.: Измайлов В. В. Переводы в прозе, ч. 1. М., 1819, с. 118—121); 1814, ч. 76, № 13, с. 22.

²⁰⁴ Старинный друг, возвратившийся из путешествия и рассказывающий все, что видел, слышал и чувствовал, ч. 2. М., 1802, с. 110.

²⁰⁵ Литеральное исповедание господина Вольтера. СПб., 1803 (частичный перевод сочинения С. Денрео де ля Кондамина «Soirées de Ferney, ou Confidences de Voltaire recueillies par un ami de ce grand homme», 1802; переводчик — Д. С. Болтин).

²⁰⁶ Брусилов Н. П. Бедный Леандр, или Автор без риторики. СПб., 1803, с. 30—31.

²⁰⁷ [Горихвостов Д. П.]. Письма россиянина, путешествовавшего по Европе с 1802 по 1806 год, кн. 2. М., 1808, с. 186—187.

²⁰⁸ В числе редких примеров такого рода — «описание жизни» Вольтера в «Истории XVIII столетия» (ч. 2. М., 1805, с. 301—302), восходившей к сочинению Д. Штевера «Unser Jahrhundert», и надпись к портрету Вольтера, принадлежащая А. Е. Измайлову, которая начиналась словами:

Великий это Арует
Историк, философ, поэт.

(Любитель словесности, 1806,
ч. 4, № 11, с. 157).

«философа» и сочувствие Вольтеру-«поэту». Под вольтеровской поэзией же в первую очередь понималась «Генриада».

Эволюция художественных вкусов не обесценила в сознании русских людей ни один из ведущих классических жанров. В частности, по-прежнему поэтов и любителей искусств привлекала к себе эпопея, о которой в 1800—1810-х гг. спорили с не меньшим воодушевлением, чем в середине минувшего века. Постоянно на страницах самых разных изданий возникали в это время имена Гомера и Вергилия, Лукана и Тассо, Камюэнса и Мильтона, Кантемира, Ломоносова, Тредиаковского и Хераскова, причем речь шла не об осмыслении опыта прошлого вообще, но об использовании его для решения насущных задач литературной жизни: к началу столетия относился целый ряд русских героических поэм, преимущественно о Петре Великом, о событиях Смутного времени, о походах Суворова и войне 1812 г. Важное место в этих дискуссиях об отечественной эпопее занимала «Генриада», больше других великих эпических поэм отвечавшая русским представлениям о героическом жанре. По той же причине не ослабевал в России интерес к вольтеровскому «Опыту об эпической поэзии», в котором своеобразие «Генриады» — по сравнению с аналогичными творениями, ей предшествовавшими, — получило историческое и теоретическое обоснование.

В 1802 г. появился первый полный перевод «Опыта» на русский язык, выполненный Н. Ф. Остолоповым, «студентом» Коллегии иностранных дел, впоследствии видным чиновником и культурным деятелем, а чуть позднее — новый (третий по счету) перевод «Генриады», принадлежавший И. И. Сирякову,²⁰⁹ преподавателю словесности в петербургском пансионе О. П. Жакино.²¹⁰

Много лет спустя Сиряков утверждал, что перевод его был начат и окончен в 1803 г. Но это не так: еще осенью предыдущего года он рассматривался Российской академией, «препоручившей» ознакомиться с его первой песнью гр. Д. И. Хвостову. Отзыв Хвостова, изложенный им в официальном письме от 31 октября 1802 г., был довольно уклончивым: он и не одобрял перевод, и не отвергал.²¹¹ Возможно, что некоторая неопределенность суждений Хвостова побудила непрямого секретаря академии обратиться к другому «сочлену» — А. А. Ржевскому, которому, в отличие от Хвостова, был передан для ознакомления «увраж полный». Изучив его, Ржевский сообщил (также в письменной

²⁰⁹ Генриада, эпическая поэма г. Волтера. СПб., 1803.

²¹⁰ См.: Рус. архив, 1867, кн. 4, № 10, стб. 1347—1348; 1885, кн. 3, № 11, с. 308, 312.

²¹¹ См.: Сухомлинов М. И. История Российской академии, вып. 7. СПб., 1885, с. 184.

форме) свое далеко не восторженное суждение: «Многие стихи слабы и не выработаны; стопосложение беспечно, и оттого стихи не плавны и не гладки; выбор слов во многих местах нерачительно делан; инде смысл жертвован рифмам. Многие выражения слабее оригинала, и местами не сохранен логический порядок слов, и это в некоторых местах ослабевает, а в других и затмевает смысл подлинника». Далее следовали частные возражения и примеры неточной передачи французского текста; более тщательно проанализировал Ржевский фрагмент первой песни («Призыв к Истине»), стихи которого «отдалялись от подлинника» особенно сильно. И тем не менее его конечный вывод не был уничтожающим. «Ежели переводчик, — говорилось в отзыве, — примет труд сличить с подлинником и просмотреть, поправит стихи и вычистит их с бóльшим прилежанием, то перевод будет не худ и достоин напечатать. Я думаю, что он с удовольствием примется от публики, тем паче, что это перевод знатного пера в поэзии; но чтоб поровнять перевод с подлинником, то нужно поприлежнее сличить их и потрудиться дать силу стихам».²¹²

Трудолюбием (но не талантом) Сиряков наделен был чрезвычайным. Он использовал все замечания «рецензоров» и, по-видимому, улучшал свой перевод почти до самого выхода в свет. Однако литературным событием «Генриада» в его интерпретации все-таки не стала. Пересозданная в соответствии с национальной традицией, архаизированная и «утяжеленная» по манере и языку, она ничем не выделялась на унылом фоне разного рода «русских эпопей» и ничему не научила отечественных поэтов, пробовавших силы в этом жанре. Недаром единственным откликом на труд Сирякова послужила язвительная эпиграмма К. Н. Батюшкова, где неудачливый переводчик был переименован в Ослякова.²¹³

Самую же поэму Вольтера оценивали тогда в основном очень высоко, причисляя ее к совершеннейшим творениям в эпическом жанре и всячески рекомендуя ее в качестве замечательного образца. Даже «Корифей», полагавший, что «Вольтер, конечно, не Вергилий», и находивший в «Генриаде» немало «ошибок», восхищался поэмой, равно как и ее «превосходным автором» — «великим мужем, который в продолжение шестидесяти лет был увеселением и дивом целой Европы». «Счастливые описания, прекрасные стихи, удивительные картины, — отмечалось в шестой книге издания, носившей имя музы эпической поэзии, — заслужат ваши похвалы. Множество высоких пассажей внушат вам энтузиазм. Какую великолепную картину представляет седьмая песнь! Поэт,

²¹² Там же, с. 114—115.

²¹³ На перевод «Генриады» или Превращенный Вольтер. — Цветник, 1810, № 2, с. 229—230. — Резкость этой оценки могла быть вызвана и какими-то воспоминаниями личного свойства: Сиряков был учителем Батюшкова в пансионе Жакино (см.: Батюшков К. Н. Соч., т. 1, кн. 1. СПб., 1887, с. 10—12).

кажется, проникает тайнства божества; он произносит самые священные истины, открывает самые отвлеченные системы философии, ни мало не теряя из виду красот поэтических». ²¹⁴

В рассуждении о древней и новой поэзии журнал «Аврора», признавая всю неповторимость «Илиады» и песнопений Оссигана, ибо они «суть отпечатки того времени, в которое они родились», утверждал, однако, что «с распространением культуры увеличились пределы, умножилась и важность поэтических предметов», а в качестве примера этой преобразованной и обогащенной эпопеи, эпопеи нового времени, называл «Генриаду» («Волтерова „Генриада“ — в руках всякого любителя поэзии») — и наряду с ней поэмы Хераскова. ²¹⁵

Вообще имена «славного сочинителя» «Россияды» и «Владимира» и «знаменитого певца Генриха» соседствовали в это время довольно часто, причем отнюдь не всегда в столь спокойном контексте. Так, призывая «соотчичей» обратить «особенное внимание» на «Россияду», потому что «она есть зеркало, в котором представляются знаменитые деяния предков наших, назидательные примеры великодушия, мудрости, храбрости, терпения, любви отечественной, изображенные живописною, важною кистью истинного россиянина и друга человечества, А. Ф. Мерзляков не мог не отметить с раздражением, что те же самые французы, «которые всегда желали иметь вредное влияние на все почти отрасли национальной нашей чести», отнеслись к появлению национальной эпопеи со значительно большим интересом: «О, как они радовались, когда у них показалась эпическая поэма „Генриада“! Сколько усилий употреблено было для того, чтобы ввести ее в малое число поэм эпических! Сколько знаменитых мужей писало и рго и contra!». И в то же время вынужден был признать, что «Россияда» далека от совершенства и в чем-то уступает ... поэме Вольтера. ²¹⁶

Аналогичным приемом воспользовался П. М. Строев, студент Московского университета, в 1815 г. издававший журнал «Современный наблюдатель российской словесности», с той только разницей, что его критика Хераскова была несравненно решительней и суровой; к Вольтеру же он относился весьма благосклонно и при всякой возможности противопоставлял его поэму «Россияде»,

²¹⁴ Корифей, или Ключ литературы, ч. 1, кн. 6. СПб., 1803, с. 171.

²¹⁵ Аврора, 1805, ч. 1, № 1, с. 39. — Ср. характерную формулу «Второй Лукан! Блистательный Волтер!» в стихотворной повести Е. П. Люценко «Габриель д'Этре» (Журнал для пользы и удовольствия, 1805, ч. 4, № 11, с. 116). Равновеликость Вольтера — творца «Генриады» — эпическим поэтам древности, а подчас и его превосходство, подтвержденное, в частности, тем, что поэма получила одобрение «в таком веке, который можно назвать веком вкуса», в свое время отстаивал Мармонтель в известном предисловии к изданию 1746 г. Русский перевод его был помещен в журнале «Аггала» (1808, ч. 3, кн. 3, с. 3—12).

²¹⁶ Амфион, 1815, кн. 1, с. 33, 35; кн. 2, с. 76. — Ср.: Труды Казанского общества любителей отечественной словесности, кн. 1. Казань, 1815, с. 62.

в которой находил «погрешности грубые и непростительные». Предпочтение, которое он оказывал Вольтеру, подтверждалось еще и тем, что после уничтожающего разбора «единственной русской поэмы „Россиады“» он поместил в своем журнале первую главу «Опыта об эпической поэзии», выразив при этом уверенность, что «сей отрывок без сомнения понравится читателям».²¹⁷

Дискуссия вокруг херасковских поэм продемонстрировала, следовательно, не разочарование в эпическом жанре как таковом, но настойчивое стремление обрести наконец русскую эпопею, ни в чем не уступающую лучшим европейским, среди которых «Генриада» считалась если не первой, то наиболее современной, а потому особенно достойной подражания. Этим и объясняется в известной мере обращение к «Генриаде» нескольких русских стихотворцев начала века — А. И. Шеллера,²¹⁸ А. А. Крылова,²¹⁹ М. В. Милонова,²²⁰ — «преложивших» три живописных и относительно законченных фрагмента соответственно восьмой, второй и десятой песен,²²¹ а также повторное издание в 1822 г. перевода Сиракова.

Думал об этом Сираков уже давно: сообщая читателям в январе 1812 г. возможный состав своего журнала «Муза», он упомянул в числе предполагаемых публикаций и «Генриаду», — разумеется, в собственном переводе, — а в открывавшем журнал «программном» стихотворении среди обитателей Парнаса назвал, между прочим,

... Гомера, брань троянскую,
И Волтера, славу Генриха,
В том соборе возвещающих.²²²

Но журнал вскоре прекратил свое существование, и лишь десятилетие спустя «вновь исправленный» перевод вольтеровской поэмы появился в свет.

Издание 1803 г. открывалось посвящением Александру I. Переиздавая перевод, Сираков его опустил, а «взамен» напечатал

²¹⁷ Современный наблюдатель российской словесности, 1815, ч. 1, № 1, с. 33; № 4, с. 91—102; № 5, с. 105—114. — По свидетельству С. Д. Полторацкого, автором перевода являлся (вопреки подписи «Александр Строев») П. М. Строев.

²¹⁸ Сев. Меркурий, 1811, ч. 9, № 3, с. 40—43.

²¹⁹ Труды Вольного общества любителей российской словесности, 1819, ч. 5, кн. 1, с. 51—55; перепеч.: Собрание образцовых русских сочинений и переводов. СПб., 1822, ч. 5, с. 308—315.

²²⁰ Благонамеренный, 1823, ч. 24, № 22, с. 259—264; перепеч.: Русские стихотворения, вышедшие в свет с 1823 по 1825 год, ч. 2. СПб., 1826, с. 186—190. — Перевод был выполнен раньше: Милонов умер в 1821 г.

²²¹ Еще один фрагмент «Генриады» — часть пятой песни («Климент-монах, или Ужасные следствия фанатизма») — был переведен, но в свет не появился из-за вмешательства цензуры. См.: Описание дел Архива Мин-ва нар. просвещения, т. 2. Пг., 1921, с. 14.

²²² Муза, или Собеседник любителей древнего и нового стихотворства и вообще словесности, 1812, янв., с. I, XXII, 36—37.

огромное предупреждение: то, что в начале 1800-х гг. не требовало никаких пояснений, в начале 1820-х нуждалось в подробной аргументации. Касалось это и обращения к «Генриаде», которая не вызывала теперь прежнего восторга даже у «парнасских староверов», и перевода, внушавшего ему немало серьезных опасений.

Особенно трудно было оправдать собственную переводческую манеру. Сиряков не сомневался, что превзошел обоих предшественников (т. е. Княжнина и Голицына), но в остальном успехов своих не переоценивал. Для «удержания ... всех красот изображений, всей силы выражений, всей игры воображения или парения гения стихотворства» переводчику, полагал он, требуются «врожденные и приобретенные способности, которыми блистал творец прелагаемого им произведения». На это Сиряков, разумеется, не претендовал. «Участь переводчика, — с грустью констатировал он, — подобна участи живописца, не с натуры предмет свой изображающего. Рафаил оставил превосходные опыты кисти своей; однако многие ли из славнейших подражателей ему, блиставших собственными произведениями, сравнили списки свои с его подлинниками, употребляя таковую же кисть и краски при переложении чувствами объемлемого?».²²³

Тем не менее свой основной переводческий принцип — всему предпочитать «верность мыслей» — Сиряков считал безусловно правильным; стремился он также по возможности переводить стих в стих; прочее же было в его представлении только «наружной красотой». Речь, правда, не шла о пренебрежении рифмой (как это было у Княжнина) или же размером — шестистопным ямбом (напротив, он даже включил в свое предисловие начало поэмы, переведенное прозой, белым стихом, «древним размером» и шестистопным ямбом — с очевидной целью доказать преимущество последнего), но «плавностию слога» он жертвовал постоянно. Не смущала его и чрезвычайная архаичность лексики, которая должна была теперь особенно обращать на себя внимание, и обилие инверсий, и совершенная ложность тона. Никто, думал Сиряков, не мог упрекнуть его в том, что ради «гладкого слова» он «уклоняется от оригинала» или же «поправляет и украшает самый подлинник», одновременное же решение всех этих нелегких задач было ему явно не под силу.

Впрочем, и то, что он попытался сделать, потребовало огромного многолетнего труда. Исправлению подверглась преобладающая часть стихов, преимущественно первых песен, хотя и к концу его энергия отнюдь не иссякла. Однако и на сей раз перевод «Генриады» не привлек к себе ничего внимания. Предисловие же к поэме явилось не столько манифестом, сколько подведением итогов — и для Сирякова, по-видимому в печати больше не выступавшего, и для русских переводчиков «Генриады» вообще.

²²³ См.: Генриада, эпическая поэма г-на Волтера. СПб., 1822, с. XLVI.

Наряду с «Генриадой» еще лишь одна вольтеровская поэма появилась в начале века на русском языке. Это был «Естественный закон», изданный в 1802 г. в Петербурге. Автором его принято (вслед за Сопиковым) считать А. А. Палицына, писателя и даровитого архитектора, главу известного в свое время на Украине литературно-художественного кружка, часто именовавшегося (по названию принадлежавшего Палицыну села Поповка в Сумском уезде) «Поповской академией».²²⁴ Но указание Сопикова не внушает доверия: оно не подтверждается перепиской участников кружка и в первую очередь письмами самого Палицына, обычно сообщавшего друзьям как об изданных, так и подготовленных и предстоявших ему трудах. С другой стороны, весьма сомнительно самое обращение Палицына именно к этой поэме. По своей манере его перевод, выполненный в прозе, без исправлений, дополнений и купюр, мало чем отличался от вышедшего пятнадцатью годами раньше «преложения» И. И. Виноградова; не знать же подобного факта Палицын не мог, ибо в литературе XVIII в. разбирался превосходно. С наибольшей отчетливостью свидетельствует об этом его «Послание к Привете, или Воспоминание о некоторых русских писателях моего времени», где так или иначе охарактеризовано большинство отечественных писателей и множество переводчиков, в том числе и переводчиков Вольтера. К самому же Вольтеру Палицын относился весьма сдержанно, упоминая его преимущественно как пример «чужеземного» писателя, получившего в России неоправданно широкую известность — в ущерб национальной культуре.

Несравненно сильнее Палицына привлекал Руссо. На это указывает опять-таки «Послание к Привете» и особенно его письмо от 30 января 1805 г., в котором содержится восторженный отзыв о переведенной им на русский язык «Новой Элоизе»: «Все, кроме невеж или ледяных сердец, согласны, что „Новая Элоиза“ столько выше всех в своем роде романов, как небо от земли».

Аналогичное отношение к великим французским просветителям обнаруживалось в русской печати начала века неоднократно. При всем пиетете к Вольтеру (иногда традиционном, иногда вполне искреннем) предпочтение все же часто отдавалось «жневскому философу», творчество которого больше отвечало умонастроениям эпохи. «Волтер, — писал в этой связи «Корифей», — так, как и Жан-Жак Руссо, сочинял тогда только, когда он возбужден был движением энтузиазма. По его словам, ничего прекрасного не рождало хладнокровие или неохотное расположение духа. Но энтузиазм, изливавшийся из сердца Руссова, выходил из головы Волтера; и самой жар его был жар подделанный, в котором искусство превосходило самую природу».²²⁵

²²⁴ См.: Сумцов Н. Ф. Культурный уголок Харьковской губернии (Поповская академия). — В кн.: Харьковский сборник, вып. 2. Харьков, 1888, с. 110—112. — См. также Киев. старина, 1887, т. 19, септ., с. 129.

²²⁵ Корифей, или Ключ литературы, ч. 1, кн. 6, с. 173.

Из подобной же точки зрения исходили и почти все другие русские литераторы, сопоставлявшие Вольтера и Руссо. «Малописателей, которые имели бы такое сильное, обширное влияние на свою нацию, какое Вольтер и Руссо имели на французов. Будучи весьма различны один от другого по характеру и образу мыслей, оба они умели, каждый особенным путем, с непреодолимой силою действовать на своих соотечественников. Первый просвещал ум, другой трогал сердце», — так начиналась, например, обширная «Параллель между Руссо и Вольтером», напечатанная в 1805 г. в московском журнале «Аврора». Последовательно, шаг за шагом прослеживая их деятельность, автор «Параллели» неизменно приходил к одному и тому же выводу: Вольтер велик, но Руссо выше Вольтера. Дифирамбом Руссо звучало даже противопоставление их имущественных состояний. «Вольтер жил и умер в недре неги и роскоши; Руссо! друг природы! ты жил и умер в ее объятиях!». ²²⁶

Почти то же самое утверждалось в другой «Параллели», переведенной П. А. Бужениновым из Мерсье и помещенной в шаликовской «Аглае»: Вольтер был рожден «с гением живым, блестящим, плодотворным», Руссо — «с гением глубокомысленным»; Вольтер был наделен умом более острым и гибким, Руссо — сосредоточенным и целеустремленным; он «занимался единственно изучением человека и средствами вызвать его к истинному счастью, к благим нравам, к добродетелям»; первый в своих сочинениях нередко проявлял непоследовательность, второй «с первого шагу утвердил свои основания, и все прочее его сочинения были их изъяснением». «Образ жизни их был также разительнейшею противоположностью». Словом, создатель «Эмилия» был истинным философом; между тем творец «Генриады» мог претендовать лишь на «титло» поэта. ²²⁷

Естественно, что именно в это время появились в русском переводе те полемические письма, которыми Вольтер и Руссо обменялись в 1755—1756 гг. в связи с выходом в свет трактата о происхождении неравенства и поэмы о гибели Лиссабона. В первом случае письмо Вольтера (равно как и ответ Руссо) было напечатано без всяких комментариев. ²²⁸ В другом — письмо Руссо (само по себе достаточно выразительное) было еще подкреплено антивольтеровскими замечаниями издателя, который, кстати, не пожалел даже воспроизвести содержащуюся в письме похвалу, мотивируя это тем, что Вольтера «хвалить, кажется, должно только за услуги его литературе и ни за одно деяние, ни за одно чувство сердца». ²²⁹

В примечаниях к этому письму заключался и своего рода спор с Руссо. По мнению издателя, и он в свою очередь был «до-

²²⁶ Аврора, 1805, т. 1, № 3, с. 179—204.

²²⁷ Аглая, 1808, ч. 3, кн. 2, с. 32—37.

²²⁸ Минерва, 1807, ч. 5, № 23, с. 81—87; ч. 6, № 38, с. 33—39.

²²⁹ Укр. вестн., 1817, ч. 7, кн. 7, с. 3—29; кн. 9, с. 271—283.

стоин порицаний», и в его философии обнаруживалось немало существенных «изъянов». Одновременная критика обоих великих просветителей для начала века — факт не такой уж редкий. Она присутствовала, например, в «Утренней заре» («Сон Вольтера», перевод с французского А. Квашнина-Самарина); с подобной же целью «Журнал для сердца и ума» поместил переводную статью «Вольтер и Руссо», а «Улей» В. Г. Анастасевича — фрагмент поэмы Лагарпа «Le Triomphe de la Religion», в переводе получивший привычное название «Сравнение Ж. Ж. Руссо и Вольтера».²³⁰

Впрочем, нередко Вольтеру все же отдавалось предпочтение: по сравнению с Руссо, принесшим «в недра общества серп равенства», он был значительно менее «опасен».

«...Ж.-Ж. Руссо, — говорилось в одной из статей «Российского музеума», — возмущил лучшие умы во Франции и в Европе. Пылкий дух женеваского философа, как заразительная болезнь, распространился между теми, которые по возвышенным мыслям и твердому характеру удалялись от Вольтеровой школы... Влияние Ж.-Ж. Руссо на умы своего века было действительнее Вольтерова, оно распространилось во все страны Европы и во все классы: ибо слог Вольтера может только быть оценен французами, а слог женеваского писателя с его красотами и пороками есть общий для всех народов».²³¹

С еще большей резкостью эту точку зрения выразил Батюшков в очерке «Нечто о морали, основанной на философии и религии» (впервые он тоже был напечатан в «Российском музеуме», затем его без ведома автора перепечатал «Сын отечества»). «Те моралисты, которые говорят сердцу, одному сердцу...», — писал Батюшков, — суть самые опаснейшие. Блеск остроумия исчезает, одно убедительное красноречие страстей или возбуждающее их оставляет в сердце свои глубокие следы, часто неизгладимые». И в качестве примера называл Руссо, «пламенные мечтания и блестящие софизмы» которого способствовали развращению умов больше, нежели чтение Вольтера: «один говорит беспрестанно уму, другой сердцу; один угождает суетности и скоро утомляет остроумием, другой никогда не может наскучить, ибо всегда пленяет, всегда убеждает или трогает; он во сто раз опаснее».²³²

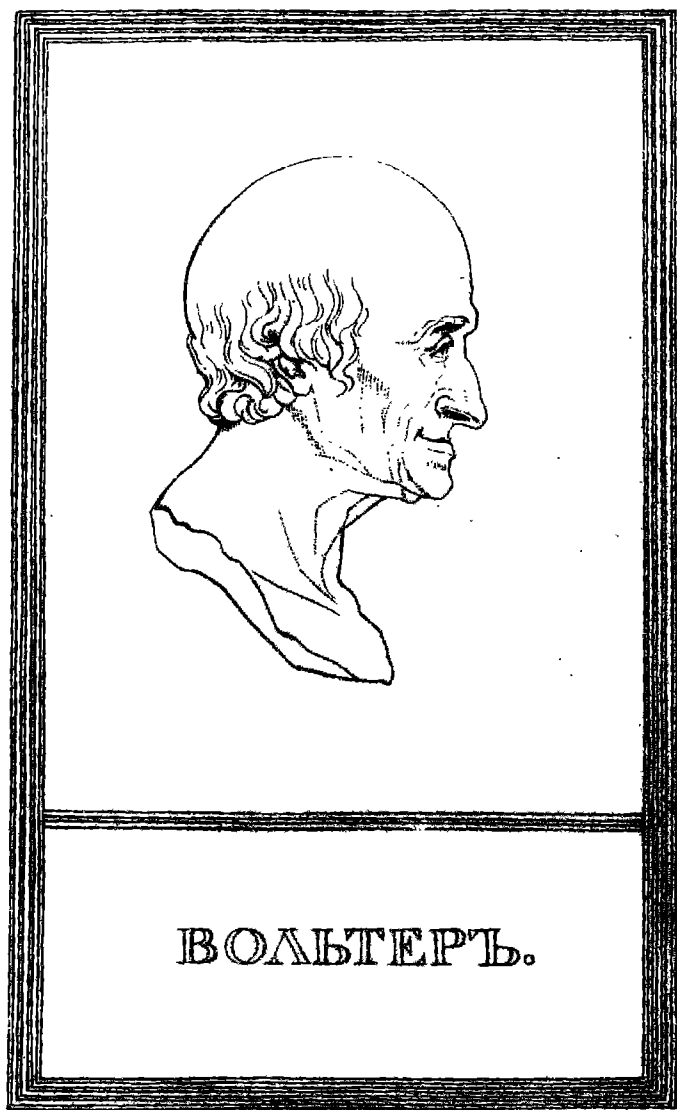
Не случайно тогда же появилось его «Путешествие в замок Сирей», где о Вольтере говорилось как о «славнейшем муже своего века», «чудесном», «единственном», который «все знал, все сказал» (здесь Батюшков воспроизводит известные слова Шатобриана).²³³ Творец «Заирь» восхищал Батюшкова; с волнением осматривал он «залу Вольтерову» в правом флигеле замка, любо-

²³⁰ Утренняя заря, 1806, кн. 4, с. 172—177; Журн. для сердца и ума, 1810, ч. 2, с. 77—83; Улей, 1811, т. 1, № 4, с. 256—260.

²³¹ Рос. музеум, 1815, ч. 1, № 1, с. 45—46.

²³² Там же, ч. 4, № 12, с. 238; Сын отечества, 1816, ч. 28, № 9, с. 83—84.

²³³ Очерк был написан как письмо к Д. В. Дашкову.



Вольтер. Гравюра И. И. Колпакова.
«Цветник», 1810, ч. 6. БАН.



*Самозванца блудливой. Меломановъ,
 Въ Афиахъ первая зрѣла въ отворѣхъ
 Ученъ былъ манеръ, какъ режиссу секретно.
 Ученъ горитъ, потасовкою, упрямство и мнѣ.*

Въ 1880 г. въ Москвѣ.

Въ 1880 г. въ Москвѣ.

Е. С. Семенова в роли Аменанды.

Гравюра Н. И. Уткина с рис. О. А. Кипренского.

вался из ее окон «приятным видом отдаленных гор, на которых потухали лучи вечернего солнца». При этом он предавался «сладким воспоминаниям о жителях Сирей, которых имена принадлежат истории, которых имена от детства нам были драгоценны».

Подобное признание вполне соответствовало истине. Воспитанник М. Н. Муравьева, Батюшков с юных лет высоко ценил Вольтера (достаточно вспомнить его послание «К Филисе»), превосходно знал многие его произведения и цитировал их в своих сочинениях и письмах, защищал его от нападок врагов. К 1810 г. относится также батюшковский перевод эпиграммы Вольтера «*Sur les sacrifices à Hercule*», восходившей к Антипатру Фессалоникскому. Однако нельзя не заметить, что, воссоздавая свою поездку в замок «божественной Эмилии» (совершенную во время военной кампании 1814 г.), Батюшков уже не испытывал к Вольтеру прежних чувств. Разочарование в духовном наследии минувшего века сказалось и на его оценках вольтеровского творчества (к которому, впрочем, он не перестал обращаться):²³⁴ Вольтеру-мыслителю, подобно многим соотечественникам, Батюшков противопоставляет теперь Вольтера-поэта, философским его сочинениям — «послания к славным современникам и те бессмертные стихи, для которых единственно простит его памяти справедливо раздраженное потомство».²³⁵

Некоторые из этих «бессмертных стихов» получили у русских читателей известность с давних пор, другие — на протяжении 1800-х гг., преимущественно усилиями членов Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Наиболее ранние опыты такого рода были помещены в первом печатном издании общества — альманахе «Свиток муз». Их автором был А. Х. Востоков.

Собственно, возникли эти переводы еще до вступления молодого поэта в Вольное общество (его ввел туда товарищ по кадет-

²³⁴ См., например, его «запрос Азрамасу» в письме к П. А. Вяземскому от 4 марта 1817 г. — «Три Пушкина в Москве», — повторяющий схему вольтеровской эпиграммы «*Les trois Bernards*» (Батюшков К. Н. Соч., т. 3. СПб., 1886, с. 431, 740).

²³⁵ Там же, т. 2. СПб., 1885, с. 61—72. — «Путешествие в замок Сирей» было одним из немногих свидетельств интереса русских людей к замку маркизы дю Шатле (другой случай — «Стихи, писанные к Н. Н. Раевскому в городе Шомон из замка Сирей и из комнаты Волтера, февраля 1814 года» А. А. Писарева: Сын отечества, 1814, ч. 18, № 47, с. 61—62): как и прежде, их особенно притягивал к себе Ферней. Об этом см.: Алексеев М. П. К истории русского вольтерианства в XIX в. — В кн.: Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры. М.—Л., 1966, с. 302—308. — К сообщенным здесь материалам примыкают: фрагмент из «*Voyageurs en Suisse*» Э.-Ф. Лантье (Макаров П. И. Соч. и переводы. М., 1805, т. 2, с. 105—117; перевод: М., 1817, т. 3, с. 74—84), переводное «Письмо о Фернее» (Любитель словесности, 1806, ч. 2, № 5, с. 129—133), посвященные Фернею отрывки переводных же статей в «Вестнике Европы» (1808, ч. 42, № 23, с. 196—197; 1809, ч. 46, № 15, с. 182—191), а также заимствованный из «*Bibliothèque universelle*» очерк «Кабинет Вольтеров» (Дух журналов, 1817, ч. 21, кн. 29, с. 89—136).

скому корпусу Шубников осенью 1801 г.).²³⁶ Оба они, как явствует из дневника Востокова, датируются 1799 г., причем на основании того же источника можно заключить, что им предшествовало усиленное чтение Вольтера.²³⁷ Никому не известному воспитаннику Академии художеств трудно было рассчитывать на издание своих сочинений и особенно — в условиях павловского времени — на издание переводов из Вольтера. Лишь после мартовских событий 1801 г. (Востоков их встретил ликованием) они увидели свет: сначала «Похвала баснословию», а затем «Телема и Макар».²³⁸

Первая часть «Похвалы баснословию» представляла собой сравнительно точное воспроизведение французского текста; что же касается второй, направленной против католической церкви и христианской мифологии, в противоположность мифологии языческой, античной, то Востоков перевел ее весьма приблизительно из-за обилия конкретных намеков, но смысл и звучание не искажил. Три года спустя перевод этот появился снова в «Опытах лирических» — в сильно измененном виде. Особенно пострадала «опасная» вторая часть: из пятнадцати заключительных стихов не уцелело почти ничего; в подзаголовке же появилось уточнение: перевод стал только «подражанием Вольтеру».²³⁹ По существу подражанием явился и ритмический рисунок востокского перевода: помимо того, что чередование двенадцатисложного и восьмисложного стиха у Востокова превратилось в чередование шестистопного, четырехстопного и трехстопного ямбов, применение их часто не совпадало. Востоков ограничился сохранением общих контуров, не больше.

Иной принцип был положен в основу перевода сказочки «Телема и Макар», где Востоков использовал «разномерный стих» как средство передать изящество и легкость этого произведения Вольтера. Сплошному восьмисложнику оригинала в переводе соответствует целая «музыкальная симфония» (по определению самого Востокова), состоящая из шести-, четырех-, трех-, двух- и одностопных ямбических стихов. Подобный «образ стихотворства» — традиционный для сказочного и басенного жанров — позволил переводчику с большей полнотой осуществить свой замысел. С тем же намерением широко вводил он в свой перевод просторечие, в той или иной мере «воссоздававшее» естественность вольтеровского слога.

²³⁶ С. А. Шубников вступил в Вольное общество 21 сентября 1801 г. «представлением перевода из Вольтера Невтоновой философии» (Периодическое издание Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, ч. 1. СПб., 1804, с. 4).

²³⁷ См.: Заметки А. Х. Востокова о его жизни. СПб., 1901, с. 16—18.

²³⁸ Свиток муз, 1802, кн. 1, с. 85—90; 1803, кн. 2, с. 25—36.

²³⁹ См.: Востоков А. Х. Опыты лирические и другие мелкие сочинения в стихах. СПб., 1805, ч. 1, с. 65—67.

При перепечатке в «Опытах лирических»²⁴⁰ перевод этот был основательно переработан.²⁴¹ Но этим дело не ограничилось: ряд существенных исправлений появился и в переиздании 1821 г.,²⁴² — исправлений, свидетельствующих о настойчивом стремлении русского поэта усовершенствовать свой труд и по сравнению с «Опытами лирическими», и тем более по сравнению с текстом, некогда опубликованным во второй книжке «Свитка муз».

В том же самом выпуске альманаха был напечатан еще один стихотворный перевод из Вольтера, принадлежавший члену Вольного общества Д. Ф. Бринккену: басня «Пчелы», восходящая к «Басне о пчелах» Мандевилля.²⁴³ Как известно, под пером Вольтера этот знаменитый памфлет приобрел несколько иной, если не прямо противоположный смысл. Вместо признания человеческих пороков и даже преступлений необходимым условием развития и процветания современного общества Вольтер лишь допускал, что и отрицательный опыт может принести людям некоторую пользу: «С помощью ядов составляют превосходные лекарства, но не ядами поддерживаем мы наше существование». Между тем он с сочувствием говорил о трудолюбивых пчелах, с презрением — о трутнях и с удовлетворением — о постигшей их судьбе.

Такое перемещение акцентов придавало басне новое звучание, весьма далекое от первоначального, но отнюдь не менее острое. Эта острота и привлекла к ней, по-видимому, внимание Бринкена,²⁴⁴ а год спустя — Остолопова, переводом которого открывалось «Периодическое издание Вольного общества любителей словесности, наук и художеств».²⁴⁵ Несмотря на единый источник, в переводах этих было мало общего: Бринкен добросовестно следовал Вольтеру, Остолопов же расцвечивал картину на свой лад, хотя и не отступал от вольтеровского замысла. Лишь последняя фраза была добавлена им от себя и, так сказать, вопреки Вольтеру, которого несомненно отпугнула бы ее чрезмерная решительность: «Ах! скоро ли пчелам мы станем подражать?».

²⁴⁰ Там же, с. 59—64.

²⁴¹ Отклики см.: Любитель словесности, 1806, ч. 1, № 1, с. 79—80; Вестн. Европы, 1806, ч. 25, № 1, с. 42; см. также: Дмитриев И. И. Соч., т. 2. СПб., 1893, с. 185, 207.

²⁴² См.: Востоков А. Х. Стихотворения, кн. 1. СПб., 1821, с. 34—41.

²⁴³ Свиток муз, 1803, кн. 2, с. 120—121.

²⁴⁴ О Бринкене см.: Поэты-радищевцы. Л., 1935, с. 443—444. — Там же (с. 612) см. «Оду Александру I» С. А. Москотильникова (1801), в которой заключена восторженная характеристика Вольтера — защитника Каласа:

Великий Генриха певец,
Коснувшись глубины сердец,
Склонил Европу удивленну
Восстать противу общих зол:
Поставить истине престол,
Почтить природы власть священну.

²⁴⁵ Периодическое издание Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, ч. 1, с. 1.

В следующем году на страницах близкого к Вольному обществу «Журнала российской словесности» Остолопов напечатал перевод другого вольтеровского стихотворения — язвительной эпиграммы на Фрерона.²⁴⁶ Позднее ее же перевел В. Л. Пушкин, один из самых горячих в свое время почитателей Вольтера и, в частности, «Кандида».²⁴⁷ Эпиграмма В. Л. Пушкина (опубликованная в 1808 г. в «Вестнике Европы»)²⁴⁸ позволяет, впрочем, предположить его знакомство и с использованной Вольтером эпиграммой Ля Мартиньера «Un gros serpent mordit Aurèle». (Впоследствии по тому же пути пошел Б. М. Федоров в своем «подражании французской эпиграмме Волтера», озаглавленной им «Змей и клеветник».)²⁴⁹

Несколько вольтеровских стихотворений появилось на протяжении 1800-х гг. в других московских журналах. В 1803 г. в «Новостях русской литературы» под названием «Три способа» увидел свет перевод сказочки «Les trois manières», сделанный А. А. Пи-

²⁴⁶ Журн. рос. словесности, 1805, ч. 1, кн. 2, с. 112. (В этом выпуске предполагалось также опубликовать перевод эпиграммы на Лефран де Помпиньяна, но она подверглась «полному запрещению», — см.: Описание дел Архива Мин-ва нар. просвещения, т. 2, с. 13). В этом журнале — одном из интереснейших периодических изданий начала века — был помещен, кроме того (ч. 1, кн. 1, с. 29—37, кн. 2, с. 89—97), ряд извлечений из «Вопросов в связи с Энциклопедией»; там же (кн. 3, с. 126—139) появились критическое обозрение русской литературы «Путешествие в Храм вкуса», по признанию автора — «слабое подражание Вольтеру» (т. е. «Храму вкуса»), и перевод надписи к статуе Амура, сделанный А. П. Беницким (ч. 2, кн. 6, с. 90), перепечатанный в «Талии» (1807, кн. 1, с. 126) и «Опыте русской анфологии» (СПб., 1828, с. 126).

²⁴⁷ См. его признание в послании к Дашкову:

...с восхищением читал я Фукидида,
Тацита, Плиния и, признаюсь, «Кандида».

(Пушкин В. Л. Два послания. СПб., 1811, с. 7).

Признание это явилось ответом на выпад А. С. Шишкова в связи с выходом послания В. Л. Пушкина к В. А. Жуковскому (Цветник, 1810, ч. 8, № 12, с. 357—363). «Сии судьбы и стихотворцы, — писал Шишков, — в посланиях своих взывают к Виргилиям, Гомерам, Софоклам, Еврипидам, Горациям, Ювеналам, Саллустиям, Фукидидам, затвердя только имена их, и, что всего удивительнее, научась благочестию в „Кандиде“ и благонаравию в парижских переулках, с поврежденным сердцем и помраченным умом вопиют против невежества и, обращаясь к теням великих людей, толкуют о науках и просвещении!» (Шишков А. С. Рассуждение о красноречии Священного писания. СПб., 1814, с. 106). При подготовке собрания стихотворений В. Л. Пушкина в 1822 г. упоминание «Кандида» явилось причиной цензурных придиорок, в результате которых послание к Дашкову пришлось изъять (см.: Плетнев П. А. Соч. и переписка, т. 3. СПб., 1885, с. 385). В защиту Вольтера В. Л. Пушкин выступал и позднее, в неоконченной поэме «Капитан Храбрый» (1828—1829), где противопоставлял его и Расина кумирам нового направления — Шекспиру и Гёте (Поэты 1790—1810-х гг. Л., 1971, с. 691).

²⁴⁸ Вестн. Европы, 1808, ч. 41, № 17, с. 51; перепеч.: Опыт русской анфологии, с. 149.

²⁴⁹ Федоров Б. М. Опыты в поэзии. СПб., 1818, с. 133.

саревым.²⁵⁰ Перевод этот представлял собой интересную попытку передать метрическое разнообразие французского стихотворения (двенадцатисложник, восьмисложник, двенадцатисложник, десятисложник, восьмисложник) при помощи ямбического и хорейского стиха, а также дактиля. Столь характерная для этой сказочки смена настроений в русском переводе обозначалась, следовательно, с еще большей отчетливостью, нежели у Вольтера: эпическому тону рассказа Аглаи соответствует шестистопный ямб, игривому тону рассказа Теоны — четырехстопный хорей; что же касается истории Агамисы, то, по мысли переводчика, «для такого рода печального повествования» приличнее всего был «чистый дактиль».²⁵¹

В 1806 г. ряд мелких вольтеровских стихотворений напечатал плодовитый поэт и переводчик Б. К. Бланк. Все они появились в «Московском зрителе» П. И. Шаликова. В большей степени руссоист, чем вольтерьянец, Шаликов, однако, с немалым сочувствием относился и к «фернейскому жителю», у которого, между прочим, заимствовал предпосланный изданию эпиграф: *«S'occuper c'est savoir jouir»*. Стихотворения, переведенные Бланком, принадлежали к числу изящных «безделок» или приближались к ним по содержанию и поэтической манере, что вполне отвечало направлению журнала. Показательно, что здесь же присутствовала и первая строфа послания к г-же Дени, звучание которой — вне контекста — оказывалось почти руссоистским.²⁵²

К этому же времени относится распространявшийся в многочисленных списках стихотворный перевод «Орлеанской девственницы», создателем которого был Д. В. Ефимьев — «полковник Ефимьев», как его часто называли.²⁵³ В противоположность своему предшественнику — автору прозаического перевода — Ефимьев обращался с французским текстом весьма свободно, пренебрегая второстепенными подробностями, непонятными русскому читателю реминисценциями и не представлявшими для него интереса именами. Целью Ефимьева было сохранить вольтеровскую манеру повествования, передать столь характерную для поэмы непринужденность тона. И это ему удалось — если не в полной, то в значительной мере, в первую очередь с помощью широкого использования просторечий и разговорных оборотов, столь харак-

²⁵⁰ На принадлежность перевода Писареву указал он сам в собранных им «Калужских вечерах» (ч. 1. М., 1825, с. 168), где этот ранний его литературный опыт был напечатан в новой редакции, отличавшейся от первоначальной, помимо заглавия («Три средства»), главным образом большей точностью и большей современностью языка. В этой связи см.: Дамский журн., 1825, ч. 11, № 22, с. 157.

²⁵¹ См.: Новости рус. лит., 1803, ч. 6, № 28, с. 38.

²⁵² См.: Моск. зритель, 1806, ч. 2, № 4, с. 60—61; № 6, с. 62; ч. 4, № 10, с. 66—67; № 11, с. 59—60.

²⁵³ См.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974 год. Л., 1976, с. 85—86.

терных для русской прои-комической поэмы, на опыт которой он несомненно опирался.

Перевод Ефимьева был прерван его смертью (1804) на середине одиннадцатой песни и, следовательно, не мог заменить старый, прозаический. Отсюда их длительное сосуществование,²⁵⁴ прекратившееся, по-видимому, лишь на рубеже 1830—1840-х гг., когда прозаический перевод совершенно устарел. Но и перевод поэтический вскоре начал терять свою привлекательность, причем интерес к нему не возродился даже после того, как его продолжил и завершил И. В. Стремоухов.²⁵⁵ Из живого литературного явления труд «полковника Ефимьева» постепенно превращался в «памятник» — образец отечественного вольномыслия начала века.

В 1810-х гг. отвлеченные другими произведениями и именами переводчики обращаются к вольтеровской поэзии редко. Так, в 1811 г. в журнале «Улей» был помещен анонимный перевод стихотворения «Ты и Вы»,²⁵⁶ а в самом конце десятилетия в «Украинском вестнике» — перевод послания к Гельвецию (четвертой «речи о человеке»), тщательно выполненный неким Н. Давыдовым из Суджи²⁵⁷ — в отличие от подражания ему, принадлежавшего перу М. В. Милонова. Не исключено, что перевод Давыдова явился своеобразным состязанием с Милоновым, послание которого было переиздано в самом начале 1819 г.: обращенное к Н. Ф. Грамматину, это дидактическое послание заключало в себе, наряду с точнейшим воспроизведением вольтеровских стихов, мотивы национальные (под «Горацием наших дней» подразумевался, например, Ломоносов) и автобиографические (упоминание Дона, протекающего неподалеку от его родного Воронежца; навешенные Вольтером заявления вроде «я хладным более кумирам не служу» и т. п.). Некоторые же из признаний Вольтера Милонов изложил в третьем лице, словно повторяя традиционную характеристику французского поэта, столь часто обвинявшегося в постыдной склонности к идейным компромиссам.²⁵⁸

Так складывалась судьба в русской литературе начала XIX в. вольтеровской поэзии в тесном смысле этого слова. Однако, противопоставляя Вольтеру-философу Вольтера-поэта, русские люди

²⁵⁴ В этой связи см. любопытную запись от 12 янв. 1835 г. некоего И. Еремеева, который, окончив переписку «старого» перевода и добавив к нему одну песнь из перевода «нового», заметил: «Очень жаль, что этой знаменитой поэмы переведено полковником Ефимьевым только десять песней такими прекрасными и звучными стихами, а мне удалось списать одну пятую песнь» (ГПБ, ф. 341, № 419, л. 143).

²⁵⁵ Один из списков перевода Стремоухова (сделанного в начале 1850-х гг.) см.: ЦГАЛИ, ф. 1346, оп. 1, № 132. — Сведения об этом переводе см.: там же, л. 111—113.

²⁵⁶ Улей, 1811, ч. 1, № 3, с. 224—226.

²⁵⁷ Укр. вестн., 1819, ч. 16, кн. 12, с. 343—358.

²⁵⁸ См.: Милонов М. В. Сатиры, послания и другие мелкие стихотворения. СПб., 1819, с. 215—222.

как правило имели в виду и его драматургию. В их сознании он был величайшим трагическим поэтом «осмнадцатого столетия» и одним из самых великих трагических поэтов вообще.

К началу XIX в., несмотря на неослабный интерес в России к трагедийному жанру, Вольтер был представлен в репертуаре русского театра весьма скромно. Это были все те же издавна утвердившиеся на театральных подмостках «Магомет» Потемкина и «Альзира» Карабанова, который время от времени подновлял свой перевод, тем самым продлевая его сценическую жизнь. Не изменилась картина и сразу после 1801 г.: в этот период по-прежнему ставились лишь две названные трагедии.²⁵⁹

Наибольший резонанс получило возобновление 17 апреля 1806 г. «Альзиры»: всяческих похвал удостоились и «прекрасное произведение Вольтера», и его «образцовый» перевод, и его исполнение на петербургской сцене с участием А. Д. Каратыгиной и А. С. Яковлева.²⁶⁰ Актриса особенно трогала своей игрой в первом явлении третьего действия, «где Альзира обращается к тени Замора, почитая его убитым на сражении, и просит простить ее, что она склонилась на брак с Гусманом», в четвертом явлении «при свидании с Замором, где не можно было удержаться от слез, когда она произнесла стихи:

О! небо! поступь, глас и все его черты —
Замор!... лишаюсь чувств, померкли очи сныры»

и в некоторых других. «Отменно хорошо» играл и Яковлев, воодушевленный «представляемым им лицом». Он произносил стихи с необычайным жаром, «развивая и беспрестанно переменяя приемы и выражения роли, увлекаясь разными положениями, разными страстями, в которых автор „Альзиры“ поставил Замора». То исторгая у зрителей слезы сострадания, то заставляя их возмущаться и негодовать, он с «удивительной силою» передавал в одном случае «трогательное простосердечие» и «едкую сатиру», в другом — скорбь, в третьем — гнев, ужас и т. д.²⁶¹

²⁵⁹ Не исключено, что старый перевод «Магомета» собирался заменить собственным Д. И. Хвостов: в 1805 г. он напечатал в своем журнале «Друг просвещения» (ч. 4, № 10, с. 11—12) фрагмент 5-й сцены 2-го акта. Там же (1806, ч. 3, № 8, с. 93—95) под заглавием «Пиндарическая галиматия» был помещен его весьма неуклюжий перевод вольтеровской «Ode sur le Carrousel de l'Impératrice de Russie» (первоначальное название — «Galimatias pindarique de Catherine Vadé sur le Carrousel de l'Impératrice de Russie»), сделанный за много лет до того. Позднее перевод вошел в сборник «Разные стихотворения графа Хвостова» (т. 5. СПб., 1827, с. 52—55), равно как и самый его ранний перевод из Вольтера — мадригал г-же дю Шатле (там же, с. 261, 299).

²⁶⁰ См.: Любитель словесности, 1806, ч. 2, № 4, с. 82.

²⁶¹ Лицей, 1806, ч. 2, кн. 1, с. 108—111.

Не менее удачно исполнял Яковлев роль Магомета. По свидетельству Жихарева, присутствовавшего на представлении этой трагедии в петербургском Большом театре 17 мая 1807 г., «с первой сцены и до последней он был совершенным Магометом, то-есть каким создал его Вольтер», «с первой сцены и до последней он казался какой-то олицетворенною судьбою, неотразимою в своих определениях: что за величавость и благородство во всех его телодвижениях! что за грозный и повелительный взгляд! Какая самоуверенность и решительность в его речи! Словом, он был превосходен...». В совершенстве, опять-таки по мнению Жихарева, понял он и сыграл «одну из труднейших для актера» первую сцену с Зофиром, иными словами — 5-ю сцену 2-го акта.²⁶² «Очень хорошо» играли и другие исполнители главных мужских ролей — Н. Д. Сахаров (Зофир) и Е. П. Бобров (Омар). Сеида и Пальмиру «представляли» обычно А. Г. Щеников и А. Белье, сильно уступавшие Яковлеву по масштабу дарований, но обладавшие в достаточной мере непеременимыми, с точки зрения тогдашней критики, актерскими качествами — «оригинальностью» и «страстью».²⁶³

Трагедия эта появлялась в репертуаре и позднее, главным образом на московской сцене,²⁶⁴ с участием Яковлева, а также П. А. Плавильщикова (Зофир), С. Ф. Мочалова (Сеид), М. С. Воробьевой (Пальмира). По воспоминаниям М. Н. Макарова, в «Магомете» Плавильщиков «превзошел самого себя», в последних же сценах «показал себя великим русским актером», а Воробьева «произвела общий восторг».²⁶⁵

И все же интерес к этим трагедиям постепенно ослабевал. Особенно отчетливо проявилось это в отзывах о «Магомете». Один из них представлял собой сообщение о «гонениях», которые «терпит» эта трагедия от главного «ругателя» Вольтера в первые годы века — аббата Жоффруа, о «неуспехе» ее у французского зрителя (что объяснялось «множеством недостатков, которых никакое очарование теперь уже не закрывает») и т. п.²⁶⁶ Другой — отклик на очередное возобновление «Магомета» в Москве (1811). Весьма проницательное изложение трагедии, содержавшее всевозможные упреки и неодобрительные замечания, оканчивалось настоящей филиппикой против «фанатизма в ли-

²⁶² Жихарев С. П. Записки современника. М.—Л., 1955, с. 527—528.

²⁶³ Любитель словесности, 1806, ч. 2, № 5, с. 177—178; ч. 3, № 7, с. 80—81; Липец, 1806, ч. 3, кн. 1, с. 97—98.

²⁶⁴ Попытки сыграть «Магомета» была сделана также в Казани (антреприза П. П. Есипова), но появление на сцене «пророка» привело в смятение находившихся в театре мусульман, и трагедия была снята с репертуара. См.: Спутник по Казани. Под ред. Н. П. Загоскина. Казань, 1895, с. 395.

²⁶⁵ Макаров М. Н. Московский театр в последние годы прошлого и в начале текущего столетия. — Лит. газ., 1840, № 25, с. 579, 584.

²⁶⁶ Вестн. Европы, 1809, ч. 44, № 5, с. 55—57.

тературе»: «...одержимые им слабые и горячие головы в творениях Вольтеровых видят одни только красоты, не дерзая мыслить, чтобы в них были недостатки и погрешности».²⁶⁷

Сходным образом в начале 1810-х гг. воспринималась «Альзира». В статье о спектакле, состоявшемся на московской сцене 5 ноября 1811 г., приводились уничтожающие суждения «нынешних французских критиков», которые называют «Альзиру» «самою посредственною трагедиею, надутою, наполненною пустыми звуками», а затем констатировалось, что «публика приняла эту Вольтерову трагедию очень равнодушно». Показателен также заключенный в статье суровый отзыв об исполнении актрисой Пановой главной роли, для которой «потребно» было «более простоты и свободы, а менее затейливости в изменениях голоса и в телодвижениях».²⁶⁸

Но охлаждение к этим трагедиям отнюдь не распространялось на театр Вольтера в целом: рубеж 1800—1810-х гг., напротив, ознаменовался даже значительным пополнением вольтеровского репертуара. Именно в это время русский зритель смог ознакомиться с «Китайским сиротой», «Танкредом», «Заирой», «Меропой» и «Семирамидой».²⁶⁹ Впрочем, каждая из названных пьес имела свою литературно-театральную судьбу, обусловленную, помимо целого ряда второстепенных, а подчас и случайных

²⁶⁷ Там же, 1811, ч. 58, № 13, с. 67.

²⁶⁸ Там же, ч. 60, № 22, с. 151—152. — Имя Карабанова в рецензии не упоминалось, а выпущенное им в 1811 г. третье издание трагедии с утешительным подзаголовком — «противу первых в некоторых местах исправленное» (кстати, это соответствовало действительности: новая редакция отличалась от предшествующей большей современностью языка и отработанностью перевода) — не вызвало никаких откликов, за исключением четырех стихов в послании Воейкова к Дашкову, по смыслу и тону сходных с приведенной выше эпиграммой Крылова:

Вот здесь Альзира слезы льет:
Ее свирепый нрав Гусманов
Не мучит так, как перевод,
Который сделал Карабанов.

(Современник, 1857, т. 62,
№ 3, с. 88).

С этим четверостишием перекликается экспромт, произнесенный В. Л. Пушкиным после представления «Альзиры» (в карабановском переводе) на любительской сцене в доме С. С. Апраксина, в Москве:

Альзиру видел я, Гусмана и Замора —
Умора!

(Вяземский П. А. Полн. собр. соч.,
т. 8. СПб., 1883, с. 471—473; Жихарев С. П. Записки современника,
с. 614).

²⁶⁹ Кроме того, «Московские ведомости» (1808, 23 мая, № 42 и др.) объявляли о переводе трагедии «Законы Миноса» — «дабы кто другой не мог напрасного труда иметь», — но перевод этот в свет не появился.

обстоятельств, ее своеобразием, ее «манерой» и, конечно, характером ее перевода.

«Китайский сирота» разочаровал петербургскую публику: на фоне триумфов Озерова трагедия казалась почти «пережитком прошлого»; ей недоставало лиризма, в ней едва слышался «голос сердца», и действие ее было слишком растянутым и монотонным.²⁷⁰ Сознавая это, А. А. Шаховской — переводчик трагедии на русский язык — пытался несколько «улучшить» ее, преобразовать в соответствии с духом времени: он опустил многие десятки строк, изъясил несколько мелких эпизодов, разбил с помощью реплик ряд особенно пространственных сцен, а в одном случае приоткрыл к четырем вольтеровским стихам довольно длинное продолжение — эффектный монолог Идаме, в котором весьма рельефно выразил смятенность ее чувств и силу терзающих ее душевных мук.²⁷¹

Однако усилия Шаховского не принесли сколько-нибудь ощутимых результатов. По словам П. Н. Арапова, «пизза претерпела падение». Способствовала этому и актерская игра: «Когда по опущении занавеса начали вызывать Яковлева и он вышел, несколько голосов закричали Валберхову; но в то же время многие стали шикать, и лишь только показала эта молодая актриса, раздался крик „не надо!“».²⁷² Дело не обошлось, конечно, без театральных интриг (Шаховской, в частности, оказывал неумеренно энергичное покровительство М. И. Валберховой), но, по видимому, сценическое воплощение трагедии было весьма несовершенным. Недаром критик, посвятивший этому новому «русскому спектаклю» большую статью, отметил сухость исполнения главной женской роли Валберховой, а также роли Замфи Н. Д. Сахаровым. Даже Яковлеву с его необузданным актерским темпераментом, по мнению рецензента, следовало «во многих местах, а особливо в явлениях с Идамиею, говорить с бóльшим жаром».²⁷³ (На это обвинение Яковлев ответил в «Северном Меркурии», обнаружив несравненно более глубокое понимание своей задачи, чем мысливший несколько односторонне, хотя и вполне современно, рецензент).²⁷⁴

Таким образом, исполнители не только не поддержали Шаховского, который стремился в первую очередь сообщить вольтерской трагедии бóльшую чувствительность, но и не передали

²⁷⁰ Примечательно, что, вступая под впечатлением от этих триумфов на драматическое поприще, престарелый Г. Р. Державин в своей трагедии «Ирод и Мариамна» (1807) также попытался «улучшить» Вольтера, которого, кстати, называл «знаменитым писателем» и «славным трагиком». См.: Державин Г. Р. Соч., т. 4. СПб., 1867, с. 214—216.

²⁷¹ Китайская сирота. Трагедия в пяти действиях, в стихах. Список 1808 г. (ТБ, I. III. 2. 82, л. 58 об.).

²⁷² Арапов П. Н. Летопись русского театра. СПб., 1861, с. 190—191.

²⁷³ Цветник, 1809, ч. 1, № 2, с. 284—291.

²⁷⁴ См.: Сев. Меркурий, 1809, ч. 1, № 3, с. 225—227.

того, что было в ней заключено. После нескольких спектаклей «Китайский сирота» надолго исчез из репертуара.²⁷⁵ «Китайский сирота», но не Вольтер: 8 апреля 1809 г. на той же самой сцене был впервые представлен «Танкред».

В истории французской драматургии и театра «Танкред» явился поистине выдающимся событием. Средневековый рыцарский сюжет (заимствованный из «Неистового Роланда»), величайший накал возвышенных страстей, живописность, стремительность ритма, нарушение единства места, наконец широкое использование перекрестных рифм, — все это в глазах современников делало трагедию произведением весьма необычным и смелым.

К началу XIX в. художественное новаторство Вольтера в этой трагедии сильно потускнело, но оно ощущалось и теперь.²⁷⁶ Не случайно, приступив в 1807 г. к ее переводу, Н. И. Гнедич прервал работу ради «Короля Леара», осуществил этот свой замысел, а затем немедленно вернулся к Вольтеру. Никакого противоречия здесь не было: направление поисков Гнедича оставалось неизменным.

Впрочем, сквозь призму Шекспира (в адаптации Дюсиса) «Танкред» должен был показаться Гнедичу все же несколько архаичным. Этим, быть может, и объясняется произведенное им «усовершенствование» трагедии Вольтера, состоявшее главным образом в изъятии «лишних» стихов и вообще в «сокращении» разговоров, которыми «часто, как признали и французские критики, охлаждается ход сей трагедии, писанной Вольтером уже в старости».²⁷⁷ В русском переводе пьеса стала еще более динамичной и театральной, чем в оригинале. Вместе с тем особую актуальность приобретали воплощенные в ней (и слегка усиленные Гнедичем) патриотические и гражданские мотивы. Отечество, народ, свобода, воля, тиранизм, раб, мститель — эти и им подобные слова, равно как и чеканные стихи-афоризмы вроде: «Умрем, не потерпев властителя над нами!», «Для благородных душ как родина священна», «Умрем или спасем отечество драгое», «Достоин или нет отечество того, но за него умру» и т. д., — не могли оставить русского зрителя равнодушным.²⁷⁸ Об этом свидетельствуют огромный успех трагедии «на театре» и появившиеся в этой связи в 1809 г. журнальные статьи.

²⁷⁵ См. в этой связи уничтожающую эпиграмму А. С. Хвостова (Рус. архив, 1863, № 12, стб. 895). Другая эпиграмма «К переводчику „Китайского сироты“», принадлежавшая П. А. Вяземскому, была написана позднее и явилась элементом его полемики с «Шутовским», разгоревшейся после появления «Липецких вод». (См.: Рос. музей, 1815, ч. 4, № 12, с. 235).

²⁷⁶ См.: Billaz A. Les écrivains romantiques et Voltaire. Essai sur Voltaire et le romantisme en France (1795—1830), t. 1. Lille, 1974, p. 9, 360—361, 370—374.

²⁷⁷ Танкред, трагедия в пяти действиях. Сочинение Вольтера. СПб., 1846, с. 51.

²⁷⁸ См.: Шмидт Х. «Танкред» Вольтера в переводе Н. И. Гнедича. — Учен. зап. ЛГУ, 1958, № 261. Сер. филол. наук, вып. 49, с. 142—154.

«Сия прекрасная трагедия представлена была в первый раз нашими актерами 8-го числа нынешнего месяца, — указывалось в апрельском выпуске „Цветника“. — Очень много понравилась она нашей публике, да и как не понравиться? Имя славного сочинителя давно уже всем известно; перевод не только что нимало не ослабил подлинника, но и придал ему новые красоты, по крайней мере ощутительные для русских, знающих свой язык; главнейшие лица представляли лучшие наши актеры: Танкреда г. Яковлев и Аменаиду г-жа Семенова (большая)». ²⁷⁹ По мнению рецензента, «г. Яковлев вникнул весьма хорошо в роль Танкреда. Поступь его, осанка, разговор, телодвижения, все показывало в нем героя, каким должен быть Танкред». Еще больше восхитила его Семенова, которая «растрогала совершенно сердца зрителей своею игрою, а особливо в 5 действии». Но, с его точки зрения, в этом было нечто большее, нежели просто успех двух замечательных русских актеров: это была их победа (вернее — первая победа) в состязании с выступавшими тогда в Петербурге соотечественниками Вольтера — признанными истолкователями его театра. ²⁸⁰

Для Гнедича успех трагедии был двойной удачей: он являлся также учителем Семеновой, «внушившим» ей многие черты ее искусства — эмоциональность, естественность, психологическую глубину. ²⁸¹ Однако на первых порах торжество Гнедича-поэта оказалось все же более полным. В спектакле критики усматривали ряд серьезных недостатков, между тем о переводе все без исключения писали в самых восторженных тонах, утверждая, что «г. переводчик получил сим трудом своим полное право на признательность любителей отечественной словесности» и что «перевод его очень хорош ... не слабее подлинника и даже в иных местах лучше и сильнее», а также что «желательно бы иметь больше подобных переводов на нашем театре». ²⁸²

В дальнейшем перевод Гнедича почти не обсуждался. В центре внимания находились актеры, игра которых подробно разбиралась, а подчас и служила источником поэтического вдохновения. Так, Семеновой в роли Аменаиды посвятили дифирам-

²⁷⁹ Дебютировала Семенова в 1803 г. в «Нанине» (см.: Арапов П. Н. Летопись русского театра, с. 161), которую продолжали изредка ставить тогда в слегка подновленном переводе Богдановича. Кроме того, в 1807 г. был напечатан перевод, сделанный в прозе Н. Куниным, который сообщил этой пьесе столь модную в ту пору «чувствительность». Несколько раз в 1806—1807 гг. на петербургской сцене давалась и другая вольтеровская комедия — «Шотландка» (см. «Журнал театральный» А. В. Каратыгина: ПД, ф. 265, оп. 7, № 20, л. 4; № 32, л. 5 об.; № 33, л. 3 об.).

²⁸⁰ См.: Цветник, 1809, ч. 2, № 4, с. 139—143.

²⁸¹ См.: Родина Т. М. Русское театральное искусство в начале XIX века. М., 1961, с. 242—264.

²⁸² Цветник, 1809, ч. 2, № 4, с. 144; Сев. Меркурий, 1809, ч. 2, № 4, с. 68.

бические стихотворения Нелединский-Мелецкий и одновременно Д. И. Вельяшев-Волынцев,²⁸³ Мочалову в роли Танкреда — Я. И. Березников²⁸⁴ и т. п. Лишь в двух случаях речь шла непосредственно о гnedичевском переводе. В связи с постановкой «Танкреда» 7 февраля 1812 г. на московской сцене в «Вестнике Европы» было высказано несколько суровых замечаний (вполне понятных в свете антифранцузской позиции журнала) об этой трагедии и заодно о ее переводе,²⁸⁵ а четыре года спустя, когда Гнедич выпустил свой труд отдельным изданием, предварительно осуществив тщательную стилистическую правку,²⁸⁶ на это событие откликнулся «Сын отечества». Помещенный на его страницах отзыв принадлежал «сочувствователю», вольнолюбцу и стороннику новых эстетических идей. «Танкред» был для него «романтической трагедией»; именно поэтому, полагал он, Гёте, «записной враг французского театра», перевел ее на немецкий язык. Что же касается русского перевода, то «он отличается от других переводов сильным, но не рабским выражением красот подлинника: в нем трудился поэт, который переводил Вольтерову трагедию так, как написал бы ее по-русски. Он чувствовал достоинство подлинника, и высокие места его выражены им с отличным искусством и успехом».²⁸⁷

Приблизительно то же писал по этому поводу в «Русском инвалиде» одаренный критик романтической ориентации В. И. Козлов: «Г-н Гнедич умел сохранить пиитические красоты своего подлинника и с счастливейшим успехом выразил все сильнейшие и превосходнейшие места оного. При всем том перевод его не есть рабское переложение из стиха в стих, но мужественное соизнание с французским поэтом».²⁸⁸

Впрочем, и самый факт выхода в свет переводной трагедии тогда в какой-то мере означал ее признание. По крайней мере

²⁸³ См.: Вестн. Европы, 1812, ч. 62, № 5, с. 14—15.

²⁸⁴ См.: Благонамеренный, 1819, ч. 5, № 1, с. 67. — Ср. воспоминания А. Г. Глаголева об игре Мочалова в сцене вызова на поединок Орбассана: «Я помню величественное положение его головы, благородное движение руки, важный тон и гордый взгляд, исполненный презрения к сопернику» (Вестн. Европы, 1823, ч. 131, № 20, с. 262). Об исполнении роли Танкреда Я. Г. Брянским см.: Демокрит, 1815, ч. 1, с. 86—88.

²⁸⁵ См.: Вестн. Европы, 1812, ч. 61, № 4, с. 326—329.

²⁸⁶ См.: Бочкарев В. А. Русская историческая драматургия периода подготовки восстания декабристов (1816—25). Куйбышев, 1968, с. 46—49.

²⁸⁷ Сын отечества, 1816, ч. 33, № 41, с. 113—115. — В 1823 г. журнал подтвердил эту оценку: «Мы считаем излишним говорить здесь о красотах прекрасного перевода „Танкреда“: он известен всем просвещенным любителям словесности» (ч. 34, № 9, с. 80). Интереснейшим откликом на издание «Танкреда» являются также пометы К. Ф. Рыльева на его экземпляре трагедии, неоднократно приводившиеся исследователями (см.: Розанов И. Н. Книга с пометками К. Ф. Рыльева. — В кн.: Памяти П. Н. Сакулина. Сб. статей. М., 1931, с. 242—249; Цейтлин А. Г. О библиотеке Рыльева. — Лит. наследство, т. 59. М., 1954, с. 320, 325).

²⁸⁸ Рус. инвалид, 1816, 15 окт., № 242.

ни одна из вольтеровских пьес, поставленных в начале века на русской сцене, не удостоилась подобной чести. Не удостоился ее «Китайский сирота». Не удостоилась «Заира».

Совершеннейший образец соединения в трагедийном жанре просветительской философии и высокой чувствительности, единственная, по определению Вольтера, «трогательная» из созданных им и «самая необычная» из поставленных на французской сцене пьес (оба эти суждения датируются 1732 г.), «чарующая пьеса», по определению Ж.-Ж. Руссо,²⁸⁹ «Заира» пользовалась широкой известностью. Имена ее героев сделались почти нарицательными, а знаменитая реплика Оросмана «Zaïre, vous pleurez» — своего рода формулой, символом целой эпохи.

Все это в значительной степени относилось и к России, преимущественно последних лет XVIII в., но также и первых лет следующего, хотя в это время «сентиментальный род» нередко вызывал уже раздражение и насмешки. Иногда они распространялись и на «Заиру», которую находили многословной и слезливой, но преобладало все же сочувственное отношение к этой трагедии Вольтера, которая была «нежнее его прочих пьес» и опровергала распространенное представление, что «Вольтер имел сердце каменное, душу черствую».²⁹⁰

Разумеется, в 1809 г. трудно было рассчитывать на то, что трагедия будет сопровождаться, как это случилось на премьере и не раз происходило в дальнейшем, горестными криками и нервными конвульсиями присутствовавших в зрительном зале дам, но успех ее казался весьма правдоподобным; к тому же постановка была предпринята для первого бенефиса Е. С. Семенов. «Убийца сироты» — А. А. Шаховской (так позднее назвал его П. А. Вяземский), возглавлявший репертуарную часть петербургских театров, на сей раз пошел по более надежному пути.

Правда, он и теперь выступил как переводчик, но лишь одного — пятого акта. Второе действие перевел Гнедич, третье — М. Е. Лобанов, четвертое — С. П. Жихарев. Свой перевод первого акта передал театральной дирекции Ю. А. Нелединский-Мелецкий. Выполнен его перевод был давно; конечно, многократно им пересматривался и прежде всего поэтому, видимо, отличался в лучшую сторону от прочих, сделанных наспех, в кратчайший срок. Он являлся одновременно и самым тщательным, и самым полным: во всех остальных имелось множество погрешностей и сокращений, вызванных главным образом трудностями перевода. Однако в целом этот скороспелый мозаичный перевод все же вполне передавал элегическое звучание вольтеровской трагедии

²⁸⁹ Voltaire's Correspondence, vol. 2, № 478, 499; Rousseau J.-J. Oeuvres compl., t. 5. Paris, 1839, p. 45.

²⁹⁰ См.: Сочинения студентов Санктпетербургского педагогического института по части эстетики. СПб., 1806, с. 67; Липей, 1806, ч. 2, кн. 2, с. 68.

и в первую очередь ее чувствительность: «слезных токов» в переводе было едва ли даже не больше, нежели у Вольтера.²⁹¹

Весьма удачным оказался и спектакль, разученный и поставленный меньше чем за месяц: «Яковлев в роли Оросмана, — писал Арапов, — был великолепен; Лузиньяна играл Сахаров; роль Заиры Семенова исполнила прекрасно и была вызвана с торжеством; все высшее общество находилось в театре, и суждения о впечатлительной ее игре долго были предметом разговора в высших петербургских гостиных».²⁹² Сообщение это подтверждается другим, принадлежавшим Жихареву, которое, впрочем, касалось одного только Яковлева.²⁹³

В то же время автор обширной рецензии на спектакль (он состоялся 18 октября 1809 г.), помещенной в «Цветнике», высказал прямо противоположную точку зрения, хотя и он не отрицал успех «Заиры» у петербургского зрителя. «Роль Орозмана, — полагал он, — есть единственная из ролей, созданных гением, привлечшим к ней удивление всех просвещенных народов». Между тем Яковлев «совершенно не знал своей роли и не понимал ее». Из иронического разбора спектакля следовало, однако, иное: игра Яковлева была недостаточно рассудочной, недостаточно правильной и традиционной: «Для него ничто уже сведения и познания, ничто строгие правила вкуса и разума». Рецензенту казалось, что Яковлев уродует трагедию. На самом же деле он лишь придавал «Заире» еще больший драматизм, еще большую впечатляющую силу.²⁹⁴

Актерская интерпретация во многом обусловила также успех на русской сцене другой вольтеровской трагедии — «Меропы». Собственно, и самый перевод ее был предпринят С. Н. Мариним для Семеновой с целью поддержать ее в непрекращавшемся соревновании с премьершей французской драматической труппы м-ль Жорж. «Нежность» и «простота», отличительные особенности этой трагедии, не слишком соответствовали холодному искусству французской актрисы, которой свойственнее было «выражение сильных страстей», чем «томное, нежное, горестное выражение чувств». Дарованию же Семеновой роль Меропы позволяла раскрыться в полной мере.

Сколько-нибудь выдающимися литературными достоинствами перевод Марина не обладал, он был (по более позднему определению «Северного наблюдателя») «посредствен», и лишь отдельные стихи его могли произвести впечатление на зрителя сами по себе,

²⁹¹ См., например, список этого перевода в ТБ (шифр: I.V.I.19). О другом переводе «Заиры», над которым в конце 1810-х г. трудился Н. П. Свечин, см.: Вестн. Европы, 1820, ч. 112, № 13, с. 75—76.

²⁹² Арапов П. Н. Летопись русского театра, с. 194.

²⁹³ Жихарев С. П. Записки современника, с. 602.

²⁹⁴ Цветник, 1809, ч. 4, № 11, с. 237—252. — В связи с возобновлением «Заиры» в 1815 г. см.: Сын отечества, 1815, ч. 19, № 4, с. 166—170; Рус. инвалид, 1815, 23 янв., № 7.

но в исполнении Семеновой выразительность и силу обретали каждый возглас, каждая реплика. Как указывает Арапов, «октябрь 30 (1811 г., — П. 3.) было новое торжество Семеновой (Кат. Сем.): представляли трагедию „Меропа“, переложенную стихами Серг. Никиф. Маринным, весьма даровитым поэтом (преображенцем, товарищем Катенина). В роли Меропы Семенова не уступала дев. Жорж, и были сцены, в которых она превосходила ее».²⁹⁵

«Прекрасную игру» Семеновой отметил и «Вестник Европы» — в начале следующего года, когда «Меропу» увидела театральная Москва. Несмотря на сдержанный тон рецензии (речь шла ведь о трагедии Вольтера!), Семенова удостоилась высоких похвал, во всяком случае более высоких, чем выступившая вскоре в той же роли на московской сцене м-ль Жорж, о которой было весьма уклончиво сказано лишь, что «она принята публикою очень благосклонно, как такая актриса, которая доставила уже многим удовольствие восхищаться ее игрою и говорить об ее совершенствах».²⁹⁶ В какой-то мере победе русской актрисы (несомненно превосходившей соперницу масштабами и своеобразием таланта) способствовал также патриотический подъем, вызванный вторжением в страну наполеоновских войск: в сентябре 1812 г. «Вестник Европы» в связи с отъездом на родину французских актеров (отпущенных «за ненадобностью») пожелал им «счастливого пути без возврата». Да и самая трагедия приобретала в это время необычайную злободневность: одним из центральных ее персонажей был «коварный и злобный Полифонт, похититель верховной власти».²⁹⁷

Однако это был лишь мелкий штрих, лишь второстепенная подробность на общем фоне: «наглый узурпатор», изгнанный не только из покоренных им стран, но даже из собственной, томился уже давно на далеком океанском островке, французский престол вновь принадлежал «законному» монарху, а «Меропа» по-прежнему волновала зрителей нарисованной в ней картиной великой материнской любви. «Невозможно было, — отмечал критик «Северного наблюдателя», приветствуя возобновление трагедии в Петербурге с Семеновой в главной роли, — играть лучше актрисы, представлявшей Меропу. В ту минуту, когда Меропа узнает в неизвестном юноше своего сына, она была не актриса, но мать

²⁹⁵ Арапов П. Н. Летопись русского театра, с. 212. — Приблизительно тогда же «Меропу» перевел Ф. Ф. Иванов, но перевод его был утрачен в 1812 г. и восстановлен лишь частично. Эти фрагменты увидели свет в «Трудах Общества любителей российской словесности» (1812, ч. 2, кн. 4, с. 45—54; 1816, ч. 5, кн. 8, с. 3—20), а впоследствии в первой части «Сочинений и переводов Ф. Ф. Иванова» (М., 1824, с. 103—120).

²⁹⁶ Вестн. Европы, 1812, ч. 61, № 4, с. 324. — О соревновании Семеновой и м-ль Жорж см.: Медведева И. Н. Екатерина Семенова. М., 1964, гл. 3—4.

²⁹⁷ Вестн. Европы, 1812, ч. 65, № 17, с. 66.

Эгиста. Один из зрителей, сидевший близко нас, не мог скрыть своего восторга. „Боже мой! вскричал он, как может искусство так близко подходить к натуре!“».²⁹⁸

Ставилась «Меропа» и позднее. Так, Семенова выбрала ее для своего бенефиса, состоявшегося 4 марта 1823 г.²⁹⁹ С именем этой замечательной актрисы связана также судьба в России трагедии «Семирамида», хотя первой исполнительницей главной роли в этой пьесе оказалась М. И. Валберхова, которую «вывел» покровительствовавший ей А. А. Шаховской.

Среди вольтеровских трагедий «Семирамида» занимала особое место. Написанная как ответ Кребильону — автору трагедии на эту же тему, — она должна была, по замыслу Вольтера, явить собой новый тип драматического произведения, совершенно необычный для французского театра. Это была «трагедия ужасов», но в отличие от Кребильона все это нагромождение убийств, роковых обстоятельств, мучений совести, таинственных стонов и теней у Вольтера было подчинено высокой нравственной цели. Как указывал он в предисловии, его трагедия о преступной вавилонской царице заключала в себе «чистейшую и даже суровейшую мораль».

Для русского зрителя начала века, перед которым к тому времени прошла уже целая вереница шекспировских героев (правда, «облагороженных» Дюсисом), «Семирамида», подобно «Танкреду» и «Заире», не могла, конечно, явиться событием столь же потрясающим, как некогда для современников Вольтера. Однако она и теперь оставляла «на душе зрителей впечатление чрезвычайно сильное». По крайней мере, так думал В. А. Жуковский, впервые увидевший эту трагедию в 1809 г. в Москве в исполнении французских актеров. Вольтер не принадлежал к числу его излюбленных поэтов, но в «Семирамиде» он уловил нечто созвучное собственным эстетическим представлениям. «Мы окружены, — писал он, — какою-то страшною таинственностью, и ожидание сверхестественного производит непроизвольный трепет в сердце...».³⁰⁰

Позднее в полном соответствии с новой общественно-эстетической ориентацией «Вестник Европы» обнаружил прямо противоположное отношение к этой трагедии. Сославшись на французский источник, он обрушился на ее творца и вообще на «стихотворцев», которые «иногда мешаются не в свои дела», пытаются

²⁹³ Сев. наблюдатель, 1817, ч. 2, № 19, с. 179—180.

²⁹⁹ Арапов П. Н. Летопись русского театра, с. 338—339 (стихотворный отклик на этот спектакль см.: Дамский журн., 1823, ч. 1, № 6, с. 238). — Перевод Марина при жизни автора опубликован не был; позднее это собирався сделать Ф. В. Булгарин, но напечатал (Рус. Талия, 1825, с. 385—395) только одну сцену (д. 3, сцена 1). Об этом см. подробнее: Летописи Гос. Литературного музея, кн. 10. М., 1948, с. 420—421.

³⁰⁰ Вестн. Европы, 1809, ч. 48, № 22, с. 262.

«быть законодателями в нравственности, в политике и в религии». «Сколько жестокостей, — восклицал рецензент (речь снова шла о гастролях «мамзель Жорж»), — для развязки такой отвратительной басни!». ³⁰¹ Однако точка зрения «Вестника Европы» была все же слишком консервативной и уж во всяком случае не обязательной для дирекции императорских театров. 8 января 1812 г. трагедия была представлена на петербургской сцене в переводе Добровольского и Розальона-Сошальского. ³⁰²

По свидетельству Арапова, спектакль не вызвал интереса. Какое-то значение мог при этом иметь и перевод, более чем заурядный, но основной причиной несомненно послужила игра Валберховой, даровитой и умной, но не созданной для трагических ролей. Когда же через четыре года «Семирамиду» возобновили, поручив ту же роль Семеновой, впечатление оказалось совершенно иным: «Величие, осанка, голос и в особенности задушевное чувство, главный элемент ее игры, восторгали зрителя». Сообщает Арапов и о представлении «Семирамиды» с Семеновой и Каратыгиным в центральных ролях 8 января 1825 г., а также о другом спектакле, состоявшемся 15 апреля. ³⁰³

В свое время критик «Аглая», сравнивая Семенову с м-ль Жорж, утверждал, что русская актриса «еще не может быть ни Семирамидою, ни Федрою, ни Медеєю». ³⁰⁴ В дальнейшем Семенова рассеяла все эти сомнения, но коронной ее ролью вавилонская царица действительно не стала. Наивысшим достижением Семеновой в вольтеровском репертуаре явилась Аменаида, равно как и «Танкред» Гнедича — самым замечательным среди русских переводов из Вольтера-драматурга, поднявшихся на театральные подмостки.

Совсем не получила сценического воплощения всего лишь одна полностью переведенная и напечатанная тогда вольтеровская трагедия — «Орест» С. А. Тучкова. Очень архаичный по языку, тяжеловесный и к тому же весьма приблизительный, он не привлек к себе внимания ни в 1814 г., когда был осуществлен, ни в 1816, когда в числе других сочинений Тучкова появился в свет. ³⁰⁵ Впрочем, некоторым препятствием на его пути к русскому зрителю могла также оказаться трагедия А. Н. Грузинцева «Электра и Орест», с успехом представленная 10 ноября 1809 г.

³⁰¹ Там же, 1811, ч. 57, № 9, с. 69.

³⁰² Фрагмент этого перевода см.: там же, 1811, ч. 55, № 3, с. 175—176. — Характеристику перевода см.: Зотов В. Р. История всемирной литературы, т. 3. СПб., 1881, с. 200.

³⁰³ Арапов П. Н. Летопись русского театра, с. 214, 248, 367, 369.

³⁰⁴ Аглая, 1810, ч. 12, кн. 2, с. 44.

³⁰⁵ См.: Тучков С. А. Соч. и переводы, ч. 3. СПб., 1816, с. 255—366. — Позднее ряд сцен этой трагедии перевел О. М. Сомов, опубликовавший этот свой юношеский опыт в «Украинском вестнике» (1817, ч. 6, кн. 5, с. 223—232) и в «Благонамеренном» (1818, ч. 4, № 1, с. 7—13). Еще один перевод из «Ореста» см.: Укр. вестн., 1817, ч. 6, кн. 4, с. 83—90.

1

8



2

3

НА БОЛЬШОМЪ ТЕАТРѢ.

Завтра въ Субботу 3 Марта, Россійскими Придворными Актерами представлена будетъ въ пользу Записки г-жи Семенової б. въ первый разъ по возобновленіи

М Е Р О П А,

Трагедія въ пяти дѣйствіяхъ въ стихахъ, переведенная съ Французскаго С. Н. Марининымъ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Меропа, вдова Крессфонша, Царя

Мессены	-	Г-жа Семенова б.
Эгистъ, сынъ ея	-	Г. Каратыгинъ б.
Полифонша, Тираниъ Мессены	-	Г. Толъеновъ.
Нарбасъ, сиронецъ	-	Г. Борецкой.
Заркласъ, преданный Меропѣ	-	Г. Радинъ.
Эрокъ, наперсникъ Полифонши	-	Г. Калининъ.
Исмена, наперсница Меропы	-	Г-жа Лобанова.
Жрецы, воины и народъ.		

За оную послѣдуетъ

въ первый разъ

М Е Д В Ъ Д Ъ И П А Ш А,

Новый шутовскій водениль (Folio) въ одномъ дѣйствіи, соч. Скриба, переведенный съ Французскаго съ принадлежащими къ нему хорами, танцами и великолѣпнымъ спектаклемъ; музыка взята изъ лучшихъ авторскихъ въ комъ г-жа Иванова будетъ пѣть новый Польскій соч.

А. А. Албьева.

Танцовать будутъ г. Карлъ Дидло съ г-жею Истоминной раз de deux; г. Люшинъ съ г-жею Нанте и Селезневой раз de trois; г-жи Азаревичева б., Зубова и Телешова раз de trois; г. Артемьевъ съ г-жею Азаровой Арапское па; г-жи Пикановская, Ефремова, Новицкая, Крылова, Реутова и Щербакова, г-да Дидье и Марсель.

Афиша спектакля «Меропа» в петербургском Большом театре. ЦГИА.

в Петербурге и долгое время остававшаяся в репертуаре, хотя обращались к ней, по-видимому, чрезвычайно редко.³⁰⁶

Дело было не только в сюжетном сходстве обеих пьес: к вольтеровскому «Оресту» восходил целый ряд сцен трагедии Грузинцева — несмотря на то что в послесловии от издателя (его автором скорее всего являлся Шаховской) имя Вольтера не упоминалось вовсе и, напротив, решительно утверждалось, что «сия есть первая совершенно греческая трагедия, появившаяся на российском театре». «Из числа сочинителей, подражавших Софоклу, — отмечалось далее, — Александр Николаевич Грузинцев неоспоримо более всех почувствовал красоты греческого стихотворца, и творение его весьма подходит к трагедии Софокловой; в рассуждении расположения по справедливости должно назвать российскую „Электру“ превосходной».³⁰⁷

Однако все эти претенциозные заклинания не убедили современную «драматическую критику»: апология Грузинцева означала отрицание Озерова, развенчание — защиту новых эстетических идей. Отсюда весьма жестокая расправа с драматургом, произведенная в «Вестнике Европы» Жуковским и Воейковым, а затем анонимным критиком в «Цветнике», — и, в частности, их указания на имевшиеся в «Электре и Оресте» подражания Вольтеру.³⁰⁸ Больно задетый этими разоблачениями Грузинцев в предисловии к следующей своей трагедии — «Эдип-царь», — тоже навеянный Вольтером, попытался предотвратить аналогичные упреки. Для этого он сам «открыл» основное свое заимствование у Вольтера, но признание это потонуло в нападках на французского поэта, к которому в сущности Грузинцев относился скорее с сочувствием, чем с неприязнью.

Вообще откровенно неприязненным к себе отношения Вольтер-драматург тогда как правило не вызывал даже в официальных кругах. Исключение составляла только «Смерть Цезаря», не допущенная — ввиду ее антииранического характера — на сцену, несмотря на существование полного стихотворного перевода, выполненного С. Митропольским.³⁰⁹ Но и эта трагедия не была запретной в точном смысле слова: ряд ее фрагментов увидел свет на страницах различных периодических изданий.³¹⁰ Тем более не

³⁰⁶ Арапов П. Н. Летопись русского театра, с. 195, 339, 363.

³⁰⁷ Грузинцев А. Н. Электра и Орест. СПб., 1810, с. 80, 81.

³⁰⁸ См.: Вестн. Европы, 1811, ч. 56, № 7, с. 205—222; Цветник, 1810, ч. 7, № 8, с. 276—314.

³⁰⁹ См. список, хранящийся в ТБ (I.XXI, 3.97).

³¹⁰ Друг просвещения, 1806, ч. 3, № 7, с. 10—42; Тр. О-ва любителей рос. словесности, 1812, ч. 2, кн. 4, с. 70—76; Каллиопа, 1816, ч. 2, с. 132—140, 1820, ч. 4, с. 66—75. — Перевод двух последних фрагментов принадлежал Ю. И. Познайскому; осуществленный им перевод всей трагедии сохранился в ГБЛ (Вельт. III, 17.7 — писарская копия с авторской правкой). Кроме того, первое явление перевели в 1802 г. А. Ф. Воейков (см.: ПД, ф. 309, № 50, л. 75) и А. И. Мещевский (см.: Дамский журн., 1829, ч. 28, № 51, с. 186). По неподтвержденным сведениям, содержащимся

возбуждалось обсуждение ее с эстетической точки зрения: наряду с «Меропой», «Смерть Цезаря» служила типичнейшим в ту пору примером «трагедии без любви».

На это, в частности, указывал И. И. Мартынов в своем разборе Лагарпова «Лицея», где Вольтеру и прежде всего его театру был посвящен не один десяток страниц. Претендовавший на роль верховного законодателя классического вкуса Лагарп, естественно, не столько излагал и описывал, сколько анализировал и судил, не пропуская ни одного отклонения от правил, ни одной «композиционной погрешности», ни одного стилистического «просчета». Но к Вольтеру он все же относился с огромным пиететом, так что, несмотря на «совершенное уважение» к Лагарпу, издатель русского «Лицея» подчас не соглашался и спорил с ним, обвиняя даже в чрезмерной снисходительности и восторженности (например, в характеристике «Заиры» и «Танкреда»). Однако и в его задачу не входило, конечно, какое бы то ни было умаление заслуг и достоинств фернейского мудреца. Вольтер по-прежнему оставался в ряду «образцовых» драматических поэтов, а его разнообразное наследие — авторитетнейшим источником так называемых «общих правил театра».³¹¹

Довольно большая серия таких «общих правил», выбранных из различных вольтеровских предисловий, рассуждений, писем, речей, из «Примечаний к Корнелию», «Века Людовика XIV» и других сочинений, была помещена в 1808 г. усилиями А. А. Писарева на страницах «Драматического вестника», а вскоре Писарев выпустил свой труд и отдельной книгой — в слегка измененном виде.³¹²

Обращение с подобной целью именно к Вольтеру и одобрительное отношение к писаревской антологии, выраженное в современной печати, было весьма показательным: для многих русских театральных деятелей тех лет теоретические декларации Вольтера представляли собой «последнее слово» драматургической эстетики, по крайней мере — последнее веское слово, равно как вольтеровский театр, в их понимании, более других соответствовал художественным потребностям эпохи. Правда, по мере движения от классицизма к романтизму в этой связи все чаще возникали сомнения. Вслед за французской критикой постоянно обсуждался, например, вопрос о «сравнительных достоинствах» Вольтера и Расина.

Это было не просто сопоставление двух равновеликих драматических поэтов, не бесстрастное «нанизывание» равноценных эпитетов и характеристик. Сопоставление больше походило на

в «Словаре русских светских писателей» (т. 1, с. 145), «Смерть Цезарю» (а также «Меропу») перевел П. И. Голеницев-Кутузов.

³¹¹ См.: Лицей, 1806, ч. 3, кн. 1, с. 29, 31; кн. 3, с. 21—22.

³¹² Общие правила театра, выбранные из Полного собрания сочинений г. Вольтера и расположенные по порядку драматических правил А. Писарева. СПб., 1809.

противопоставление, и не только двух несходных дарований, но разных типов классической трагедии: Расин был несравненным знатоком человеческих чувств, у него было «все просто и натурально», слог его отличался «плавностью» и «чистотой», Вольтер же стремился не столько трогать, сколько поражать, подчас оглушая зрителей «одним громом», у него было слишком много «пышного и выисканного», а в слог на каждом шагу обнаруживалась «стремительность» и «нерадивость», но Вольтер обладал большей «трагической силой», его поэтический язык был «пламеннее и разнообразнее», а «общий тон» — страстнее, и это, несмотря на все преимущества Расина, делает его более впечатляющим, привлекательным и близким, — к такому заключению приходил критик паликовской «Аглаи», проявивший себя, следовательно, сторонником более или менее новых драматических форм.³¹³

Прямо противоположную точку зрения выразил несколько раньше «Вестник Европы», использовавший для этого обширную антивольтеровскую статью, опубликованную в «Spectateur français» (1805). «Мысль равнять Вольтера с Расином и даже предпочитать первого, — утверждалось между прочим в статье, — несправедлива, соблазнительна и столько вредна успехам искусства, что неостало бы сил к достойному ее оуждению для чести вкуса и словесности». Тем не менее автор попытался это сделать, применив весь арсенал доступных ему средств, и вывод его звучал почти как приговор Вольтеру.³¹⁴

Однако столь резкое и безоговорочное противопоставление создателя «Федры» творцу «Заиры» явилось все же исключением. Значительно более приемлемой казалась, по-видимому, точка зрения, высказанная в «Аглае»; отсюда появление в короткое время двух переводов сочинения Ж.-П. д'Асарка «Parallèle de Messieurs Racine, Crébillon et Voltaire» (1770), в котором отдавалось должное всем этим трагическим поэтам, но Вольтер ставился несколько выше остальных: «Расин подобен величественной реке, тихо оплодотворяющей страны, ею орошаемые: Кребийлон есть обширный проток, быстро увлекающий предметы; Вольтер подобен обширному морю, которого и самая тишина есть предшественница бури».³¹⁵

Другой важной темой эстетических дискуссий этих лет послужили «сравнительные достоинства» Вольтера и Шекспира, «мощ-

³¹³ См.: Аглая, 1810, ч. 11, кн. 3, с. 38—40; ср.: Амфион, 1815, кн. 10—11, с. 95.

³¹⁴ Вестн. Европы, 1812, ч. 61, № 4, с. 290—302. — См. также «Опыт сравнения Расина с Вольтером» Д. Н. Баркова (1810), опубликованный вместе с другими материалами из архива «Зеленой лампы» Б. Л. Модзалевским (Декабристы и их время, т. 1. М., 1928, с. 28—29). В своем «Опыте» Барков отдавал решительное предпочтение Расину.

³¹⁵ Тр. Вольного о-ва любителей рос. словесности, 1818, ч. 2, кн. 2, с. 171 (пер. Е. П. Ковалевского); Друг юности, 1821, ч. 3, с. 102—108.

ный гений» которого все сильнее притягивал к себе умы и сердца. Откровенное предпочтение Шекспиру отдавали, впрочем, еще многие; к их числу принадлежал, например, Н. Н. Сандунов, для которого Вольтер был «поганцем», Шекспир же — поэтом «бесподобным и единственным в своем роде». Но и для людей, более умеренных в их сочувствии «романтическим веяниям», Вольтер подчас оказывался почти «нестерпимым». Существенный интерес в этом отношении представляют «Замечания русского о Шекспире, Шиллере и лучших французских трагиках», помещенные на страницах «Духа журналов» в 1816 г.

Еще недавно в связи с появлением в «Journal des Débats» разбора «Курса драматической литературы» А.-В. Шлегеля, принадлежавшего перу ультраклассика и реакционера Ф.-Б. Оффмана, журнал приветствовал «сию превосходную критику, которая теперь и нам очень ко времени, когда мы, уклоняясь от чистого и правильного вкуса классических писателей, прилепляемся к уродливым вымыслам немецких кривотолков», а знаменитый трактат (или, точнее, его французский перевод), сыгравший столь важную роль в истории европейского романтизма, назвал «длинным процессом против французского театра».³¹⁶

Не прошло двух лет, и журнал включился в этот «процесс» сам, — правда, не как обвинитель и не как защитник, а как беспристрастный, хотя и строгий судья. «Нельзя, конечно, — писал анонимный критик, — не согласиться в том, что французские трагедии имеют в себе более правильности, нежели Шекспировы и Шиллеровы; но зато сколько сии последние имеют таких красот, коих первые вовсе не имеют?». Из этой точки зрения исходил он и в оценке Вольтера, который, по его мнению, не заслуживал «ни чрезмерных похвал, ни тех ругательств, коими от многих был осыпан». К достоинствам Вольтера он относил «отделку характеров», «чистоту слога», «жар действия», соблюдение правил и единств (впрочем, не безупречное), а также «силу весьма многих стихов». Но при этом Вольтер далеко не везде выдерживал «принятые характеры», нередко увлекался «театральными эффектами», иногда допускал «декламаторские выражения» и «общие изречения», в «иных случаях» был на редкость «единообразен», а во многих его трагедиях, кроме того, отсутствовала нравственная цель.³¹⁷

Немало серьезных недостатков автор статьи находил и у «пылкого» Шиллера, и у Шекспира. Однако все эти «недостатки» (особенно применительно к Шекспиру) объяснялись эпохой, национальной принадлежностью или средой; объяснение же означало почти оправдание. Вольтер отнюдь не сдавался в архив, но с ним больше не связывали будущее драматического искусства. Путь к этому новому искусству предстояло еще определить по

³¹⁶ Дух журналов, 1815, ч. 1, кн. 3, с. 1—2.

³¹⁷ Там же, 1816, ч. 13, кн. 38, с. 396, 429, 431.

многим ориентирам, но наиболее отчетливым среди них и в то время был уже, конечно, «неподражаемый Шекспир».

Не подлежит сомнению: в истории русского «вольтеризма» начало XIX в. — период особенно плодотворный, интересный и яркий. Никогда прежде не появлялось на русском языке так много произведений Вольтера, никогда не ставили на петербургской и московской сцене столько его пьес, никогда так часто не возникало его имя на страницах русской печати. К Вольтеру обращались как к политическому мыслителю и философу — для подтверждения своих общественных взглядов; как к законодателю вкуса — для обоснования собственных эстетических представлений; как к блестящему афористу — для подкрепления разного рода суждений и мыслей, для поучения и развлечения читателей. Трудно назвать русский журнал 1800—1810-х гг., где не встречалось бы по самым разным поводам прозаических и еще больше стихотворных цитат из Вольтера (в тексте или в виде эпитафий); где не приводилось бы анекдотов о нем — главным образом основанных на каком-нибудь его остроумном высказывании.³¹⁸ Как и раньше, служит он едва ли не самым распространенным и доходчивым примером великого иностранного поэта. К Вольтеру восходят и некоторые сравнения, употреблявшиеся в речевом обиходе тех лет,³¹⁹ а изображение фернейского старца становится весьма характерной подробностью российского — и притом отнюдь не только великосветского — быта.³²⁰ По-видимому, именно в эту пору Вольтер впервые (правда, в очень ограниченных масштабах) проникает и в русскую крестьянскую среду.³²¹

Вместе с тем никогда еще вольтеровское наследие не вызывало в России и столь напряженных, столь яростных споров — идеологических и литературных. В ходе этих дискуссий Вольтер подвергался — при энергичной поддержке официальных кругов — уничтожающей критике как предтеча революции и враг религии,

³¹⁸ Многие из этих анекдотов вошли в сборник «Анекдоты г. Вольтера» (М., 1810). Рецензии на него (отрицательные ввиду низкого качества переводов) см.: Аглая, 1810, ч. 11, кн. 1, с. 77—79; Санкт-Петербург. вестн., 1812, ч. 1, № 2, с. 233—238.

³¹⁹ Например, выражение «à la superbe Orbassan» (Орбассан — один из персонажей «Танкреда»). См.: Летописи Гос. Литературного музея, кн. 10, с. 361; ср.: Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину. СПб., 1911, с. 65.

³²⁰ См., в частности, письмо И. И. Дмитриева к А. И. Тургеневу от 17 окт. 1818 г. (Дмитриев И. И. Соч., т. 2, с. 234). См. также в поэме В. Л. Пушкина «Опасный сосед» описание «веселого дома», где

Султан Селим, Вольтер и Фридерик Второй
Смирненно в рамках висели над софой.

(Иронико-мимическая поэма. Л., 1933, с. 650).

³²¹ См.: Коган Л. А. Крепостные вольнодумцы (XIX век). М., 1966, с. 54—55. — О более поздних явлениях аналогичного характера см.: там же, с. 90, 151—152.

как автор «Орлеанской девственницы» и «Философского словаря», но немало упреков было адресовано ему и как одному из корифеев «классической школы». Эволюция русского классицизма стимулировала всю более решительную переоценку ценностей и, в частности, пересмотр привычных точек зрения на вольтеровское творчество, причем даже тех его разделов, которые традиционно относились к числу «образцовых».

Тем не менее репутация Вольтера продолжала быть исключительно высокой. Конечно, прежнего места в сознании русских людей он уже не занимал: ему пришлось потесниться и ради «славного» Руссо, и ради «человеколюбивого» Юнга, и ради Виланда, и ради Шиллера, и ради Гёте. Однако вытеснить его совершенно все же никто из них не смог, как, впрочем, не было суждено это сделать позднее ни Байрону, ни Вальтеру Скотту, ни Шекспиру.³²²

³²² С большой отчетливостью отразилось это, например, в «Кратком начертании теории изящной словесности» (М., 1822) А. Ф. Мерзлякова, где Вольтер фигурировал в числе образцовых авторов философских стихотворений — наряду с Юнгом и Виландом (с. 161), эпических поэтов — наряду с Данте и Оссианом (с. 221), романистов — наряду с А. Радклиф, Ж. де Сталь и Жан-Полем (с. 242), драматургов — наряду с Гёте, Шиллером и Шекспиром (с. 313) и т. д.

РОМАНТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ



На протяжении третьего и четвертого десятилетий XIX в. Вольтер прочно оставался на втором плане русской культурной жизни. Постепенно исчезали со сцены последние деятели и свидетели екатерининских времен, хранившие верность своему «оракулу» и «кумиру» несмотря на очевидную трансформацию общественных и эстетических идеалов; тех же, кто приходил им на смену, с большей силой притягивали к себе иные явления, иные имена. Но интерес к его наследию у молодого поколения был все же еще очень велик.

Через «школу Вольтера» прошли, в частности, многие из декабристов, причем некоторые указали на это сами, в ходе следствия, отвечая на предложенный «Тайным комитетом для изыскания соучастников возникшего злоумышленного общества» вопрос: «С которого времени и откуда заимствовали первые вольнодумческие и либеральные мысли, т. е. от внушения ли других или от чтения книг, и каким образом мнения сего рода в уме вашем укоренились?». Среди них — М. П. Бестужев-Рюмин, который ответил с полной определенностью: «Первые либеральные мысли почерпнул я в трагедиях Вольтера»;¹ Н. А. Крюков, первоначально назвавший Руссо, Делиля де ля Салля, Вейса, Филанджери, Монтескье, Бурламаки, Лакретеля, но затем добавивший: «Долгом поставляю присовокупить, что я не мог вспомнить имена всех авторов, способствовавших к укоренению во мне вольнодумческих и либеральных мыслей. Сейчас, например, пришли мне на память Вольтер и Галль»;² В. И. Штейнгель, сообщивший, что читал Вольтера — наряду с Руссо и Гельвецием, а также сочинениями Фонвизина, «Путешествием» Радищева и «Вадимом» Кня-

¹ Восстание декабристов, т. 9. М., 1950, с. 49.

² Там же, т. 11. М., 1954, с. 371—373. (Об этом говорит и ряд выписок в тетрадях Крюкова, отражающих круг его чтения тех лет. См.: Павлов-Сильванский Н. П. Очерки по русской истории XVIII—XIX вв. СПб., 1910, с. с. 273—282).

жнина; наконец, А. М. Муравьев, который был «прельщен, читая Ж.-Ж. Руссо, Вольтера, Монтескье, Мирабо, Сяя, Бентама, Франклина, Мюллера, Герена, „Жизнь Вашингтона“ и пр.».³

В показаниях на следствии П. И. Борисова, одного из основателей Общества соединенных славян, Вольтер не назван, но о нем упомянули приобщенные Борисовым к вольтерьянству Юлиан Люблинский, который вместе с ним и его братом Андреем читал «книги Montesquieu под заглавием „L'Esprit des lois“ и Вольтера „Encyclopédie philosophique, ou Dictionnaire“»,⁴ И. И. Горбачевский и В. А. Бечаснов, которым он «давал читать свои переводы из Вольтера и Гельвеция...», по свидетельству первого,⁵ «переводы некоторые из Вольтера, „Максимы“ Сегюра и другие подобные отрывки» — по указанию второго,⁶ а также П. Ф. Громницкий, который в качестве «ближайшей причины», побудившей его вступить в Общество, назвал «продолжительное и короткое знакомство с Борисовым 2-м, его убеждения, подкрепленные текстами из Гельвеция, Вольтера, Рейналя и других».⁷

О вольтерьянстве Борисова весьма подробно писал в своих воспоминаниях И. Д. Якушкин: «Воспитанный дома у отца, довольно любознательного, он, вступив восемнадцати лет в артиллерию юнкером, с ротой своей стоял некоторое время в имении богатого польского помещика, у которого была библиотека. Борисов, зная несколько по-французски и пользуясь книгами, которые попадались ему в руки, прочел Вольтера, Гельвеция, Гольбаха и других писателей той же масти восемнадцатого столетия и сделался догматическим безбожником».⁸

Из тех же воспоминаний известно о вольтерьянстве Н. П. Репина, который «в молодых еще летах ознакомился с французскими писателями осмнадцатого века и принял их общие воззрения на предметы».⁹ О своем юношеском увлечении Вольтером, Руссо и сочинениями энциклопедистов впоследствии (с сожалением

³ Восстание декабристов, т. 14. М., 1976, с. 176, 395. — См. также признание Н. С. Бобринцева-Пушкина, который в порыве раскаяния обратил внимание правительства на «обольстительные» сочинения «Гельвеция, Даламбера, Мирабо или лучше барона Гольбаха „Систему природы“, Вольтера, кроме трагедий и поэмы (sic!) „Генриады“», утверждая при этом, что сам «вполне их не читал» и лишь «по отрывкам и по наблюдениям за другими» знал, «какое благо из них произойти может» (там же, т. 12. М., 1969, с. 382).

⁴ Там же, т. 5. М., 1926, с. 420.

⁵ Там же, с. 192.

⁶ Там же, с. 277.

⁷ Там же, т. 13. М., 1975, с. 135. — Характерно, что, вовлекая в Общество провиантского чиновника Костыру, «комиссионер 10-го класса» И. И. Иванов «толковал» ему о философии «и тут же обещал доставить ему сочинения Вольтера и советовал читать их и сказывал, что хотя они запрещены, но очень полезны и поучительны» (Нечкина М. В. Общество соединенных славян. М.—Л., 1927, с. 41).

⁸ Якушкин И. Д. Записки. М., 1926, с. 134.

⁹ Там же, с. 158.

нием, как это часто бывало) вспоминал А. П. Беляев: «Из философического лексикона Вольтера более других подействовало на меня „Фанатизм“ и другие в таком роде статьи. Таким образом, мало-помалу наступило полное равнодушие и сомнения в религии».¹⁰ Об испытанном в молодости воздействии Н. Н. Семёнова, большого поклонника Вольтера, Руссо и Буало, «полные сочинения» которых «занимали первое место» в его библиотеке, на склоне лет писал А. С. Гангеблов, в этот период тоже отнюдь не одобрявший «такую замкнутость его воззрений».¹¹

Весьма существенную роль сыграл Вольтер в умственном развитии молодого Н. И. Тургенева. В его дневниках конца 1800—1810-х гг. сохранилось множество всевозможных следов внимательного чтения вольтеровских сочинений, раздумий над ними и в связи с ними, реминисценций и цитат. Вольтера он читает в дороге из Москвы в Петербург в начале февраля 1807 г. («История Дженни», «Послание к римлянам», «Исповедание веры теистов», «Уши графа Честерфилда», «Письма Амабеда» и др.). 28 июня 1807 г. делает пространную выписку из «Орлеанской девственницы», «бесподобной поэмы славного Волтера», а в промежутке знакомится с книгой Э.-Ф. Лантье «*Voyageurs en Suisse*» (1803), откуда извлекает целый ряд высказываний и афоризмов фернейского патриарха, фрагментов его произведений, сведений о нем и столь распространенных в ту пору анекдотов, а также стихов, ему посвященных.

Вольтер в этот период интересует Тургенева с разных точек зрения, но менее всего как поэт. Политическое и философское вольномыслие, — вот что волнует его в первую очередь. Не случайно среди сделанных им выписок из Вольтера преобладают суждения о религии. Знаменателен и вывод, к которому он приходит, — комментируя фразу «Вольтер и Руссо были причинами французской революции», он соглашается: «Это быть очень может. Я заметил из сочинений Волтера, что он много по крайней мере способствовал к сему».¹²

Свидетельств столь же интенсивного увлечения Вольтером в дальнейшем ни дневники Н. И. Тургенева, ни его письма не содержат. Но он по-прежнему полон к нему уважения (и опять-таки прежде всего как мыслителю), готов защищать его от нападок мракобесов и невежд, с душевным трепетом — следуя давней русской традиции — посещает Ферней. Время от времени обращается он к Вольтеру и за «поддержкой», вспоминая ту или

¹⁰ Рус. старина, 1880, т. 29, № 12, с. 834—835.

¹¹ Воспоминания декабриста А. С. Гангеблова. М., 1888, с. 23. — Ряд аналогичных сведений см. в статье В. В. Сиповского «Из истории русской мысли XVIII—XIX вв. (Русское вольтерьянство)» (Голос минувшего, 1914, кн. 1, с. 105—131).

¹² Архив братьев Тургеневых, вып. 1. СПб., 1911, с. 29—30, 32, 48—49, 54—58, 59—60, 65—66, 68, 71, 75, 76—77.

иную его мысль в подтверждение собственной, однако случается это теперь довольно редко.¹³

С сочувствием относились к Вольтеру П. И. Пестель¹⁴ и К. Ф. Рылеев.¹⁵ По всей вероятности, знал его творчество и ценил А. И. Одоевский (хотя ни в художественной практике, ни в письмах русского поэта это почти не проявилось).¹⁶ Наконец, с вольтеровским стихотворением «Jean qui pleure et qui rit» была связана сатира В. Ф. Раевского «Смеюсь и плачу» (1821—1822). Близость этих сочинений — при всем несходстве их конкретного содержания — несомненна. Возможно, что, подчеркивая свою зависимость от Вольтера, Раевский преследовал и «превентивно-защитную» цель,¹⁷ но дело, конечно, было не только в этом: к Вольтеру восходили и общий замысел стихотворения, и его композиционное своеобразие, и строфическое членение, и даже отчасти чередование различных стихотворных размеров. Вольтером была навеяна и большая французская поэма А. П. Барятинского, сохранившаяся в делах Следственной комиссии.¹⁸ Правда, завершилась она строкой, по отношению к Вольтеру полемической: знаменитому его стиху-афоризму «Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer» Барятинский противопоставил формулу значительно более смелую: «Si Dieu même existait, il faudrait le nier».¹⁹

¹³ См.: там же, вып. 3. СПб., 1913, с. 48, 98—99, 286; вып. 5. Пг., 1921, с. 51, 94, 127; см. также: Тарасов Е. И. Декабрист Н. И. Тургенев в Александровскую эпоху. Самара, 1923, с. 70—78. — Несколько упоминаний о Вольтере см.: Записки декабриста Н. И. Лорера. М., 1931, с. 101, 348; Орлов М. Ф. Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма. М., 1963, с. 39; Корнилович А. О. Соч. и письма. М.—Л., 1957, с. 211—212, 297.

¹⁴ См.: Довнар-Запольский М. В. Мемуары декабристов. Киев, 1906, с. 28; Семевский В. И. Общественные и политические идеи декабристов. СПб., 1909, с. 225.

¹⁵ См.: Рылеев К. Ф. Полн. собр. стихотворений. Л., 1934, с. 287, 498; ср. также: Лит. наследство, т. 59. М., 1954, с. 83, 320, 322, 325.

¹⁶ См.: Одоевский А. И. 1) Полн. собр. стихотворений и писем. М.—Л., 1934, с. 34, 327; 2) Полн. собр. стихотворений. Л., 1958, с. 197.

¹⁷ См.: Раевский В. Ф. Полн. собр. стихотворений. Л., 1967, с. 136—139, 236—238; Лит. наследство, т. 60, кн. 1. М., 1956, с. 523—530; Базанов В. Г. Владимир Федосеевич Раевский. Новые материалы. Л.—М., 1949, с. 154—156.

¹⁸ См.: Восстание декабристов, т. 10. М., 1953, с. 302—306, 318—320. — О Барятинском см.: Розанов И. Н. Декабристы-поэты. Атеист А. П. Барятинский. — Красная новь, 1926, кн. 3, с. 249—265; Кислицына Е. Г. Поэт-декабрист А. П. Барятинский (по неизданным материалам). — В кн.: Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности акад. А. С. Орлова. Л., 1934, с. 423—432.

¹⁹ Перевод: «Если бы бога не существовало, его следовало бы выдумать». — «Даже если бы бог существовал, его следовало бы упразднить». Трудно допустить, чтобы Вольтер не был представлен так или иначе в большинстве декабристских библиотек — в Сибири, где имелась разнообразнейшая литература почти на всех европейских языках и в том числе множество французских книг XVIII в. (см.: Записки декабриста Д. И. Завалишина. СПб., 1906, с. 269). Между тем указаний на этот счет в печати существует немного. См., в частности: Дружинин Н. М. Декабрист

Приведенные сведения имеют, однако, ценность главным образом для истории русской общественной мысли. Восприятие же вольтеровского наследия в русской литературе 1820—1830-х гг. можно представить, лишь обратившись непосредственно к ней — и в первую очередь к творчеству Пушкина.

I

Вольтер фигурировал в лицейских программах: отрывки его произведений изучались на лекциях по французской риторике, которые читал Давид де Будри (показательно, что во многих из них звучала тема политического убийства),²⁰ не могло не быть в них и оценок вольтеровского творчества, тем более что Будри обучал своих воспитанников в том числе и «по Лагарпу».²¹ Однако Вольтером Пушкин зачитывался еще до поступления в Лицей, в последующее время лишь расширяя и углубляя свои представления о полюбившемся ему с детских лет поэте.²² Во всяком случае, увлечение и восхищение Вольтером запечатлелось в самом раннем из дошедших до нас произведений Пушкина — в его незавершенной сатирической поэме «Монах» (1813). «Воззвание» к «фернейскому старичку», которым открывается поэма, содержит краткую, но очень выразительную его характеристику; однако преимущественно речь все же идет о Вольтере — авторе «Орлеанской девственницы». Это и понятно: среди шедевров французской антиклерикальной поэзии XVIII в., которыми вдохновлялся, создавая свою поэму, Пушкин, «Жан д'Арку», несомненно, принадлежало одно из первых мест.²³

В равной мере относилось это к другой неоконченной поэме Пушкина-лицеиста — «Бова» (1814), в зачатке которой поэт

Никита Муравьев. М., 1933, с. 66, 79, 301; Лит. наследство, т. 59, с. 591; см. также: Войтик П. Д. Библиотеки декабристов в Сибири. — В кн.: Библиотеки СССР. Опыт работы, вып. 14. М., 1960, с. 158—166; Дунаева Е. Н. Декабристы и книга. М., 1967, с. 56.

²⁰ См.: Томашевский Б. В. Пушкин, кн. 1. М.—Л., 1956, с. 682—683; Мейлах Б. С. Пушкин и его эпоха. М., 1958, с. 114.

²¹ См.: Малеванов Н. А. Архивные документы Лицея в ГИАЛО (1811—1817). — В кн.: Пушкин и его время, вып. 1. Л., 1962, с. 269; см. также: Грот К. Я. Пушкинский лицей (1811—1817). СПб., 1911, с. 135.

²² См. в этой связи позднее поэтическое признание:

Еще в ребячестве, бессмысленный и злой,
Я встретил старика с плешивой головой,
С очами быстрыми, зеркалом мысли зыбкой,
С устами, сжатыми наморщенной улыбкой.

(ПСС, т. 3, с. 472; т. 17, с. 29)

Все тексты Пушкина цит. по изд.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 1—17. М.—Л., 1937—1959 (ПСС).

²³ См.: Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. М.—Л., 1931, с. 26—28; Томашевский Б. В. Пушкин, кн. 1, с. 41—43.

прямо указал на «Орлеанскую девственницу» как на главный источник своего вдохновения.

Некоторая традиционность этого признания («воззванием» к Вольтеру начинался также «Бова» Радищева) не означала его неискренности. Дело шло и о первом толчке, данном юному певцу Бовы замечательной героин-комической эпопеей Вольтера, и о вольтеровских реминисценциях, которыми была насыщена пушкинская поэма.²⁴

В том же вступлении к «Бове» заключалась общая — высочайшая — оценка Вольтера («О, Вольтер! о, муж единственный!»). Но действительно полную, хотя и очень лаконичную, характеристику этого «человека-Протeya» Пушкин попытался дать несколько позднее, в стихотворении «Городок» (1815), принадлежавшем к столь распространенному в то время жанру «дружеских посланий».²⁵ Показательно, что в «Городке» он употребил ту же самую формулу — правда, слегка видоизмененную — «единственный старик», но здесь она явилась как бы итогом более частных наблюдений, сделанных с разных точек зрения. Пушкин касался и особенностей дарования Вольтера в целом («Сын Мома и Минервы»), и отдельных сторон его («Соперник Эврипида, Эраты нежной друг, Арьоста, Тасса внук — Скажу ль? ... отец Кандида»), и, наконец, собственного восприятия вольтеровского творчества:

Всех больше перечитан,
Всех менее томит.²⁶

Особенно примечательно упоминание в «Городке» столь одиозного в ту пору «Кандида», на которое Пушкин решился не без опасений. Впрочем, эту повесть он назвал и в стихотворном отрывке «Сон» (1816). Более того, увлечение «Кандидом» (и вообще вольтеровской художественной прозой, «развратной прозою», как чуть раньше сказал он сам в послании «К другу стихотворцу», как бы цитируя недругов Вольтера) проявилось также в его романе (до нас не дошедшем и известном лишь по ряду поздних свидетельств) «Фатам, или Разум человеческий».²⁷ Философический сюжет, «контурные» персонажи, аллегоричность следующих один за другим эпизодов, ориентальное оформление, ироническая повествовательная манера, наконец двойное заглавие — все это напоминает Вольтера с достаточной отчетливостью. К тому же в дневниковой записи от 10 декабря 1815 г. «Фатам» соседствует с именем Вольтера. Накануне этого дня Пушкин окончил третью главу романа — «Право естественное», а «поутру»

²⁴ См.: Томашевский Б. В. Пушкин, кн. 1, с. 44—46; Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962, с. 90—104.

²⁵ См.: Томашевский Б. В. Пушкин, кн. 1, с. 75—76.

²⁶ ППС, т. 1, с. 97—98.

²⁷ См.: Томашевский Б. В. Пушкин, кн. 1, с. 35—38.

читал «Жизнь Вольтера» Кондорсе.²⁸ С вольтеровской традицией была, по-видимому, связана и стихотворная комедия, над которой Пушкин работал одновременно, но которую, вскоре охладев к ней, уничтожил.²⁹

К 1815 г. относится также эпиграмма Пушкина «Угрюмых тройка есть певцов» — одно из самых ранних свидетельств его проарзамасских настроений. Возможный ее источник — триолет Вольтера «*Dérêchez-vous, Monsieur Titon*», в котором он подверг осмеянию трех незначительных поэтов-современников: Данше, Надаля и Сен-Дидье. Правда, Пушкин применил лишь конструкцию этого стихотворения, традиционную для французской поэзии (особое распространение получили две подобные эпиграммы — «*Contre quatre rares*» и «*Bazire, membre de Convention*», несомненно известная Пушкину), но все же «посредничество» Вольтера в данном случае не исключено.³⁰

Незадолго до того из-под пера Пушкина вышел и первый его перевод из Вольтера — восьмистишие «Вот зеркало мое — прими его, Киприда!». Это был перевод стихотворения «*Sur Laïs qui remit son miroir dans le temple de Vénus*», в свою очередь восходившего к Платону (иными словами, к греческой антологии) или же к его римскому подражателю — поэту и оратору IV в. н. э. Авсонию.³¹

Своим возникновением этот пушкинский опыт был обязан И. И. Пущину, задумавшему перевести фрагмент лагарпова «Лицея» об эпиграмме и надписи у древних, где указанное стихотворение Вольтера фигурировало в качестве одного из примеров.³² Конечно, никаких попыток ознакомиться с греческим или латинским текстом эпиграммы Пушкин не предпринимал. На Вольтера он ориентировался, определяя собственное отношение к Гомеру, Вергилию и некоторым другим древним авторам,³³ Вольтеру всецело доверился, воссоздавая на русском языке античную эпиграмму.³⁴ Впрочем, и Вольтеру он следовал лишь отчасти, в свою

²⁸ ППСС, т. 12, с. 298. — См.: Глебов Г. С. Утраченная сказка Пушкина. — В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. 4—5. М.—Л., 1939, с. 485—487.

²⁹ См.: Томашевский Б. В. Пушкин, кн. 1, с. 38.

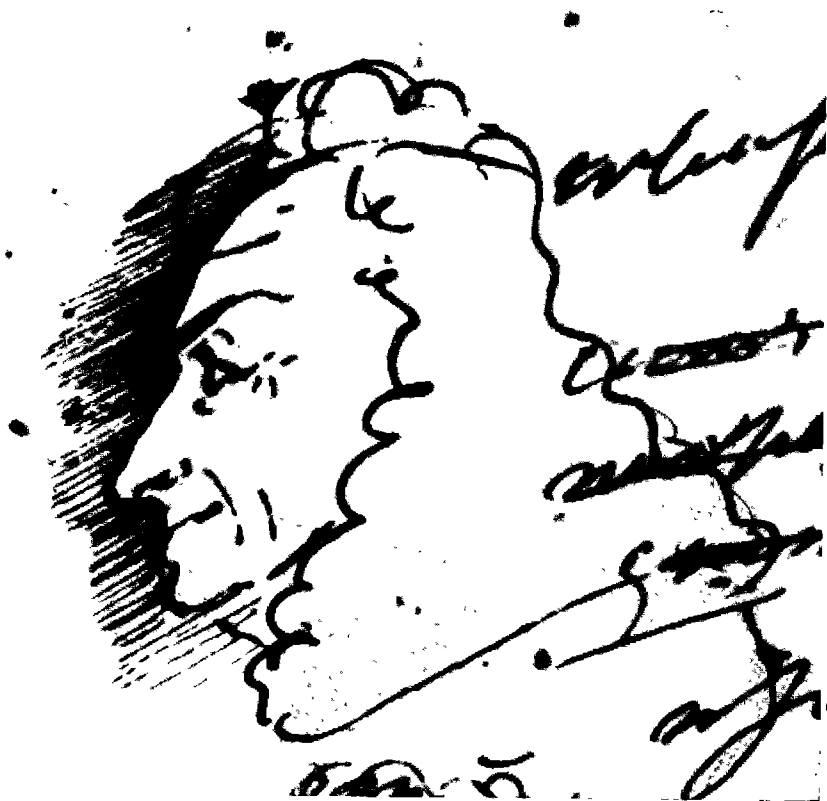
³⁰ См.: Томашевская Р. Р. К вопросу о французской традиции в русской эпиграмме. — В кн.: Поэтика, вып. 1. Л., 1926, с. 105; Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1968, с. 56; Гляссе А. Об источнике одной лицейской эпиграммы. — В кн.: Временник Пушкинской комиссии. 1970. Л., 1971, с. 77—79.

³¹ См.: Пушкин А. С. Соч., т. 1. СПб., 1900, с. 45—52; Пушкин А. С. [Соч.]. Под ред. С. А. Венгера, т. 1. СПб., 1907, с. 120—122.

³² Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1956, с. 55—56.

³³ См.: Покровский М. М. Пушкин и античность. — В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. 4—5, с. 32—36; Якубович Д. П. Античность в творчестве Пушкина. — Там же, т. 6. М.—Л., 1941, с. 116.

³⁴ Перевод других стихотворных примеров, также почерпнутых Лагарпом у Вольтера (из цикла «*Epigrammes imitées de l'anthologie grecque*»),



Вольтер. Рисунок А. С. Пушкина 1825 г. ПД.



*ТАЛБМА, роль МАГОМЕТА
въ трагедіи того же имени*

Ф.-Ж. Тальма в роли Магомета.

Гравюра из кн.: Парижские театры, или Собрание замечательнейших
театральных костюмов. М., 1829.

БАН. Редчайший экземпляр.

очередь преодолевая лаконизм французского стихотворения и приближая этот весьма типичный образец антологического жанра с помощью привычной поэтической фразеологии к современному русскому читателю.³⁵

Аналогичным образом поступил он и позднее, обратившись к переводу двух оригинальных вольтеровских стихотворений — знаменитых стансов «Кг-же дю Шатле» (1741) и мадригала «Ульрике, принцессе прусской» — «Souvent un peu de vérité...». Особенно проявилось это в переводе мадригала, текст которого и переведен, и как бы слегка обновлен с помощью современных поэтических средств. То, что у Вольтера лишь обозначено, лишь названо, под пером Пушкина трансформируется в зрительный образ, приобретает более интенсивное — хотя и не противоречащее вольтеровскому — звучание.³⁶ Отсюда и исчезновение у Пушкина «дидактических» вводных строк.³⁷

Больше Пушкин в лицейский период Вольтера не переводил.³⁸ Ничего не известно и о каких-либо переводах из Вольтера, сделанных им вскоре после окончания Лицея, а также в годы южной ссылки. Однако на протяжении всего названного времени Вольтер неизменно оставался в поле его зрения. Об этом свидетельствует его первая поэма «Руслан и Людмила», если и не вдохновленная «Орлеанской девственницей» (как это утверждал в своих воспоминаниях Катенин),³⁹ то уж по крайней мере перекликавшаяся с ней во многих частностях.⁴⁰ Об этом свидетельствует «Гаври-

принадлежал А. Д. Илличевскому («Sur une statue de Niobé»), которого, как и Пушкина, привлек Пушин, а также И. И. Дмитриеву («Sur Léandre» и «Sur une statue de Vénus»), впервые напечатавшему эти свои опыты еще в 1797 г. в «Аонидах» (кн. 2, с. 197), и К. Н. Батюшкову («Sur les sacrifices à Hercule»), опубликовавшему свой перевод в «Вестнике Европы» (1810, ч. 52, № 14, с. 124).

³⁵ С формальной точки зрения несколько ближе к вольтеровскому тексту был перевод той же эпитафии, сделанный впоследствии Д. Саларевым (Благонамеренный, 1820, ч. 10, № 11, с. 375). Однако и этот перевод не передавал вполне ритмический рисунок французского подлинника, лексика же его и поэтический синтаксис отличались старомодностью и вообще говорили о слабом владении пером.

³⁶ Ср. Гаевский В. П. Пушкин в Лицее и лицейские его стихотворения. — Современник, 1863, т. 97, № 7, с. 165—170.

³⁷ Об этом см.: Полторацкий С. Д. Материалы для словаря русских писателей, т. 1, тетр. 1. М., 1858, с. 6, 10.

³⁸ Несколько упоминаний о Вольтере в эту пору см.: ПИСС, т. 1, с. 169, 226. — О Вольтере и «Орлеанской девственнице» речь идет также в письме Пушкина к В. А. Жуковскому, предположительно датированном 23—30 дек. 1816 г. (т. 16, с. 429). Попутно отметим, что, посылая 2 марта 1818 г. отправлявшемуся в Лондон Н. И. Кривцову «Орлеанскую девственницу» (в парижском издании 1801 г.), Пушкин еще раз с огромным сочувствием отзывался об этой поэме (т. 2, с. 57). В той же связи см.: Лит. наследство, т. 58. М., 1952, с. 147.

³⁹ Там же, т. 16—18. М., 1934, с. 640.

⁴⁰ См.: Кирпичников А. И. Мелкие заметки об А. С. Пушкине и его произведениях. К «Руслану и Людмиле». — Рус. старина, 1899, т. 97, кн. 2, с. 439—440; Черняев Н. И. Критические статьи и заметки о Пуш-

илиада» (1821), навеянная «Орлеанской девственницей» (хотя и в меньшей степени, чем «Войной богов» и «Утраченным раем» Парни).⁴¹ Об этом свидетельствует целый ряд упоминаний Вольтера, цитат из него и реминисценций, в том числе и невольных, в пушкинских стихотворениях, критических заметках и письмах тех лет.⁴²

На вольтеровских реминисценциях были, в частности, основаны две эпиграммы. Одна, направленная против М. Т. Каченовского в связи с его нападками на «Историю государства Российского» Карамзина, оканчивалась цитатой-строкой из сатиры «Бедняга» («Плюгавый выползок из гузна Дефонтена»), причем Пушкин воспользовался уже существовавшим переводом И. И. Дмитриева, в свое время включившего эту убийственную характеристику Фрерона — врага и гонителя Вольтера — в эпиграмму на того же Каченовского.⁴³ Другая эпиграмма (кому она была адресована, неизвестно) содержала игривый намек на злоключения Панглоса, одного из персонажей повести «Кандид».⁴⁴

Однако по разным причинам значительная часть этих «вольтеровских пассажей» оказалась среди черновых вариантов и всякого рода подготовительных набросков. Так, в послании к В. Л. Давыдову (1821) первоначально присутствовала фраза «Намедни / Я променял Вольтера бредни», в окончательном варианте получившая звучание «Намедни / Я променял парнасски бредни»; в набросках стихотворения «Мой друг, уже три дня» (1822) находились строки «Поставя ни во что, / Что я Вольтера крестник»; в «Послании к Л. Пушкину» (1824) фигурировали слова:

В бурной юности моей
Очарованный Вольтером

и (другой вариант)

В лета юности моей
Поклонясь (?) пыли (?) Вольтера.⁴⁵

кине. Харьков, 1900, с. 610—612; Шеффер П. Н. Из заметок о Пушкине. — «Руслан и Людмила». СПб., 1902, с. 4—5; Шлионский Л. И. К вопросу о дефинитивном тексте поэмы «Руслан и Людмила». — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. 3. М.—Л., 1960, с. 388, 391, 394—395.

⁴¹ Об этом см.: Алексеев М. П. 1) «Гавриилиада» Пушкина (по поводу издания В. Брюсова). — Родная земля, 1919, № 2, с. 6—11; 2) Мелкие заметки к «Гавриилиаде». — В кн.: Пушкин. Статьи и материалы, вып. 1. Одесса, 1925, с. 20—31; Пушкин А. С. Гавриилиада, поэма. Ред., примеч. и коммент. Б. В. Томашевского. СПб., 1922, с. 55—56, 63, 70—72; Вольперт Л. И. О литературных источниках «Гавриилиады». — Рус. лит., 1966, № 3, с. 95—103.

⁴² Несколько таких невольных вольтеровских реминисценций у Пушкина отметили Ф. Е. Корш (Пушкин и его современники, вып. 7. СПб., 1908, с. 51—53) и А. А. Ахматова (Временник Пушкинской комиссии. 1971. Л., 1972, с. 32, 38—39).

⁴³ Дмитриев И. И. Полн. собр. стихотворений. Л., 1967, с. 357.

⁴⁴ ППСС, т. 2, с. 61, 206.

⁴⁵ Там же, с. 652, 744, 906.

Наконец, в черновом автографе «Евгения Онегина» (гл. 3) французский язык был назван «языком Вольтера и Парни» (позднее Вольтера заменял Расин, что сообщало этому определению большую историческую точность),⁴⁶ а в числе авторов, представленных в библиотеке Онегина (гл. 7), были «барон д'Ольбах, Вольтер, Гельвеций», впоследствии уступившие место «певцу Гюра и Жуана», т. е. Байрону, и «двум-трем» не названным романам.

Эта замена писателей XVIII в. современными (судя по черновым наброскам, под «двумя-тремя романами» подразумевались «Мельмот-скиталец» Метьюрина, «Рене» Шатобриана и «Адольф» Бенжамена Констана⁴⁷) была связана с эволюцией замысла «Евгения Онегина», повлекшей за собой, в частности, преобразование седьмой главы и первоначальной характеристики героя.⁴⁸ Свидетельство разнообразия его умственных интересов, деревенская библиотека Онегина в ее окончательном составе явилась «невольным выражением» его — осужденного поэтом — эгоизма.⁴⁹

В полное издание «Онегина» не попали и остальные упоминания Вольтера — в предисловии к первой главе и в примечании к восьмой, кстати, в свою очередь перенесенном сюда из послания «К Овидию», откуда Пушкин изъяс его перед отсылкой в Петербург А. А. Бестужеву или (что менее правдоподобно) во время печатания стихотворения на страницах альманаха «Полярная звезда».⁵⁰ В этом примечании Пушкин полемизировал с Вольтером, который неоднократно утверждал, что причиной изгнания Овидия из Рима послужила «тайная благосклонность Юлии, дочери Августа».⁵¹ Своеобразную полемику с Вольтером можно уловить и в пушкинских «Заметках по русской истории XVIII века» (1822).⁵² «Голос обошленного Вольтера не избавит ее (т. е. Екатерины II, — П. 3.) славной памяти от проклятия России», — эти слова, представляющие собой, по всей вероятности, ответ Карам-

⁴⁶ Там же, т. 6, с. 312.

⁴⁷ См.: Ахматова А. А. «Адольф» Бенжамена Констана в творчестве Пушкина. — В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. 1. М.—Л., 1936, с. 91—114.

⁴⁸ См.: Лотман Ю. М. К эволюции построения характеров в романе «Евгений Онегин». — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. 3, с. 156—160.

⁴⁹ См.: Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957, с. 206—208.

⁵⁰ См.: Томашевский Б. В. Пушкин, кн. 1, с. 538.

⁵¹ ППС, т. 6, с. 653. — Н. О. Лернер (Звенья, т. 5. М.—Л., 1935, с. 64—65, 73, 77) указывает также на ряд других — вероятных — заимствований из Вольтера в пушкинском романе. Менее убедительно соображение В. И. Резанова о «внутренней связи» первой главы «Онегина» с вольтеровской сатирой «Le Mondain» (Пушкин и его современники, вып. 36. Пг., 1923, с. 71—77) и особенно ее сопоставление с комедией «Право сеньора», сделанное А. П. Кадлубовским (там же, вып. 5, СПб., 1907, с. 1—29).

⁵² См.: Томашевский Б. В. Пушкин, кн. 1, с. 566—585.

зину, автору «Исторического похвального слова Екатерине Второй»,⁵³ звучали вместе с тем и упреком Вольтеру, способствовавшему легенде о «Минерве Севера» и ее «просвещенном» государстве. В другом месте заметок Пушкин говорит об этом с еще большей определенностью: «Современные иностранные писатели осыпали Екатерину чрезмерными похвалами; очень естественно; они знали ее только по переписке с Вольтером и по рассказам тех именно, коим она позволяла путешествовать».

Не следует, однако, преувеличивать антивольтеровский пафос этих заметок, как известно, направленных в основном против Екатерины и «жесточкой деятельности ее деспотизма», скрывавшегося «под личиной кротости и терпимости». Вольтер же в интерпретации Пушкина оказывался лишь жертвой «ее отвратительного флигельства в сношениях с философами ее столетия». Отсюда и заключительное суждение поэта, в большой мере смягчающее резкость предшествующих: «Простительно было фернейскому философу превозносить добродетели Тартюфа в юлке и в короне, он не знал, он не мог знать истинны».⁵⁴

С «Заметками по русской истории XVIII века» отчасти перекликается фрагмент «Мне жаль великия жены», где отношения Екатерины II с фернейским философом охарактеризованы одной иронической фразой, помещенной в чрезвычайно выразительном контексте (впрочем, и здесь объектом нападок является Екатерина):

Старушка милая жила
Приятно и немного блудно,
Вольтеру первый друг была,
Наказ писала, флоты жгла
И умерла, садясь на судно.⁵⁵

Приведенный отрывок датируется 1824 г., т. е. периодом пребывания ссыльного поэта в Михайловском. В Михайловском же вновь, после долгого перерыва, Пушкин принимается за перевод вольтеровских стихов — «Орлеанской девственницы» и сказочки «Что нравится дамам», — однако в обоих случаях прерывает работу в самом начале.⁵⁶ В силу каких причин это произошло, не-

⁵³ См.: Берков П. Н. Пушкинская концепция литературы XVIII века. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. 4. М.—Л., 1962, с. 89.

⁵⁴ ППСС, т. 11, с. 16—17.

⁵⁵ Там же, т. 2, с. 341. — См. в этой связи: Берков П. Н. Пушкин и Екатерина II. — Учен. зап. Ленингр. гос. ун-та, 1955, № 200. Сер. филол. наук, вып. 25, с. 214; Новонайденный автограф Пушкина. Подгот. текста, статьи и коммент. В. Э. Вацуро и М. И. Гиллельсона. М.—Л., 1968, с. 87—90.

⁵⁶ Об этом см.: Владимирский Г. Д. Пушкин-переводчик. — В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. 4—5, с. 328—329; Томашевский Б. В. Вопросы языка в творчестве Пушкина. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. 1. М.—Л., 1956, с. 165; Алексеев М. П.

известно, но во всяком случае не в результате охлаждения к названным произведениям. «Деву» и сказки Вольтера (равно как и сказки Лафонтена) Пушкин выделял из огромной поэтической продукции французских XVII и XVIII вв., в них (и только в них) он видел «памятники чистой романтической поэзии», которую противопоставлял поэзии «лжеклассической» во всех ее разнообразных формах.⁵⁷

Между прочим, к этой «лжеклассической поэзии» Пушкин относил теперь скованную правилами трагедию и, в частности, трагедию Вольтера. Так, с сожалением констатируя в черновике письма к П. А. Вяземскому от 5 июля 1824 г., что «век романтизма не настал еще для Франции», он пояснял свою мысль примером Казимира Делавиня (речь шла о трагедиях «Vêpres siciliennes» и «Patria»): «Лавинь бьется в старых сетях Аристотеля — он ученик трагика Вольтера, а не природы».

В том же самом письме Вольтер упоминался и в иной связи, на сей раз с большим сочувствием: «Французы ничуть не ниже англичан в истории. Если первенство чего-нибудь да стоит, то вспомните, что Вольтер первый пошел по новой дороге — и внес светильник философии в темные архивы истории. Робертсон сказал, что если бы Вольтер потрудился указать на источники своих сказаний, то бы он, Робертсон, никогда не написал своей истории».⁵⁸

Смысл этих слов заключался не только и не столько в сравнении Вольтера и весьма знаменитого в свое время автора «Истории царствования Карла V» (где, кстати, и находилась приведенная или, точнее, изложенная Пушкиным мысль), сколько в признании выдающейся роли френейского философа в развитии европейской историографии. Хотя свидетельств такого рода не существует, можно предположить, что к «вольтеровской школе» Пушкин относил и себя. Во всяком случае Вольтер сопутствовал ему в работе над большинством исторических сочинений.

В примечаниях к «Полтаве» (1828) Пушкин ссылаясь на Вольтера дважды. Однако это была лишь незначительная часть пушкинских заимствований из «Истории Карла XII» и «Истории Российской империи при Петре Великом», служивших поэту и ценным документальным источником, и важным источником близких ему идей. К Вольтеру в большей или меньшей степени восхо-

Пушкин и Чосер. — В кн.: Пушкин. Сравнительно-исторические исследования. Л., 1972, с. 387—392. — Из прочих свидетельств интереса Пушкина к поэзии Вольтера в 1820-е гг. следует назвать стихотворение «Не веровал я Троице доньше» — перевод мадригала «Oui, j'en conviens chez moi la Trinité» (см.: Цявловский М. А. Статьи о Пушкине, с. 371) — и, возможно, восьмистишие «Счастливы ты в прелестных дурах» (см.: Лернер Н. О. Рассказы о Пушкине. Л., 1929, с. 211—212).

⁵⁷ См.: ППСС, т. 11, с. 36—38.

⁵⁸ Там же, т. 13, с. 102.

дили характеристики Карла XII и Петра, самый принцип освещения воссозданных в «Полтаве» событий путем сопоставления их главных участников — разрушителя и созидателя, удачливого полководца и гениального реформатора, а также историческая оценка Полтавского сражения, данная в начальных строках предисловия (1829), которым открывалось первое издание поэмы: «Полтавская битва есть одно из самых важных и самых счастливых происшествий царствования Петра Великого. Она избавила его от опаснейшего врага; утвердила русское владычество на Юге; обеспечила новые заведения на Севере, и доказала государству успех и необходимость преобразования, совершаемого царем».⁵⁹

Весной 1831 г. Пушкин приступил к работе над очерком о французской революции, к «описанию преоброта, ниспровергшего во Франции все до него существовавшие постановления» и вместе с тем определившего дальнейшее историческое развитие. С какой обстоятельностью предполагал Пушкин проследить воздействие революции на современность, неизвестно: таких материалов в его тетрадках оказалось немного, хотя, по всей вероятности, труд этот еще ему предстоял. Что же касается дореволюционных «постановлений», или установлений (франц. *institutions*), то он намечался охарактеризовать их весьма подробно.⁶⁰

В этом Пушкин следовал «Размышлениям о главных событиях французской революции» Ж. де Сталь, с которыми был знаком давно, а также «Истории французской революции» Ф. Минье, которую получил при содействии Е. М. Хитрово и прочел летом 1831 г., но ограничиться простым изложением их вводных разделов не хотел. Историческое введение к его «этюду» было задумано как вполне самостоятельный обзор наиболее важных явлений французской истории с момента завоевания Галлии франками, сделанный на основе различных источников, среди которых центральное место занимал «Опыт о нравах» Вольтера.

Пушкин проштудировал «Опыт» лишь отчасти, он остановился на событиях 1355 г., для последующих периодов предполагая, по-видимому, обратиться к какому-либо другому труду, конспект же его охватывает всего полтора десятка глав из общего числа 138. Некоторые выписки Пушкина представляют собой дословное воспроизведение вольтеровского текста, другие — воспроизведение не точное или сокращенное, подчас цитату заменяет ее пересказ, а в одном случае кратко изложен довольно внушительный по размерам фрагмент.⁶¹

⁵⁹ ППС, т. 5, с. 335. — См.: Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1975, с. 17—19, 23—25.

⁶⁰ Об этом см.: Томашевский Б. В. Пушкин и история французской революции. — В кн.: Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. Л., 1960, с. 175—216.

⁶¹ Об этом см. подробно: Ясинский Я. И. Работа Пушкина над историей французской революции. — В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. 4—5, с. 359—385.

Иными словами, это был не конспект вообще, но целеустремленное выявление необходимого материала, подчиненное определенному творческому замыслу. Как известно, реализации замысел этот не получил, а сохранившиеся наброски позволяют судить лишь о его возможных очертаниях, не больше. Однако и этих страниц достаточно для того, чтобы убедиться в свободном характере использования и обработки Пушкиным сведений, извлеченных из «Опыта о нравах» (и кроме того, очевидно, из «Анналов Империи» и «Истории Парижского парламента»). Суждения Вольтера он соотносит с мнениями других историков, как современников фернейского патриарха, так и представителей «новой школы», образовавшейся (согласно пушкинской же формулировке) «под влиянием шотландского романиста», т. е. Вальтера Скотта,⁶² и едва ли не в каждом конкретном случае пытается найти собственную, независимую точку зрения, соответствующую его представлениям о генезисе и эволюции феодализма.⁶³

В качестве одного из документальных источников использовал Вольтер и в «Истории Пугачева», и особенно в незавершенной «Истории Петра».

В первом из названных трудов Пушкин сослался на Вольтера всего один раз, как на «тогдашнего представителя господствующих мнений», процитировав из его переписки с Екатериной II несколько строк, касавшихся Пугачева.⁶⁴ Тем не менее, по всей вероятности, Пушкин придавал большое значение если не самому этому фрагменту, то интересу Вольтера к Пугачеву. Именно потому имя Вольтера и было упомянуто им первоначально в предисловии к книге «Историческая страница, на которой встречаются имена Екатерины, Румянцева, двух Паниных, Суворова, Бибикова, Михельсона, Вольтера и Державина, — писал он, — не должна быть затеряна для потомства».

В печатном тексте Вольтер отсутствовал: Пушкин внял совету директора казенной типографии, где печаталась «История Пугачева», в прошлом его лицейского товарища М. Л. Яковлева, — совету, сделанному, впрочем, весьма тактично, в вопросительной форме: «Нельзя ли без Вольтера?». Любопытно, что на первых порах Пушкин отнесся к совету Яковлева с сомнением: «А почему ж? Вольтер человек очень порядочный, и его сношения с Екатериною суть исторические». Но Яковлев сумел его убедить, и, возвращая ему 18-й корректурный лист, Пушкин между прочим добавил: «Из предисловия (ты прав, любимец муз!) должно будет выкинуть имя Вольтера, хотя я и очень люблю его».⁶⁵

⁶² Об этом см.: Рейзов Б. Г. Французская романтическая историография. Л., 1956, с. 79—81, 99, 116—117, 119.

⁶³ См.: То м а ш е в с к и й Б. В. Пушкин, кн. 2, с. 178—181.

⁶⁴ ППС, т. 9, с. 1, 40.

⁶⁵ Там же, т. 15, с. 185—186.

О доводах Яковлева ничего не известно, но скорее всего он аргументировал свое предложение случайностью имени Вольтера в ряду имен непосредственных участников пугачевских событий и лишь затем уже не слишком восторженным отношением к этому имени в официальных кругах и нежеланием навлечь на себя их гнев без достаточно серьезных оснований.⁶⁶

В отличие от «Истории Пугачева», в процессе создания «Истории Петра» — как и в работе над очерком о французской революции — Пушкин прибегал к Вольтеру неоднократно, но так же, как и тогда, — используя одновременно множество иных исторических источников, русских и иностранных.⁶⁷

С наибольшим доверием Пушкин относился к «Истории Карла XII», о чем свидетельствуют и конкретные сведения, подчеркнутые из этого труда, и особенно его намерение в дальнейшем изложить ряд событий и эпизодов, опираясь исключительно или преимущественно на Вольтера. К подобным эпизодам принадлежали «странное бендерское дело», взятие Стральзунда, бегство Карла XII в Швецию и его смерть при осаде Фридрихсгаля.⁶⁸

Сходным образом была использована «История Российской империи при Петре Великом»: ⁶⁹ так, в связи с посещением Петром I в 1717 г. Парижа Пушкин кратко отметил себе: «О пребывании Петра в Париже см. Вольтера и Дюкло». Но этим значение «Истории Российской империи» для Пушкина не ограничивалось. Просматривая ее, а также переписку Вольтера в период, когда книга создавалась, Пушкин не мог не заинтересоваться источниками, которыми Вольтер располагал, равно печатными и рукописными, в том числе и присланными ему при содействии И. И. Шувалова «экстрактами», часть которых, как известно, составил Ломоносов. Это же, в свою очередь, побудило его обратиться к библиотеке Вольтера, хранившей (или, точнее, запертой) в Эрмитаже, куда поэт был допущен в виде исключения первым из деятелей русской культуры по особому дозволению Николая I.⁷⁰

Именно здесь, видимо, нашел он записки Бассевича и «Анекдоты о русском дворе в царствование Петра I и его второй

⁶⁶ Ср.: Чхеидзе А. И. «История Пугачева» А. С. Пушкина. Тбилиси, 1963, с. 152—153; Петрунина Н. Н. Вокруг «Истории Пугачева». — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. 6. Л., 1969, с. 244—246.

⁶⁷ Попутно следует отметить в романе «Арап Петра Великого» цитату из «Орлеанской девственницы», введенную для характеристики нравственной атмосферы в эпоху Регентства, а также упоминание в этой связи молодого Вольтера («Аруэта»).

⁶⁸ См.: Фейнберг И. Л. Незавершенные работы Пушкина. М., 1964, с. 191—200.

⁶⁹ Ср. там же, с. 103—104.

⁷⁰ См.: Якубович Д. П. Пушкин в библиотеке Вольтера. — Лит. наследство, т. 16—18, с. 905—922; Алексеев М. П. Библиотека Вольтера в России. — В кн.: Библиотека Вольтера. Каталог книг. М.—Л., 1961, с. 41—48.

супруги Екатерины» Вильбуа; среди бумаг вольтеровской библиотеки обнаружил он также (и скопировал) «Хронологический перечень главных событий царствования Петра I» и ряд других неизданных материалов и опубликованных сочинений о Петре и его эпохе.⁷¹

Вообще исторические штудии Пушкина и его раздумья над русской и европейской историей XVIII в. — политической, социальной, культурной — так или иначе, но неизменно приводили его к Вольтеру.

Еще в 1820 г. в письме к П. А. Вяземскому, комментируя выпад против него П. А. Катенина, Пушкин заметил: «Он опоздал родиться — и своим характером, и образом мыслей весь принадлежит 18 столетию. В нем та же авторская спесь, те же литературные сплетни и интриги, как и в прославленном веке философии. Тогда ссора Фрерона и Вольтера занимала Европу, но теперь этим не удивишь; что ни говори, век наш не век поэтов — жалеть, кажется, нечего, а все-таки жаль».⁷² Ироническое и даже отрицательное отношение к «веку минувшему» сочеталось у Пушкина, следовательно, с признанием определенных его преимуществ по сравнению с «веком нынешним».

Десять лет спустя — в послании «К вельможе» — Пушкин вновь затронул эту тему. Однако и самое обращение к ней, и смысл этого обращения, и цель — все выглядело теперь совсем иначе. Измельчавшей современности и погрязшим в низменных расчетах «младым поколениям» поэт решительно противопоставил намеренно идеализированные «дни Екатерины», Версаль и Трианон и особенно резиденцию «некоронованного короля» тогдашней Европы — «давно умолкший Ферней».⁷³

Изображая эту эпоху как время высокой интеллектуальной и эстетической культуры, Пушкин бросал вызов «официальному демократизму» болгаринского толка с его антифилософизмом и антивольтерьянством прежде всего.⁷⁴ Не случайно послание в целом и «портрет» Вольтера в частности вызвали сочувственные отклики таких почитателей XVIII века и «вольтеристов», как Вяземский⁷⁵ и В. Л. Пушкин, который, между прочим, связал (и не без осно-

⁷¹ Между прочим, во время посещения библиотеки 10 марта 1832 г. Пушкин сделал рисунок, который изображал статую фернейского патриарха, иванную Гудоном и находившуюся тогда, как и библиотека, под запретом. Существуют и другие пушкинские рисунки, изображающие Вольтера; из них более известен «портрет» на обложке статьи «Вольтер» (1836). Об этом см.: Эфрос А. М. Рисунки Пушкина. Л., 1933, с. 39, 47, 302, 304, 451, 456—457.

⁷² ППС, т. 13, с. 15.

⁷³ Там же, т. 3, с. 217.

⁷⁴ Об этом подробнее см.: Вацуро В. Э. Пушкин и проблемы бытописания в начале 1830-х годов. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. 6, с. 157—159.

⁷⁵ См.: Звенья, т. 6, с. 256 (письмо к В. Ф. Вяземской от 23 мая 1830 г.).

ваний) это стихотворение с традицией Вольтера, имея в виду его *épîtres* — одну из вершин французской поэзии этого рода:

Послание твое к вельможе есть пример,
Что не забыт тобой затейливый Вольтер.
Ты остроумие и вкус его имеешь.
Пусть бесится, ворчит московский Лабомель:
Не оставляй свою престелную свирель!.⁷⁶

Сопоставление это могло быть распространено и на пушкинскую прозу: ее «фабулистичность» и «протокольность», ее удивительная трезвость, ее сдержанность и лаконизм, ее необычайная лексическая ясность и синтаксическая сжатость, — все это несомненно напоминает автора «Микромегаса» и «Кандида», «благоразумный слог» которого Пушкин неизменно ценил.⁷⁷ Между тем к Вольтеру-поэту он временами относился весьма сдержанно. Это проявилось, например, в его незавершенной критической статье «О ничтожестве литературы русской» (1833—1834). Вольтер, утверждал Пушкин, не поэт, он всего лишь философ, который овладел «и стихами, как важной отраслью умственной деятельности человека». «Он написал эпопею, с намерением очернить кафолицизм. Он 60 лет наполнял театр трагедиями, в которых, не заботясь ни о правдоподобии характеров, ни о законности средств, заставил он свои лица кстати и некстати выражать правила своей философии. Он наводнил Париж прелестными безделками, в которых философия говорила общепонятным и шутливым языком, одною рифмою и метром отличавшимся от прозы, и эта легкость казалась верхом поэзии». Даже «Орлеанскую девственницу», хотя Пушкин и считает ее единственным подлинно поэтическим произведением Вольтера, он не приемлет теперь из-за ее «пизмизма». Без всякого воодушевления говорит он и о «неимоверном» влиянии Вольтера на современников: «Истощенная поэзия превращается в мелочные игрушки остроумия; роман делается скучною проповедью или галлереей соблазнительных картин».⁷⁸

И все же он сожалеет, что не Вольтеру, а его эпигонам суждено было в основном «овладеть» русской словесностью, и по-прежнему видит в нем первого по значению мыслителя (да и писателя) XVIII в., «великана сей эпохи». Великим писателем

⁷⁶ Пушкин В. Л. Соч. СПб., 1893, с. 115. — Сходную мысль см. у А. Ф. Воейкова, который констатировал, что «в сем классическом послании Протей-Пушкин являет нам Шолье и Вольтера» (Славянин, 1830, ч. 14, № 10, с. 780). С вольтеровским посланием «*A Voileau, ou Mon testament*» отчасти перекликается также черновой набросок 1833 г. «Французских рифмачей суровый судия» (ПНСС, т. 3, с. 305). Об этом см.: Томашевский Б. В. Пушкин и Буало. — В кн.: Пушкин в мировой литературе. Л., 1926, с. 54—58.

⁷⁷ См.: Гроссман Л. П. Этюды о Пушкине. М.—Л., 1923, с. 72—75; Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М., 1941, с. 581; Лежнев А. Э. Проза Пушкина. Опыт стилистического исследования. М., 1966, с. 25, 30—35, 81, 243.

⁷⁸ ПНСС, т. 11, с. 271—272.

также называет его Пушкин в очерке «Вольтер», напечатанном в третьем томе «Современника» в связи с выходом в свет во Франции переписки фернейского патриарха с президентом де Броссом.⁷⁹

«Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное, как отрывок из расходной тетради или записка к портному об отсрочке платежа. Нас невольно поражает мысль, что рука, начертавшая эти смиренные цифры, эти незначащие слова, тем же самым почерком и, может быть, тем же самым пером написала и великие творения, предмет наших изучений и восторгов. Но, кажется, одному Вольтеру предоставлено было составить из деловой переписки о покупке земли книгу, на каждой странице заставляющую нас смеяться, и передать сделкам и купчим всю заманчивость остроумного памфлета», — отмечает Пушкин в самом начале статьи⁸⁰ и затем развивает эту мысль, иллюстрируя ее письмами Вольтера и его корреспондента (по пушкинскому определению, «одного из замечательнейших писателей прошедшего столетия») в собственных переводах, весьма достоверно передававших их эпистолярную манеру.⁸¹

Отразившиеся в этой переписке черты характера Вольтера — «его притязания, его слабости, его детская раздражительность» —

⁷⁹ ППСС, т. 12, с. 75—81. — Книга эта — «Correspondance inédite de Voltaire avec Frédéric II, le président de Brosses et autres personnages» (1836) — находилась в личной библиотеке Пушкина (см.: Пушкин и его современники. вып. 9—10. СПб., 1910, № 1490). Судя по надписи на обложке, Пушкину ее подарил П. А. Вяземский, в свою очередь получивший ее от А. И. Тургенева, их общего преданного друга. Сам Тургенев ознакомился с книгой в марте 1836 г. (См.: Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825—1826 гг.). М.—Л., 1964, с. 87—88). Попутно отметим, что в обширном литературном наследии А. И. Тургенева — множество разнообразных свидетельств его неизменного интереса к Вольтеру. См., например: Письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу. Лейпциг, 1872, с. 36—37, 279, 280, 310, 312.

⁸⁰ О рукописи Вольтера, обнаруженной в пушкинском архиве, см.: Люблинский В. С. Незвестный автограф Вольтера в бумагах Пушкина. — В кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, т. 2. М.—Л., 1936, с. 257—265.

⁸¹ С исключительной ясностью это тонкое ощущение вольтеровского стиля (и психологии) проявилось в этюде Пушкина «Последний из собственников Иоанни д'Арк», написанном на рубеже 1836—1837 гг. и напечатанном в пятом томе «Современника», который вышел в свет уже после гибели поэта. «Приведенное» здесь «письмо» Вольтера к Дюлису было не только сочинено по всем правилам эпистолярного общения вольтеровских времен, но и насыщено типичнейшими атрибутами индивидуальной манеры фернейского старца (об этом см.: Лернер Н. О. Рассказы о Пушкине, с. 190—198; Алексеев М. П. Из истории русских рукописных собраний. — В кн.: Незданные письма иностранных писателей XVIII—XIX веков. М.—Л., 1960, с. 114—115; Смиренский Б. В. Перо и маска. М., 1967, с. 18—20). С Вольтером связан и другой опубликованный по-смерти (Современник, 1837, т. 6, с. 399—402) пушкинский опыт — «О Железной маске», — хотя, по-видимому, он был создан значительно раньше. Об этом см.: Пушкин и его современники, вып. 28. Пг., 1917, с. 87—95.

не вызвали у Пушкина ни малейшего осуждения: «Мы охотно извиняем его и готовы следовать за всеми движениями пылкой его души и беспокойной чувствительности». Не это, по мнению Пушкина, могло повредить Вольтеру «в нашем воображении», т. е. уронить его в глазах потомков. Наибольший ущерб репутации Вольтера нанесло его неумение «во все течение долгой своей жизни» сохранить собственное достоинство: «В его молодости заключение в Бастилию, изгнание и преследование не могли привлечь на его особу сострадания и сочувствия, в которых почти никогда не отказывали страждущему таланту. Наперсник государей, идол Европы, первый писатель своего века, предводитель умов и современного мнения, Вольтер и в старости не привлекал уважение к своим сединам: лавры, их покрывающие, были обрызганы грязью. Клевета, преследующая знаменитость, но всегда уничтожающаяся перед лицом истины, вопреки общему закону, для него не исчезала, ибо была всегда правдоподобна. Он не имел самоуважения и не чувствовал необходимости в уважении людей».

Более других Пушкина убеждал в этом берлинский период жизни Вольтера и в особенности печальное и оскорбительное для французского писателя окончание этой «жалкой истории», в которой повинен был он сам. «Что влекло его в Берлин? — восклицал Пушкин. — Зачем ему было променять свою независимость на своиравные милости государя, ему чуждого, не имевшего никакого права его к тому принудить?».

В словах этих таилось много личного. Финал, которым завершилось пребывание Вольтера при прусском дворе, внушал Пушкину горестные мысли и мрачные предчувствия: его собственное положение при дворе Николая I оказывалось не менее унижительным и — в противоположность вольтеровскому — безысходным. Вновь обрести утраченную независимость, пусть так, как это в свое время сделал Вольтер, Пушкину дано не было. Вольтер сам напрашивался на такое «жалкое посрамление», Пушкин же отвергнуть «своеравные милости» Николая не мог, хотя теперь отчетливее, чем когда-либо, сознавал, что «настоящее место писателя есть его ученый кабинет и что ... независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы».⁸²

Перелистывая книгу, Пушкин обратил также внимание на известные ранее стихи Вольтера, заключенные в письме к Рюффе от 3 марта 1759 г., и привел их полностью, но не только для того, чтобы познакомить с ними русских читателей. Едва ли усматривая в этих семи строках что-либо, кроме одной из тех «преlestных безделок», о которых он с пренебрежением писал в статье «О ничтожестве литературы русской», Пушкин теперь явно пред-

⁸² См.: Томашевский Б. В. Пушкин и французская литература. — В кн.: Томашевский Б. В. Пушкин и Франция, с. 128—132; Еремин М. П. Пушкин-публицист. М., 1963, с. 335—336.

почитал их «французским стихотворениям, писанным в нынешнем вкусе», где «мысль заменяется исковерканным выражением, ясный язык Вольтера — напыщенным языком Ронсара, живость его — несносным однообразием, а остроумие площадным цинизмом или вялой меланхолией». «Нынешнему вкусу», иными словами — современной французской поэзии, он противопоставлял собственный «запоздалый вкус» поклонника поэзии классической, в которой вольтеровскому наследию принадлежало почетнейшее место.⁸³

Итак, многолетнее «общение» Пушкина с Вольтером представляло собой сложный творческий процесс. Образ Вольтера непрерывно эволюционировал в сознании русского поэта, привлекая его в разных обстоятельствах и в разное время различными особенностями и чертами. Вольтер-поэт особенно восхищал его в период становления, затем наступило некоторое охлаждение, позднее исчезнувшее, хотя и не в полной мере. Сочувствие Вольтеру-прозаику, проявившееся также в ранний период, с связи с обращением Пушкина к прозе постепенно нарастало. Вольтер-драматург, к которому Пушкин в молодые годы относился почтительно, к середине 1820-х гг. утратил для него свое очарование: для автора «Бориса Годунова» вольтеровский театр был совершенно неприемлем. Между тем Вольтер-историк, почти не существовавший для него в молодые годы, по мере того, как он погружался в занятия историей, привлекал его все больше. С неодинаковой силой притягивала его к себе и личность фернейского старца, которого он то несколько идеализировал, то резко осуждал.

Неизменным оставался лишь самый интерес Пушкина к этому «великому писателю», возникший «еще в ребячестве» и не покидавший его ни в юности, ни в зрелый период, ни в последние дни.

II

Через всю жизнь интерес и глубокое уважение к Вольтеру пронес П. А. Вяземский, сподвижник и друг Пушкина, писатель и критик: выросший в атмосфере преклонения перед духовным наследием французского XVIII века, воспитанный на просветительской философии и литературе, он хранил верность этой первой любви, не обнаруживая сколько-нибудь серьезных колебаний.⁸⁴

В «Автобиографическом введении» к Полному собранию сочинений⁸⁵ Вяземский вспоминал, что в детстве ему доставляло на-

⁸³ См.: Томашевский Б. В. Французская литература в письмах Пушкина к Е. М. Хитрово. — В кн.: Томашевский Б. В. Пушкин и Франция, с. 360—363.

⁸⁴ См.: Нечаева В. С. Отец и сын. Юношеские годы кн. П. А. Вяземского. — Голос минувшего, 1923, № 3, с. 39—56; Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский. Жизнь и творчество. Л., 1969, с. 8—9, 13.

⁸⁵ Вяземский П. А. Полн. собр. соч. СПб., 1878—1896, т. 1—12. В дальнейшем — ВПСС.

слаждение заучивать наизусть монологи и сцены из трагедий Вольтера (и Расина). «И теперь еще, — писал он, — слышатся мне, как декламировал я тираду из „Альзиры“: „Mânes de mon amant“ и прочее».⁸⁶ О превосходном знании Вольтера и несомненном пиетете к нему свидетельствуют ранняя переписка Вяземского, его записные книжки, а также первые литературные опыты в прозе и стихах.

В письме от 29 октября 1813 г. к А. И. Тургеневу, подсмеиваясь над самим собой, Вяземский приводит заключительный стих «Магомета» («Mon empire est détruit, si l'homme est reconnu») и затем поясняет свою мысль: «Я только тем и беру, что не даю никогда себя хорошенько разобрать».⁸⁷ Приблизительно к тому же времени относится ряд записей, где Вяземский полемизирует с критиками Вольтера, опровергая их «несправедливые мнения» об отсутствии у Вольтера лирического дарования и в особенности нападки на «Генриаду», заключенные в «Essais de morale et de littérature» Трюбле (1735). Выписывает он также замечание Вольтера о том, каким должен быть идеальный критик, остановившее его внимание при чтении «Философского словаря».⁸⁸

Несколько раньше Вольтер появился в поэзии Вяземского. Речь идет о четверостишии «Оправдание Вольтера» (1812), интимный и шуточный тон которого не мешал Вяземскому выразить свое отрицательное отношение к «антивольтеровской кампании» тех лет. В послании к Е. С. Огаревой (1816) Вольтер — творец «Альзиры» противопоставлялся ее не слишком даровитому переводчику-беседисту, весьма одиозному в арзамасской среде П. М. Карабанову, который,

...чтоб запастись местечком в недрах рая,
Водой своих стихов Вольтера соль развел.⁸⁹

Одновременно в стихотворении «К перу моему» Вольтер был упомянут как образец человека, который родился поэтом.⁹⁰ Но наиболее полное поэтическое выражение взгляд молодого Вяземского на Вольтера получил в стихотворении «Библиотека» (1817), где он фигурировал в окружении других (и столь на него непохожих!) излюбленных писателей Вяземского — Вергилия, Горация, Марциала, Андре Шенье, Руссо, Ж. де Сталь, Шиллера. Восхи-

⁸⁶ ВПСС, т. 1, с. XI.

⁸⁷ Остафьевский архив князей Вяземских, т. 1. СПб., 1899, с. 18. — Перевод (П. С. Потемкина): «Исчезнет власть моя, коль узнаю человек».

⁸⁸ См.: Вяземский П. А. Записные книжки (1813—1848). М., 1963, с. 18—19, 21.

⁸⁹ ВПСС, т. 3, с. 33, 113. — Ср. отзыв об этом переводе Карабанова в послании А. Ф. Воейкова к Д. В. Дашкову (Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в. Л., 1959, с. 314). Об отношении к Вольтеру и французскому Просвещению в Беседе и Арзамасе см.: Арзамас и арзамасские протоколы. Л., 1933, с. 10. — Ссылки на Вольтера в речах арзамасцев см.: там же, с. 95, 114, 241.

⁹⁰ ВПСС, т. 3, с. 123.

щаясь этим «Протеем-писателем», иными словами — всей многообразной деятельностью фернейского мудреца в целом, Вяземский преимущественно говорил все же о Вольтере — передовом мыслителе и мужественном борце за справедливость, что (в отличие от вольтеровской «поэзии») обычно замалчивалось тогда или осуждалось. Боевой дух вольтеровского творчества — вот что привлекало Вяземского в первую очередь. Ради этого он готов был простить Вольтеру и «покорность страстям», и неумение беречь свое перо — «сраженья острый меч» — лишь «для битвы праведной», и, наконец, «упорный фанатизм» этого заклятого «врага фанатизма»:

Другим оставя труд костер твой воздвигать,
Покаюсь: я люблю с тобою рассуждать
Вослед тебе идти от важных истин к шуткам
И смело пламенеть враждою к предрассудкам.
Как смертный ты блуждал, как гений ты парил
И в области ума светилом новым был.⁹¹

Впрочем, равнодушно взирать на то, как воздвигают этот костер хулители и противники Вольтера, Вяземский не мог. «Вольтер воевал во Франции, в земле католической, где духовные зарезали Генриха IV и готовились зарезать просвещение; может быть, увлечен он был за край; но пламень души, как и другой пламень, не может быть обуздан. Жалея о том, что он опалил соседние дома, поблагодарим, его за то, что он выжег дом, где царствовала чума», — убеждал Вяземский А. Ф. Воейкова в письме от 2 ноября 1818 г.,⁹² а несколько месяцев спустя попытался выступить с оправданием и защитой фернейского патриарха в печати.

Непосредственным поводом для этого выступления послужила злобно-издевательская заметка Каченовского в связи с появлением во французском либеральном издании «La Minerve française» сообщения о предстоявшем выходе в свет «драгоценной коллекции» неизвестных вольтеровских писем. Сообщение заключало в себе высочайшую оценку деятельности Вольтера; там же в качестве примера приводилось и одно из писем, в котором Вольтер доказывал необходимость религиозной и политической терпимости, усматривая в ней возможное средство спасения этого «лучшего из миров».⁹³ «Фернейский мудрец, — писал Каченовский, — балагурит по своему обычаю о терпимости; шутит, кощунствует, и ничего более. Несмотря на то, французский журналист восклицает с торжествующим видом: „Какое счастье для друзей, для учеников, для изумленных почитателей того мужа, который доставил (?) Франции неоспоримую славу рождения в мир гения обшир-

⁹¹ Там же, с. 440.

⁹² См.: Лотман Ю. М. П. А. Вяземский и движение декабристов. — В кн.: Труды по русской и славянской филологии, т. 3. Тарту, 1960, с. 37.

⁹³ См.: La Minerve française, 1818, t. 2, p. 247—248.

нейшего, философа полезнейшего, создания высочайше разумного из всех, приносящих честь роду человеческому!».⁹⁴

Получив в Варшаве июньский выпуск «Вестника Европы», Вяземский тотчас же обратил внимание на эту заметку. В письме от 27 июля 1818 г. к Воейкову, которое представляло собой подробнейший критический разбор его «Послания к моему другу-воспитаннику о пользе путешествия по отечеству», помещенного в том же выпуске, Вяземский отозвался и о заметке Каченовского. Характеризуя фрагмент

Прошел тот век, когда француз-власочесатель,
Друг дома, повар, воспитатель,
Российских бар кормил, учил и наряжал,
И путешествие в Ферней на поклоненье,
В Версаль, в Пале-Рояль, в парижский модный свет,
Для юноши в восемнадцать лет
За высочайшее считалось просвещение,⁹⁵

— он особо подчеркнул неприемлемость для него стиха о русском вольтерьянстве. «Какое же уважение, — пояснил он свою мысль, — будем иметь к уму, если не поощрим представителей его посреди нас? ... Екатерина посылала в Ферней тех из русских, к коим она благоволила и считала сей помощи достойными. Где мы очутимся, если станем пятиться за век Екатерины? Что же будет говорить Каченовский, если ты будешь проповедовать такой раскол?». И далее, имея в виду «краткое известие» о вольтеровских письмах: «Он и так уже соврал какой-то вопросительный знак в этой самой книжке о появлении новых писем Вольтера. Вот утонченность невежества: иные добиваются целыми книгами, чтобы попасть в ряды дурачества; ему настуже растворились двери при одном знаке препинания».⁹⁶

Этот вопросительный знак после слова «доставил», равно как и все «известие» вообще, не выходил у Вяземского из головы, а к концу года, ознакомившись с книгой, на которую обрушился Каченовский, он начал серьезно подумывать о печатном ответе; но опасение, что «Сын отечества», где статья могла быть помещена, не напечатает ее по цензурным соображениям, а также и некоторая «невыразительность» входивших в сборник вольтеровских писем, — в представлении Вяземского, «писанных в минуты хладнокровия и смирения», — останавливали его. Лишь в конце февраля 1819 г., узнав от А. И. Тургенева, что «Вестник Европы» выступил с очередными нападками на Карамзина (имелся в виду разбор предисловия к французскому переводу «Истории государства Российского»), от которых «так и несет Каченовским», Вяземский вернулся к своему замыслу. Однако теперь защита наиболее почитаемого им писателя минувшего

⁹⁴ Вестн. Европы, 1818, ч. 99, № 12, с. 325—326.

⁹⁵ Там же, с. 267.

⁹⁶ Рус. старина, 1892, т. 76, № 12, с. 656.

века совмещалась с защитой самого почитаемого из писателей современных, иначе говоря — защита Вольтера с защитой Карамзина. К концу марта статья была готова и отослана Тургеневу. «Посылаю тебе, — отмечал в сопроводительном письме Вяземский — сыноотечественную штуку. Прочтите ее в арзамасском ареопаге и, если она того стоит, отдайте ее Гречу, но с тем, чтобы он непременно ее напечатал целиком... Мне кажется, я хорошо во имя Вольтера поколотил Каченовского за Карамзина. Жалеть нечего, да и в самом деле надобно было хоть раз окликнуться палкою».⁹⁷

Впрочем, свою задачу Вяземский видел не только в расправе с издателем «Вестника Европы». Это был смелый вызов всему отечественному лагерю «запоздалых, ополчающихся против успехов человеческого разума», лагерю «отступников духа времени, который шагает через них в неодолимом своем стремлении». Это было также проклятие Дефонтемам, Фреронам, Лабомелям, Ноннотам всех времен и народов, всем бесчисленным «сообщникам обширного и существующего искони заговора *посредственности* против *превосходства*», которые «держатся крепко за руки, минуя пространство веков и отдаления». «В каждом из них, — полагал Вяземский, — кроме полного запаса всех наличных предрассудков настоящего, хранится неистлевший пепел всех предрассудков прошедшего и дремлет в ожидании семя всех предрассудков и предубеждений будущего. В политике, науках, искусствах, словесности вы всегда найдете их поперек дороги истины... Троньте одного из них, и они все отзовутся в обширном и неразрывном круге своем. Переставьте одного в другое столетие, в другой край земли: язык его, оружие, образ нападения изменится, но он не изменит никогда клятве древней вражды своей, и последствия будут одинаковы. На лице иного, и не проникая в таинства учения Лафатера, можно уверительно прочесть, что смотря по времени и месту был бы он Зоилом Гомера, Дефонтемом Вольтера, щепетильным придирщиком Карамзина».

Вяземский сознавал, что подобные мысли, равно как и рассуждение о терпимости, и дифирамбическая характеристика Вольтера,⁹⁸ не вызовут большого сочувствия в правительственных и околоправительственных сферах, но все же рассчитывал на благоприятный исход. Однако надеждам его не было суждено осуществиться.

«Боюсь, чтобы ценсура не вступилась за невежество в лице Каченовского, достойного ее представителя», — заметил А. И. Тургенев, ознакомившись со статьей и ознакомив с ней Карамзина.⁹⁹ Вскоре это предчувствие подтвердилось: 30 апреля 1819 г. Тур-

⁹⁷ Остафьевский архив..., т. 1, с. 163, 192, 197, 201, 208.

⁹⁸ ВПСС, т. 1, с. 66—69.

⁹⁹ См.: Письма Н. М. Карамзина к кн. П. А. Вяземскому. 1810—1826. СПб., 1897, с. 75.

генов известил Вяземского, что «Яценков, цензор, не пропускает „Вольтера“», утверждая, что восхваление Вольтера «без всякой оговорки» противоречит официальной точке зрения. «Он возвратил Гречу твою пиесу. Не знаю еще, на что Греч решится и будет ли просить по началству, то есть, возьмет ли апелляцию; но, между тем, на сих днях ... я имел сильную схватку с Яценковым. Он требует, чтобы автор сказал о вреде, нанесенном Вольтером нравственности и религии, и умерил похвалу ему. Я ему отвечал, что ты не о влиянии его на умы и сердца, а о письмах его говорить хотел, не почитая себя вправе исчислять его вредные качества; что неудобно хвалить хорошее и в дурном, особливо терпимость, в то время, когда гасильники предлагают жечь сочинения, от коих огонь легко распространиться может и до сочинителей. А он одно и то же повторял, что бы тебе сказать надлежало».

Узнав о требованиях Яценко, Вяземский согласился печатать статью «с оговорками» — при условии, однако, что сам Яценко возьмет оговорки на себя. Но это не спасло статью. Не увенчалась успехом и попытка «представить ее на разрешение» попечителю С.-Петербургского учебного округа С. С. Уварову, а затем министру просвещения кн. А. Н. Голицыну. «Что же мой „Вольтер“? Да кончите же чем-нибудь!» — заключил Тургенева Вяземский, томившийся неизвестностью в Варшаве. Наконец, тургеневское письмо от 11 июня 1819 г. принесло неутешительный ответ: «Твоя статья о Вольтере решительно запрещена... Но что делать! Впредь до ума и просвещения».¹⁰⁰

Это предсказание подтвердилось, статья была действительно напечатана, но лишь полвека спустя, превратившись из злободневнейшего памфлета в свидетельство оппозиционных общественных настроений конца 1810-х гг.

С Вольтером было связано и другое выступление Вяземского против Каченовского в защиту Карамзина — «Послание к М. Т. Каченовскому» (1820), навеянное одной из вольтеровских речей в стихах («О зависти»). В отличие от статьи о новых письмах Вольтера, послание это увидело свет, хотя и на сей раз дело не обошлось без вмешательства цензуры.¹⁰¹

Вольтер в стихотворении не упоминался. Однако имя это оказалось едва ли не в самом центре «Письма к редактору», которым «Вестник Европы» отозвался на послание, впервые опубликованное в «Сыне отечества»,¹⁰² а затем в полемических целях перепечатанное на его собственных страницах.¹⁰³ Для автора «Письма» зависимость Вяземского от Вольтера послужила опорной точкой, исходным пунктом нападения: Вяземскому прежде всего инкриминировался плагиат. «Наш сочинитель, — иронизировал рецен-

¹⁰⁰ Остафьевский архив..., т. 1, с. 224, 228, 229, 249.

¹⁰¹ Об этом см.: Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский, с. 268—269.

¹⁰² Сыно отечества, 1821, ч. 67, № 1, с. 76—81.

¹⁰³ Вестн. Европы, 1821, ч. 115, № 2, с. 98—106.

зент, — предположив написать дидактическое послание (которое приличнее назвать грубою сатирой), кажется, был в некотором замешательстве, когда справился с запасом собственных мыслей. Что ж он делает? Раскрывает (кого бы, думали вы?) Вольтера, и делает его смешным и жалким орудием ученых своих видов... Не напиши Вольтер стихов своих de l'Envie, сатирик наш еще и теперь бы грыз непослушное перо свое». Далее следовали одно за другим доказательства — стихи Вольтера и их русские параллели, — в ряде случаев неоспоримые, но подчас и довольно сомнительные, подобранные с очевидным намерением продемонстрировать во что бы то ни стало «скудость мыслей» и «средств искусства» сочинителя послания.

Характерно, что при всей своей неприязни к Вольтеру, «развратнику» и «образцу злоречивых», критик даже противопоставлял фернейского старца «бедному его подражателю», которому отказывал в чистоте языка и плавности стихосложения, присущих французскому поэту. К Вольтеру апеллировал он и протестуя против, как ему казалось, неумеренных и оскорбительных для других историков (иными словами — для Каченовского) похвал Карамзину. «Для чего, — вопрошал он, — наш ученик Вольтера в этом случае не спросился своего учителя, который в той же пиесе de l'Envie порицает слепую нетерпимость, упрямое нехотение иметь соперников?». Не отличался снисходительностью и вывод, к которому приходил критик «Вестника Европы»: «Итак, по всему видно, что творец послания вмешался не в свое дело. Не предпринимая труда невыгодного и неблагодарного осыпать других вздорными упреками, он сделал бы гораздо лучше, если б хорошенько поразмыслил о своей собственной особе».¹⁰⁴

Тем не менее «Письмо к редактору» вряд ли особенно огорчило Вяземского: он слишком хорошо знал цену Каченовскому и его журналу, и хула, исходившая из «Вестника Европы», была ему «не в укоризну». Во всяком случае, несравненно больше огорчил его (и озадачил) неожиданный выпад против Вольтера в «Сыне отечества», где — в статье Ф. Н. Глинки «Знакомая незнакомка» — Сократу (и Руссо) отдавалось предпочтение перед Вольтером.¹⁰⁵ «Что за гасильные замашки в „Сыне отечества“? — с тревогой спрашивал он Тургенева. — Знакомая незнакомка (которой я не знаю: слава ли, совесть ли), которая *минует бюст Вольтера*, но с живым чувством *взглядывает на Сократа*. Я надеюсь, что посреди некоторых заблуждений Вольтер завещал свету более истин, чем Сократ. Для нас Сократ — вроде Геркулеса, что-то вообразительное. Смерть его — пояс Венеры, двенадцать подвигов Алкида, а жизнь Вольтера — учение положительное».¹⁰⁶

¹⁰⁴ Там же, № 5, с. 41, 43.

¹⁰⁵ *Сын отечества*, 1821, ч. 67, № 6, с. 259. — Об этом очерке см.: Базанов В. Г. *Ученая республика*. М.—Л., 1964, с. 307.

¹⁰⁶ Остафьевский архив..., т. 2. СПб., 1899, с. 166.

Вскоре Вяземский сделал попытку принять участие в борьбе за Вольтера в иной — новой для него — форме. После отъезда из Варшавы, оказавшись не у дел, он решил «пристроить флигель» к «Пантеону иностранной словесности» Карамзина — составить своего рода антологию писателей разных стран и эпох. К осуществлению этого замысла он надеялся привлечь друзей-литераторов: Жуковского — для перевода немецких авторов, Блудова и Дашкова — для перевода соответственно английских авторов и итальянских, себе же предназначал французов, собираясь «поставить» множество материалов: «несколько из писем Вольтера, отрывков из Энциклопедии, разумеется, из статей литературных и философических, из Даламберта лучшие места из „Essai sur les gens de lettres“ или все сполна, потому что оно недлинно и занимательно, красноречивейшие места из слов Томаса и другие отрывки...».¹⁰⁷ Однако, хотя Вольтер и стоял в этом перечне на первом месте, переводить его Вяземский, по-видимому, так и не начал: среди сделанных им в конце 1822 г. переводов находятся отрывки из сочинений Руссо, Дидро, Рейналя, Тома, Лагарпа, но фрагментов из Вольтера нет — ни в законченном виде, ни в набросках.¹⁰⁸ Впрочем, и весь замысел Вяземского остался невыполненным. Ни антология в целом, ни даже «классическая книга французской прозы», которая не только «улыбалась его воображению», но и обрела зримые черты, в свет никогда не появилась.

Больше повезло единственному стихотворному переводу Вяземского из Вольтера (1829).¹⁰⁹ Речь идет о вольтеровских «Стансах, или Четверостишиях», созданных в подражание знаменитым четверостишиям Пибрака. Вяземский перевел 12 из 16 четверостиший Вольтера, отчасти изменив их порядок, рифмовку и размер, а также слегка архаизировав лексику, что придавало им почти «библейское» звучание. Обращение же Вяземского к этим четверостишиям могло иметь личный, автобиографический характер: конец 1828—1829 г. — один из самых трудных моментов в его жизни, и, воссоздавая на русском языке поэтические раздумья Вольтера о всемогущем боге и смертных людях, о тщеславии и доброте, о зависти и соревновании, о лени и благотворительности, о самолюбии и скромности, Вяземский, возможно, лишь пытался найти ответ на собственные горестные мысли, мучившие его в то время.

О неизменном интересе Вяземского на протяжении 1810—1820-х гг. к Вольтеру свидетельствует и другая — весьма обширная — группа его поэтических и литературно-критических сочи-

¹⁰⁷ Цит. по кн.: Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский, с. 70.

¹⁰⁸ Об этом см.: Стефанович В. Н. Французские просветители XVIII века в переводах П. А. Вяземского. — Рус. лит., 1966, № 3, с. 82—92.

¹⁰⁹ См.: Карманная книжка для любителей русской старины и словесности на 1829 год. СПб., 1829, с. 428—431; ВПСС, т. 4, с. 67—68.

нений, непосредственно фернейскому патриарху не посвященных, но содержавших более или менее значительный «вольтеровский материал». В стихотворении «Петербург» (1818), характеризуя «блестящий век» Екатерины II, Вяземский в числе важнейших примет этого времени назвал ее переписку с Вольтером.¹¹⁰ В послании «Я. Н. Толстому» (1818) среди всевозможных достоинств адресата фигурировала его способность любить в Вольтере «шутки дар» (но вместе с тем — «платить сердцем дань Жан-Жаку»!).¹¹¹ В стихотворении «Всякий на свой покрой» отмечалась неповторимость Вольтера во всех испробованных им литературных жанрах.¹¹² Одним из девяти элементов «Логогрифа» (его разгадка — чернильница) было название последней из трагедий Вольтера, представленных на сцене при его жизни («таланта славного прощальные обноски»!).¹¹³ Наконец, в стихотворении «Того-сего» (1824), не одобряя «старика Вольтера», но и не слишком осуждая, Вяземский упомянул его «дар угождать царям, философам, повесам».¹¹⁴

В 1816—1817 гг. в Петербурге было издано собрание сочинений В. А. Озерова, первый том которого предварялся большой статьей Вяземского о жизни и творчестве этого столь знаменитого в начале века драматурга. Размышляя о деятельности Озерова, чьи заслуги в преобразовании русской трагедии он сравнивал, «не определяя достоинства обоих писателей», с заслугами Карамзина — «образователя прозаического языка», Вяземский, естественно, не мог не вспомнить великого реформатора французского классического театра. В трагедиях Сумарокова и Княжнина он находил лишь «частные подражания Корнелю, Расину и Вольтеру», с появлением же Озерова (или, точнее, его «Эдипа»), думал он, «Мельпомена приняла владычество свое над душами. Мы услышали голос ее, повелевающий сердцу, играющий чувствами, сей голос — столь красноречивый в Расине и Вольтере».¹¹⁵

Правда, Вяземский утверждал (вслед за Д. Н. Блудовым, посвятившим этой теме часть письма к нему от 2 ноября 1816 г.),¹¹⁶ что развязкой своего «Эдипа», введенной по совету «одного актера, в школе Сумарокова воспитанного» (т. е. И. А. Дмитриевского), Озеров «испортил» трагедию, придав ей назидательность, отсутствовавшую у Софокла, к которому она в конечном счете восходила. «Трагик не есть уголовный судья» (десять лет спустя,

¹¹⁰ ВПСС, т. 3, с. 160.

¹¹¹ Там же, с. 162.

¹¹² Там же, с. 300. — Напечатано в 1823 г., однако Л. Я. Гинзбург полагает, что, судя по выпадам против «Беседы», стихотворение могло быть написано много раньше (см.: Вяземский П. А. Стихотворения. Л., 1958, с. 446).

¹¹³ Там же, с. 307.

¹¹⁴ Там же, с. 378.

¹¹⁵ Там же, т. 1, с. 26, 31, 32.

¹¹⁶ Об этом см.: Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский, с. 365—368.

в период дискуссий о «романтической трагедии», мысль эта восхитила Пушкина, отметившего на полях книги против приведенных слов: «Прекрасно»),¹¹⁷ но Озерову не было дано это понять и вырваться из плена «вкоренелых предрассудков». Между тем «великие трагики и из новейших чувствовали сию истину, и Вольтер, поражая Зопира и падая Маромета, не был ни гонителем добродетели, ни льстецом порока». Вольтер возник в сознании Вяземского и тогда, когда он сообщал читателям о горестной судьбе Озерова, сломленного преследованиями завистников и оставившего «поприще славы своей» в самом расцвете сил. В отличие от Озерова, не умевшего «ни презирать вражды, ни бороться с нею», Вольтер, вооруживший против себя (в том числе и театральными триумфами) «толпу врагов», выстоял и одержал победу, ибо умел «всегда с равным искусством вести как оборонительную, так и наступательную войну».¹¹⁸

В 1821 г. по предложению Вольного общества любителей российской словесности Вяземский в короткий срок написал статью-предисловие к сочинениям И. И. Дмитриева. Впрочем, появилась она лишь через полтора года, после сильного сокращения и смягчения, произведенного по требованию цензора, но также и под давлением более «умеренных» друзей и сочленов.¹¹⁹ Исключительно высоко оценивая роль Дмитриева в совершенствовании русского литературного языка и развитии басенного жанра, Вяземский не мог, конечно, не признать «возвышенного дарования» главного его соперника — И. А. Крылова. Но в представлении Вяземского Крылов уступал Дмитриеву, ибо «имел в нем пример поучительный и путеводителя, угладившего ему стезю к успехам».¹²⁰ У Вяземского была, однако, и другая причина для столь сдержанной оценки Крылова — умеренность общественной позиции великого баснописца.¹²¹ Едва ли мог Вяземский простить ему такую, например, басню, как «Сочинитель и разбойник» (1816), направленную против французской просветительской философии и, по всей вероятности, Вольтера (хотя Крылов утверждал позднее, что ничего подобного «у него и в голове не было»)¹²² Во всяком случае, узнав от А. И. Тургенева о выдвинутых после появления «*Anthologie russe*» Эмиля Дюпре де Сен-Мора (где была помещена названная басня в переводе Кс. де Местра) обвинениях такого рода и разгоревшейся в связи с этим полемике во фран-

¹¹⁷ Об этом см.: Майков Л. Н. Князь Вяземский и Пушкин об Озерове. — *Старина и новизна*, 1897, кн. 1, с. 318—319.

¹¹⁸ ВПСС, т. 1, с. 26, 39.

¹¹⁹ Об этом см.: Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский, с. 84—95.

¹²⁰ ВПСС, т. 1, с. 144, 146, 151. — В этой связи см.: Кульман Н. К. Кн. П. А. Вяземский как критик. — *Изв. ОРЯС*, 1904, т. 9, кн. 1, с. 311.

¹²¹ См.: Степанов Н. Л. И. А. Крылов. Жизнь и творчество. М., 1958, с. 270.

¹²² Хроника недавней старины. Из архива кн. Оболенского-Нелединского-Мелецкого. СПб., 1876, с. 253.

цузской печати,¹²³ Вяземский не выразил ни малейшего удивления: «Басня Крылова подлая и угождение нынешнему мнению. Она мне всегда была тошна», — заметил он в письме к Тургеневу от 21 января 1824 г.,¹²⁴ а в конце жизни развил эту мысль в особой «приписке» к статье о Дмитриеве, увидевшей свет лишь в 1878 г.¹²⁵

Нарастание в русской литературе романтических тенденций слегка поколебало отношение Вяземского к Вольтеру. Так, характеризуя в 1827 г. «литературный мир» современной Франции и, в частности, знаменитый спор классиков и романтиков о драме, он вспомнил антишекспировские выступления Вольтера, — как он писал, — «шутки Вольтера на Шекспира», — которым при всей их «забавности» не было, однако, суждено остановить победное шествие «британского Эсхила», и в подтверждение привел слова Гизо из его «*Vie de Shakespeare*»: «Ныне уже идет дело не о гении и не о славе Шекспира: никто их не оспаривает; важнейший вопрос возникнул ныне, вопрос о том, система драматическая Шекспира не лучше ли системы Вольтеровой».¹²⁶ В статье о сонетах Мицкевича (1827) Вяземский констатировал, что «цинические шутки Вольтера» (равно как «отзывы беззаботной мудрости» Горация и оды Ломоносова) были бы ныне «фальшивыми звуками», и соглашался с довольно резкой критикой пуристических примечаний Вольтера к сочинениям Корнеля, заключенной в «Письмах аббата Галиани к госпоже д'Эпине».¹²⁷

Но одновременно Вяземский с глубочайшим уважением писал о Вольтере — «смелом гонителе предрассудков»,¹²⁸ а несколько позднее, отвечая на страницах «Литературной газеты» Булгарину и его единомышленникам, обвинявшим Пушкина и писателей пушкинского круга в «литературном аристократизме», напоминал о той выдающейся роли, которую некогда сыграли в укреплении международного престижа отечественной культуры наиболее просвещенные из русских аристократов минувшего века, «с честью и блеском» представлявшие русское дворянство в кабинетах Монтескье и Вольтера.¹²⁹ О сочувственном интересе к Вольтеру «на вершинах» русского общества екатерининских времен много говорилось и в самом значительном литературно-критическом труде Вяземского — в его книге «Фонвизин», создававшейся на рубеже 1820—1830-х гг.

¹²³ Об этом см.: Драганов П. Д. Международное значение Крылова. — ЖМНП, 1895, ч. 300, № 7, отд. 1, с. 100—105.

¹²⁴ Остафьевский архив..., т. 3. СПб., 1899, с. 5; см. также с. 135. — Сходное истолкование басни Вяземский мог найти в «Сыне отечества», 1819, ч. 54, № 22, с. 137. — Ср.: Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825—1826 гг.), с. 355.

¹²⁵ ВПСС, т. 1, с. 161—162.

¹²⁶ Там же, с. 229.

¹²⁷ Там же, с. 331.

¹²⁸ Там же, с. 294.

¹²⁹ Там же, т. 2, с. 162.

По мысли Вяземского, в наибольшей степени этому способствовала сама Екатерина II, которая «с молодых лет полюбила французский язык и французскую литературу», а после вступления на престол «воцарила ... с собою правила, которые почерпнула в учении», что выразилось, между прочим, и в содействии доступными ей средствами — «гласным покровительством, всеми обольстительными изъявлениями благоволения, свойственными власти монарха и утонченности женщины», — «торжеству Вольтера и соучастников его во всемирном правлении умов и мнений». ¹³⁰

Вяземский не отрицал, что «и до Екатерины правительство и двор признавали у нас власть просвещения европейского и не пренебрегали союзом с умственными знаменитостями современными», и называл в этой связи вольтеровскую «Историю Российской империи при Петре Великом», хотя и воспринимал ее — по незнанию исторических обстоятельств, следуя давней традиции, — как плод «дипломатико-литературных сделок». ¹³¹ Но обращался он к этому факту главным образом с тем, чтобы отметить посредничество «между нами и европейскою литературою» И. И. Шувалова, «вельможи двора Елисаветы и любимца ее», а также его женеваго агента Б. М. Салтыкова. Неизменное участие русских вельмож в «движениях современной литературной деятельности» и «сношениях, завязавшихся между Россиею и представителями европейского просвещения», было для Вяземского не только одним из признаков излюбленного им периода отечественной истории. В этом он видел также раннее проявление некоей общей закономерности русского культурного развития, продолжавшей действовать и в его — столь несходную с екатерининской — эпоху.

Всячески настаивая на исконном отсутствии в России антагонизма между «аристократией породы и чинов» и «непокорной аристократией ума и дарований», он не столько думал о тех далеких временах, когда многие из окружавших Екатерину «любимцев власти» ездили «на поклон к фернейскому отшельнику», сколько о преследовавшей его «литературной промышленности», которая, с горечью отмечал он, «есть существенная аристократия нашего века».

Весьма любопытный «вольтеровский материал» давали также творчество и биография Фонвизина, который являлся переводчиком «Альзиры» и очевидцем манифестаций в честь фернейского старца в мае 1778 г., но оба эти факта нисколько не воодушевили Вяземского. В переводе вольтеровской трагедии он увидел, опираясь на признание самого Фонвизина, лишь «ученический опыт ... и опыт неудачный», вместо аргументации сообщив колоритное суждение о нем одного из «насмешников старого века» —

¹³⁰ Там же, т. 5, с. 8.

¹³¹ Там же, с. 8—9.

А. С. Хвостова.¹³² Сообщение же о последних триумфах Вольтера возмутило Вяземского сдержанностью тона (действительно свойственной письмам Фонвизина из-за рубежа) и вызвало несправедливое обвинение Фонвизина в неприязни к Вольтеру: «Восторги, поклонение, апофеоз заживо, которыми приветствовали его сограждане, сие торжество, напоминающее народные празднества древней Греции, не возбудили никакого сочувствия в душе писателя. Крики упоенной публики в театре „Vive Voltaire!“ признаны им *неблагопристойными*. Вместо того, чтобы мысленно участвовать в торжестве, приносящем в лице Вольтера честь всем литературным заслугам, он, как будто чуждый сим заслугам и сей славе, дивится, что народ может гордиться своим писателем и приносить ему дань удивления и любви».¹³³

Как известно, с этим утверждением решительно не согласился, читая в начале 1830-х гг. книгу в рукописи, Пушкин. «Описание Вольтерова торжества в Ф<он> В<изине> превосходно, — заметил он на полях, — и есть исторический документ. О Вольтере Ф<он> В<изин> везде отзывается не только с уважением, но и с явной симпатией».¹³⁴ При всем сочувствии европейскому просвещению принять точку зрения Вяземского он не мог: сказались его раздумья об исторических судьбах России, о «народном воспитании», о своеобразии отечественной культуры. «Он, — писал в «Автобиографическом введении» Вяземский, — хотя вовсе не славянофил, примыкал нередко к понятиям, сочувствиям, умозрениям, особенно отчуждениям, так сказать, в самой себе замкнутой, России, то есть России, не признающей Европы и забывающей, что она член Европы: то есть допетровской России; я, напротив, вообще держался понятий международных, узаконившихся у нас вследствие преобразования древней России в новую».¹³⁵

Без всякого энтузиазма была встречена эта защита Вольтера от Фонвизина и тогда, когда книга Вяземского вышла в свет (1848). Большинству читателей подобное отношение к Вольтеру казалось теперь анахронизмом. Между тем в представлении Вяземского французское Просвещение было по-прежнему «последним словом прогресса», которому он стремился служить в меру понимания и сил.

На протяжении последующих лет, оказавшихся для него по преимуществу «годами странствий», Вяземский обращался к Вольтеру редко. Лишь в Венеции, при осмотре бывшего дворца Вендрамини, резиденции изгнанной из Франции герцогини Беррийской, ему вспомнился ужин свергнутых монархов из «Кандида».¹³⁶ Вольтер возникал в его памяти и в связи с некоторыми швейцар-

¹³² Там же, с. 24.

¹³³ Там же, с. 85.

¹³⁴ Новонайденный автограф Пушкина, в. 39.

¹³⁵ См.: там же, с. 79.

¹³⁶ См.: ВПСС, т. 10, с. 42.

скими впечатлениями,¹³⁷ но показательно, что даже посещение в 1854 г. Фернея не нашло отклика ни в его творчестве, ни в переписке. Только вторичное паломничество, совершенное туда в 1859 г., всколыхнуло в нем прежние мысли и чувства и побудило взяться за перо. 2 июня 1859 г. Вяземский отметил в записной книжке: «Ездили в Ферней. Великолепная радуга»; а на другой день утром он уже «писал статью о Фернее».¹³⁸

Статья эта отнюдь не была апологией Вольтера. «Я не вольтериянец, — определял Вяземский свою позицию, — но и не бешеный антивольтериянец». Он признавал теперь изрядную архаичность Вольтера и почти с удовлетворением констатировал, что «кошунства Вольтера не читаются ныне даже и необдуманной молодежью, падкой на всякие соблазны». Тем не менее, утверждал он, «в Вольтере найдется много, за что можно помянуть его не лихом, а добрым словом. Да и время взяло свое и отребило пшеницу от плевел». Восторженное преклонение перед Вольтером казалось Вяземскому едва ли не пережитком прошлого, но и «противоположная крайность» глубоко его огорчала. «Вольтера, — сокрушался он, — может быть, вовсе не читают. Это жаль и несправедливо».¹³⁹

Ссылаясь на ранние суждения Карамзина (в предисловии к переводу шекспировского «Юлия Цезаря»), впоследствии им отвергнутые, и на его «позднейшее умственное настроение» (а также на высказывания старого Гёте), Вяземский даже отдавал Вольтеру предпочтение по сравнению с Шекспиром, который «не промывал своего золота», между тем как «Вольтер не только промывал свое золото, но и давал ему художественную оправу». Пора «романтических битв» давно миновала. Постепенно ослабевали былые литературные увлечения и пристрастия Вяземского: почти утратил свою власть над ним Байрон, меньше волновали мадам де Сталь и Стендаль. Вольтер же, хоть и не был окружен прежним ореолом, свою привлекательность прочно сохранял: «... он был человек ума необычайного, разнообразного, смелого и острого и писатель, в отношении художественном, каких немногих».¹⁴⁰

Написанное под впечатлением от той же поездки стихотворение «Ферней» как бы дополняло охарактеризованную выше статью. Лаконичное замечание о «кошунствах» Вольтера получило здесь развитие и «наглядное подтверждение». Вяземский вспоминал его «суетность» и «покорство», неспособность вырваться из рабства страстей и соблазнов, возвыситься над «волнениями внешнего мира», пренебречь «горечью житейской тревоги», прислушаться к «гласу вдохновений» окружавшей его

¹³⁷ См.: там же, с. 195, 203, 208, 214.

¹³⁸ См.: там же, с. 227.

¹³⁹ Там же, т. 7, с. 52—53.

¹⁴⁰ Там же, с. 54—55.

«красивой и дикой природы» и, наконец, «возлюбить в твореньи творца».

Однако и на сей раз Вяземский отказывался бросить камень в его «пепел остылый». Вольтер заслуживал не укора, а сострадания, ибо он был

...сподвижник великого дела.
Божественной искрой в нем грудь пламенела;
Но дикие бури в груди бушевали,
Но гордость и страсти в пожар раздували
Ту искру, в которой таилась любовь.¹⁴¹

Это стихотворение (равно как и статья о Фернее) было напечатано посмертно. Единственным поздним отзывом Вяземского о Вольтере, появившимся при его жизни в печати, было восьми-стишие «Сфинкс, не разгаданный до гроба», по содержанию отчасти созвучное «Фернею».¹⁴² Написанное в сентябре 1868 г. и опубликованное шесть лет спустя, оно явилось откликом на споры о Вольтере 1860—1870-х гг. Но в этом отклике не было ни тени сочувствия современным «вольтеристам»: за Вольтера теперь сражалась преимущественно демократическая критика, видевшая в нем «одного из первых борцов за новую мысль»; между тем Вяземскому эта «новая мысль» внушала раздражение и страх. В этом, как и почти во всем, он оставался человеком иной, безвозвратно ушедшей эпохи.

III

К Вольтеру обращались и некоторые другие поэты пушкинского времени. Однако ни для кого из них Вольтер не являлся, как для Пушкина и Вяземского, спутником всей жизни.

В поэтическом наследии В. И. Туманского существует всего два свидетельства его увлечения Вольтером, оба относящиеся к 1822 г. Это перевод стансов «К г-же дю Шатле» (1741), по традиции ошибочно названных им стансами «К Сидевилу»,¹⁴³ и подражание «Стансам-экспромту, сочиненному во время ужина при одном из немецких дворов», которое он адресовал родственнику и другу детства А. В. Кочубею.¹⁴⁴ Как известно, стансы «К г-же дю Шатле» перевел в лицейскую пору Пушкин. Правда, они впервые увидели свет много позднее, но по обычаю тех лет распространялись в списках. С подобным списком и познакомился — в Петербурге или Одессе — Туманский. Иначе было бы

¹⁴¹ Там же, т. 11, с. 324—326.

¹⁴² Там же, т. 12, с. 373.

¹⁴³ Новости литературы, 1823, ч. 4, № 22, с. 142—143.

¹⁴⁴ Тр. Вольного о-ва любителей рос. словесности, 1823, ч. 21, с. 61—62. — Ранее там же (1818, ч. 1, кн. 3, с. 440) см. малоудачный перевод мадригала «Souvent un peu de vérité».

невозможно объяснить отдельные совпадения в его переводе с соответствующими местами у Пушкина и прежде всего их «общую» начальную строку —

Ты мне велишь пылать душою.¹⁴⁵

Но перевод Туманского обладал и одним существенным достоинством в сравнении с пушкинским: большей точностью. Не следует также упускать из виду, что перевод Туманского был доступен весьма широкому кругу читателей, которые с его помощью составляли себе представление об этом стихотворении Вольтера (старый перевод Хераскова к тому времени был совершенно забыт).

Несмотря на подзаголовок «подражание Вольтеру», стансы «К Аркадию» также являлись переводом, но — в противоположность стансам «К Сидевиллю» — переводом вольным. Лишь в двух из шести строф Туманский сравнительно далеко отступил от французского текста: в пятой, которую он почти полностью освободил от подробностей эротического свойства, и в шестой, сохранившей в его истолковании лишь общую свою направленность. Свободно передал Туманский и два первых стиха.

Что же касается упоминаний Вольтера у Туманского, то одно из них содержится в его письме к С. Г. Туманской от 12 марта 1823 г., где «резвый Вольтер» и «красноречивый Руссо» фигурируют в качестве «прекраснейших источников человеческого познаний»,¹⁴⁶ другое — в стихотворении «Век Елисаветы и Екатерины» (май 1823 г.), где переписка Вольтера с Екатериной II названа среди характерных примет этого «величественного века», «зизидательную силу» которого не помрачила «слава наших дней».¹⁴⁷

В сознании Е. А. Баратынского Вольтер появился рано: начало знакомства с вольтеровским творчеством состоялось в период его пребывания в частном немецком пансионе (1812). В дальнейшем это знакомство постепенно расширялось и углублялось, что подтверждается и его отзывом о Вольтере в письме к матери из Подвойска от 1816 г. Приведя последнюю строфу стихотворения «Jean qui pleure et qui rit», Баратынский дал ей высочайшую оценку, а попутно отметил, что стихи Вольтера вообще «часто исполнены истины и силы», причем свое суждение он противопоставил таким обычным тогда формулам, как «еретик» и «сумасброд».¹⁴⁸ С не меньшей отчетливостью отноше-

¹⁴⁵ Об этом см.: Лернер Н. О. Заметки о Пушкине. К истории «Стансов» (Из Вольтера). — В кн.: Пушкин и его современники, вып. 29 — 30. Пг., 1918, с. 1—4.

¹⁴⁶ Туманский В. И. Стихотворения и письма. СПб., 1912, с. 243.

¹⁴⁷ Там же, с. 113. — См.: Базанов В. Г. Ученая республика, с. 300; Вадуро В. Э. Пушкин и Аркадий Родзянка. — В кн.: Временник Пушкинской комиссии. 1969. Л., 1971, с. 56.

¹⁴⁸ Е. А. Баратынский. Материалы к его биографии. Из Татевского архива Рачинских. Пг., 1916, с. 28. — Принято считать, что переводчиком

ние Баратынского к Вольтеру обнаружилось в статье «История кокетства» (1824), где он был причислен к «великим гениям последнего времени».¹⁴⁹ Однако единственным значительным проявлением его интереса к фернейскому патриарху явился, конечно, перевод аллегорической сказочки «Телема и Макар» (которую до него переводили Николев, Херасков и Востоков).

Судя по автографу в альбоме «Souvenir», перевод этот был выполнен не позднее 1825 г. Но поэт продолжал работу, совершенствуя произведение в рукописи при подготовке каждой новой публикации — в «Северных цветах», в журнале «Славянин» и в «Стихотворениях Евгения Баратынского» (1827). Особенно показательно преобразование начальных строк, от редакции к редакции приобретающих все больший лаконизм и — в этом смысле — все большую близость к французскому тексту.

В сущности аналогичную цель Баратынский преследовал и в некоторых других случаях, хотя при этом он имел в виду и возможное вмешательство цензуры: первоначально изменив вольтеровское «Elle va d'abord à la cour» на «Приходит в Царское она», «souvent» на «лавру», «magistrat» на «совет», Баратынский затем отказался от подобного склонения французской сказочки на русские нравы и восстановил, а точнее — сохранил «двор», «обитель», «магистрат».

Собственно цензурный характер имели, по-видимому, лишь три отступления, все относившиеся к «монастырскому эпизоду». В рукописной редакции признание игумена (у Вольтера — sous-prieur) звучало:

Но на беду по пустякам
Посты, раздор, обеды нам
В замену стены наши дали.

Впоследствии же оно уступило место более «спокойному» —

Но, признаюсь, по пустякам
Приют от бурь житейских нам
В замену стены эти дали.

«Le petit moine tondu» стал в рукописи «болтливым маленьким (другой вариант — неласковым) чернецом», в «Славянине» — «бледным и сухим чернецом», а позднее всюду «задумчивым чернецом». В то же время «стриженный наглец» (рукопись) и «живой мертвец» («Славянин») превратились в «набожного мудреца».¹⁵⁰

письма — и во всяком случае указанной строфы — был И. С. Тургенев. См.: Тургенев И. С. Полн. собр. соч. Соч., т. 13, М.—Л., 1967, с. 689—690. — Однако утверждение это нуждается в дополнительной аргументации.

¹⁴⁹ Баратынский Е. А. Полн. собр. соч., т. 2. Пг., 1915, с. 206.

¹⁵⁰ См.: ПД, 21731/CL б. 9, л. 10—12; Северные цветы на 1827 год. СПб., 1827, с. 297—302; Славянин, 1827, ч. 1, № 8, с. 123—127; Баратын-

Эта «чрезвычайная строгость к самому себе» вызвала сочувствие О. М. Сомова, откликнувшегося в «Сыне отечества» на выход в свет «Стихотворений Евгения Баратынского». «Прекрасное подражание аллегорической Вольтеровой сказке» имел он несомненно в виду, восхищаясь и «чистой языком» русского поэта, и «прелестной гармонией» его стихов.¹⁵¹ Не менее одобрительно отзывался об этом переводе в рецензии на третий выпуск «Северных цветов» критик «Московского телеграфа», одновременно отметивший вольтеровское воздействие в напечатанном там же послании «Богдановичу». «Отличительные свойства посланий поэта, образцового в сем роде, — писал он, — непринужденный язык, веселое остроумие, переходы свободные, мысли светлые и светло выраженные, отличают и русское послание».¹⁵²

Неизвестно, доставили ли приведенные суждения радость молодому поэту, но если доставили, то ненадолго: в свете его эстетических представлений конца 20—30-х гг. этот ранний опыт должен был утратить для Баратынского почти всякую привлекательность.¹⁵³ Подражание, утверждал он теперь, унижало гения. Основным признаком гения он считал своеобразие. В его понимании гений был лишь «собственным величием велик».¹⁵⁴

Более чем скромный след оставил Вольтер в поэтическом творчестве Д. В. Давыдова. Это всего одно четверостишие — мадригал «Ей», созданный в 1833 и напечатанный в 1840 г.¹⁵⁵ К тому же с «Портретом мадам де Сен-Жюльен», которому подражал Давыдов, его стихотворение сближает лишь положенный в их основу сходный прием: соединение противоположных признаков (обольстительный ум — душевная простота, веселость — мечтательность, мысль — чувство).¹⁵⁶

Построение и метрическое разнообразие роднят с вольтеровским «Jean qui pleure et qui rit» стихотворение В. Г. Теплякова

с кий Е. А. Стихотворения. М., 1827, с. 131—136. — См. в этой связи наблюдения М. Л. Гофмана в кн.: Баратынский Е. А. Полн. собр. соч., т. 2, с. 279—295.

¹⁵¹ См.: Сын отечества, 1827, ч. 116, № 21, с. 79—80.

¹⁵² Моск. телеграф, 1827, ч. 16, № 13, с. 87.

¹⁵³ Отчасти в этом убеждает и тот факт, что текст, напечатанный Баратынским в 1835 г., полностью совпадал с предыдущим (см.: Баратынский Е. А. Стихотворения, ч. 2. М., 1835, с. 79—84).

¹⁵⁴ См. вступительную статью Е. Н. Купреяновой к кн.: Баратынский Е. А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1957, с. 29—30; Фризман Л. Г. Творческий путь Баратынского. М., 1966, с. 97. — Сходную, но еще более стремительную эволюцию претерпело отношение к Вольтеру Ф. И. Тютчева: известно, что в 1818 г. он восхищался «Генриадой» (которая уже и тогда редко вызывала подобные чувства). Об этом см.: Пигарев К. В. Тютчев о Вольтере. — В кн. Мурановский сборник, вып. 1. Мураново, 1928, с. 33—35.

¹⁵⁵ См.: Давыдов Д. В. Соч. М., 1962, с. 135.

¹⁵⁶ «Подраженным Вольтеровскому» Давыдов считал и другой свой мадригал — «После разлуки» (см. его письмо к А. С. Пушкину от 7 июля 1836 г.). В действительности это было подражание Жану Берто.

«Слезы и хохот», помещенное во втором томе его поэтических сочинений (1836), хотя он не только скрыл свой непосредственный источник, но и направил читателя «по ложному следу», представ «Слезам и хохоту» эпиграфы, извлеченные из «Песни Жуковского и «Поэтических и религиозных гармоний» Ламартина, который, впрочем, был много ближе автору «Фракийских элегий», нежели язвительный Вольтер.¹⁵⁷

Ламартина (и французскую романтическую поэзию вообще) Вольтеру предпочитал и А. И. Полежаев, обратившийся к фернейскому старцу лишь однажды, в ноябре 1835 г. Речь идет о последнем вольтеровском стихотворении «Прощание с жизнью».¹⁵⁸ Само по себе вольнодумное и смелое, это стихотворение приобрело в истолковании русского поэта еще большую остроту. Достаточно привести строки:

Когда сыграл на сцене мира
Пустую роль свою актер —
Тогда с народного кумира
Долой мишурная порфира,
И свист — безумцу приговор!

в сравнении с которыми соответствующий фрагмент у Вольтера выглядел весьма невинно. Строки эти, как известно, обратили на себя особое внимание цензора при попытке издать в 1837 г. сочинения «неблагонадежного» поэта. Предпринимая следующую попытку, друг Полежаева А. П. Лозовский опустил их заранее, что, однако, не повлияло на судьбу сборника, так и не пропущенного цензурой. В печать «Прощание с жизнью» проникло в сильно урезанном виде. Первые семнадцать строк увидели свет в альманахе «Новогодник» (1839), а в сборнике «Часы выздоровления» (1843) к ним удалось добавить еще пятнадцать (23—37). Полностью же (с посвящением Л. А. Якубовичу и эпиграфом из В. Гюго) стихотворение было напечатано много лет спустя, в период некоторого ослабления цензурного гнета.¹⁵⁹

Характерно, что даже у «парнасских старозеров» поэзия Вольтера не вызывала в это время особого восторга. Эпитафия г-же дю Шатле в переводе Ал. К. Дуроп; ¹⁶⁰ эпиграмма на смерть г-на д'Оба, склоненная на отечественные нравы Н. Н. Анненковым (впоследствии — видным военным деятелем); ¹⁶¹ мадригал прин-

¹⁵⁷ См.: Тепляков В. Г. Стихотворения, т. 2. СПб., 1836, с. 167—173.

¹⁵⁸ Полежаев А. И. Стихотворения и поэмы. Л., 1957, с. 382—383.

¹⁵⁹ Об этом см.: Баранов В. В. Последнее стихотворение Вольтера «Прощание с жизнью» в переводе А. И. Полежаева. — Вестн. МГУ, 1955. Сер. обществ. наук, вып. 1, № 11, с. 89—92.

¹⁶⁰ Тр. Вольного о-ва любителей рос. словесности, 1820, ч. 10, № 4, с. 92.

¹⁶¹ Благонамеренный, 1820, ч. 9, № 3, с. 194. — О его переводе сказочки Вольтера «Что нравятся женщинам» (до нас не дошедшем) см.: ГПБ, ф. 603, № 7, л. 29.

цессе Ульрике, «литерально» (т. е. буквально) переведенный Г. П. Ржевским, печально известным «владельцем Зефиров и Амуров»,¹⁶² на склоне лет не оставившим мысль о литературной славе;¹⁶³ отрывок из «Генриады» (сражение д'Айи с сыном), тягеловесно «предложенный» неким А. Звегинцевым;¹⁶⁴ наконец, две оды, к которым в 1828 г. обратился С. Н. Глинка с целью способствовать усилению антитурецких настроений в связи с начавшейся русско-турецкой войной,¹⁶⁵ — таков круг произведений этого рода, появившихся на страницах русских книг и журналов.¹⁶⁶

К названным переводам примыкает и небольшой фрагмент вольтеровской сатиры «*Les chevaux et les ânes, ou Les étrennes aux sots*», опубликованный в альманахе Б. М. Федорова «Памятник отечественных муз».¹⁶⁷ Перевод этот принадлежал А. А. Шаховскому, который извлек его из своей комедии «Ты и Вы. Послание Волтера, или Шестьдесят лет антракта», оставшейся неизданной.¹⁶⁸ Почему Шаховской напечатал именно этот отрывок, неизвестно. По ходу действия пьесы стихи Вольтера приводились не раз: в первом акте — помимо указанных — экспромт «*De votre esprit la force est puissante*», в «аналогической интермедии» — знаменитое послание «*Les Vous et les Tu*», во втором акте — три четверостишия из «*Précis de l'Ecclesiaste*» и одно из обращения Вольтера к группе друзей и почитателей, предпринявших сооружение его статуи, исполнение которой было поручено Ж.-Б. Пигалю, а также эпиграмма «*Mon Henri quatre et ma Zaïre*».¹⁶⁹

¹⁶² Ржевский Г. П. Новые басни и разные стихотворения. СПб., 1827, с. 79. — Здесь же помещен и ответ Фридриха II (с. 80). О Ржевском см.: Дурылин С. Н. Пушкин и владелец «Зефиров и Амуров». (Из забытых встреч Пушкина). — Тридцать дней, 1937, № 1, с. 75—78.

¹⁶³ Еще один перевод этого мадригала см.: Дамский журн., 1833, ч. 43, № 38, с. 190.

¹⁶⁴ Укр. журн., 1824, ч. 3, № 15, с. 133—135.

¹⁶⁵ Мысли королевы Христины о турках; воззвание к государям христианским по случаю вооружения турок против Венеции и стихи Вольтера на войну России с турками и ода его на войну в Греции. М., 1828. — О принадлежности перевода Глинке см.: Геннади Г. Н. Справочный словарь о русских писателях и ученых, т. 1. Берлин, 1876, с. 221. — О цензурной истории издания см.: Добровольский Л. М. Запрещенная книга в России. 1825—1904. М., 1962, с. 30.

¹⁶⁶ О переводе «Послания к Урании», сделанном не позднее декабря 1824 г. Ю. И. Познанским (?), см. свидетельство М. П. Вронченко в его оставшейся неизданной эпиграмме «К стихам г. П... го, между которыми есть перевод Давидовых псалмов и Вольтерова „*Le pour et le contre*“» (ПД, 19.453/СХХХб 1, л. 40).

¹⁶⁷ Памятник отечественных муз на 1827 год. СПб., 1827, с. 249—250.

¹⁶⁸ См.: Бочкарев В. А. Русская историческая драматургия периода подготовки восстания декабристов (1816—1825 гг.). Куйбышев, 1968, с. 333—334.

¹⁶⁹ См.: Шаховской А. А. Ты и Вы. Послание Волтера, или Шестьдесят лет антракта. Анекдотическая комедия в двух действиях, с интер-

Стихотворения эти составляли документальную основу комедии. Однако в той или иной мере документальность была присутствующая едва ли не всем сценам «Ты и Вы» — начиная с первого, «экспозиционного» диалога Аглаи и ее горничной Бабетты и кончая финальными репликами старика Вольтера. Речь идет о всевозможных «исторических экскурсах», но еще чаще — о беглых упоминаниях, освещающих различные эпизоды жизни французского писателя (знакомство с Нинон де Ланкло, заключение в Бастилию, связь с Адриенной Лекуврер и маркизой дю Шатле, пребывание в Фернее, триумф на шестом представлении «Ирины», посещение Французской Академии) и характеризующих некоторые его произведения — «Эдипа», «Мариамну», «Заиру», «Генриаду», комедии и ряд других.¹⁷⁰

Правда, дело не обошлось без неточностей, в частности — хронологических смещений: так, первая постановка «Мариамны» была отнесена вместо 1724 к 1718 г.; героиня комедии рассуждала о «Заире», созданной позднее; Вольтер читал стихи, написанные им почти сорок лет спустя, и т. п. Но на оценку «Ты и Вы» зрителями и критикой это не повлияло: «Пьеса Шаховского, — сообщила П. А. Катенин Н. И. Бахтину, — понравилась».¹⁷¹

Успеху способствовала в первую очередь великолепная игра актеров — М. И. Валберховой, М. А. Азаревичевой и особенно И. И. Сосницкого. «Г. Сосницкий в роле Вольтера, — отмечал О. М. Сомов в рецензии на второй спектакль, 28 января 1824 г. (первое представление состоялось пятью днями раньше),¹⁷² — показал новый опыт превосходного своего таланта... Во втором действии г. Сосницкий совершенно вошел в характер лица, им представляемого. Он так умел подделать свое лицо, что без всякого обмана воображения в нем можно было узнать сходство со всеми известными бюстами и портретами Вольтера. Можно почти решительно сказать, что никто из зрителей не слышал голоса и смеха Вольтерова, но голос и смех г. Сосницкого показывали в нем осьмидесятилетнего старика, бодрого духом, но дряхлого телом, страждущего удушьем и кашлем. Словом: очарование

медий, представляющей Сент-Жерменскую ярмонку, взятая из жизни Вольтера. — ТБ, I.XX.4.90, л. 1 об., 14, 17—17 об., 18 об.

¹⁷⁰ Отношение Шаховского к Вольтеру-комедиографу (сдержанное, если не отрицательное) проявилось также в его комико-аллегорическом дивертисменте «Меркурий на часах, или Парнасская застава» (1828). См.: Шаховской А. А. Комедии. Стихотворения. Л., 1961, с. 690.

¹⁷¹ Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину. СПб., 1911, с. 56; см. также с. 55, 105, 179, 214, 216.

¹⁷² Своеобразным «откликом» на первый спектакль явилось послание Д. И. Хвостова «Князю А. А. Шаховскому», в котором он выражал сожаление, что, «хотя желанием горел», не попал в этот день в театр. Стихотворение свидетельствовало о его интересе к комедии, который был обусловлен и тем, что ее сочинил Шаховский, и тем, что ее героем явился «нескромный Аруэт» (см.: Хвостов Д. И. Разные стихотворения... сочиненные после Полного собрания, т. 5. СПб., 1827, с. 91—93).

в полной мере действовало на зрителей, которые, по окончании пьесы, с громкими плесками вызвали своего любимца». ¹⁷³

Пьеса произвела на Сомова впечатление и сама по себе: он увидел в «сей драматической панораме» образец исторического или (что в его понимании означало почти то же) романтического жанра. Это было, полагал он, «быстрое» и «искусное» воссоздание «некоторых замечательных эпох долголетней и богатой воспоминаниями жизни Вольтеровой», иными словами — «оживление» минувшего с помощью воображения. «Романтическим» назвал он и построение комедии, противоречившее классическим канонам. ¹⁷⁴

По-видимому, в силу тех же причин о дилогии Шаховского весьма одобрительно отзывался А. А. Бестужев. ¹⁷⁵ Между тем А. С. Грибоедов воспринял пьесу лишь как развлекательное зрелище, построенное на основе некоторых исторических фактов. «Удивление при встрече с любовницею после 60 лет разлуки; самодовольствие Вольтера, что он первый познакомил французов с англичанами, первый был вызван и увенчан в театре; анекдот с перстнем, кофейная острота и проч. мелочь», — все это, по его мнению, не давало сколько-нибудь полного представления о Вольтере и его эпохе. ¹⁷⁶ «Я бы желал...», — писал он Вяземскому 11 июля 1824 г., — чтобы картина неизбежной дряхлости и потухшего гения местами проявлялась памятью о протекшей жизни, громкой, деятельной, разнообразной». И далее уточнял: «Кто век прожил с большим блеском? И как неравна судьба, так сам был неровен: репителью действовал на умы современников, вел их, куда хотел, но иногда светильник робкий, блудящий огонек, не смеет назвать себя; то опять ярко сверкает реформатор бичом сатиры; гонимый и гонитель, друг царей и враг их. Три поколения сменились перед глазами знаменитого человека; в виду их всю жизнь провел в борьбе с суеверием богословским, политическим, школьным и светским, наконец ратовал с обманом в разных его видах. И не обманчива ли самая та цель, для которой подвизался? Какое благо? — колебание умов ни в чем не твер-

¹⁷³ Сын отечества, 1824, ч. 91, № 5, с. 228—229. — См.: Бертенсон С. Л. Дед русской сцены. Пг., 1916, с. 42—45.

¹⁷⁴ См. сходное указание Я. Н. Толстого в «Revue encyclopédique» (1825, t. 26, p. 898—899). Однако в отличие от Сомова он находил допущенное нарушение единства времени лишь «извинительным». Впрочем, писал он с чужих слов, ибо находился тогда в Париже (см.: Модзалевский Б. Л. Яков Николаевич Толстой. СПб., 1899, с. 25—28). О том же свидетельствует и его указание, что пьеса — стихотворная и что в ней только два персонажа.

¹⁷⁵ См.: Полярная звезда. М.—Л., 1960, с. 495.

¹⁷⁶ Грибоедов А. С. Полн. собр. соч., т. 3. Пг., 1917, с. 159. — Письмо написано в связи с предстоявшими гастролями в Москве И. И. Сосницкого, при участии которого комедия Шаховского была дана дважды — 20 и 27 августа 1824 г. В следующем году (12 июня) перед московскими зрителями в этой роли выступил М. С. Щепкин. См.: Погожев В. П. Столетие организации имп. Московских театров, вып. 1, кн. 2. СПб., 1908, с. 239, 240, 256.

дых??... Теперь, на краю гроба, среди обожателей, их фамиама, их плесков... А где прежние сподвижники, в юности плававшие также алчностью славы, ума, опасностей и торжеств? и где прежние противуборники? — отцы, деды тех, которые нынче его окружают??». ¹⁷⁷

Несомненно, Грибоедов не был удовлетворен: он мечтал о пьесе исторической в точном смысле слова, ¹⁷⁸ Шаховский же остановился на полпути, ограничившись «прозаическим сходством» отдельных ситуаций и деталей. Отсюда и суждение Грибоедова об игре Сосницкого, который был, с его точки зрения, «необыкновенно» и «чрезвычайно» хорош и даже «добавлял автора», но все же главным образом передавал «портретную истину». «Одушевленная бронза того бюста, что в Эрмитаже», — в этих словах звучал укор, хотя, конечно, звучала и похвала. ¹⁷⁹

Едва ли, однако, у Грибоедова имелось много единомышленников. По свидетельству Арапова, комедия Шаховского «собирала всегда в театр многочисленную публику». В этом отношении судьба русской пьесы о Вольтере оказалась более счастливой, чем судьба в России 1820—1830-х гг. некоторых драматических сочинений самого Вольтера.

Из драматического наследия фьрнейского патриарха в репертуаре русского театра этого периода присутствовало шесть трагедий — «Меропа», «Заира», «Китайский сирота», «Семирамида», «Магомет» и «Танкред»; но, за исключением «Танкреда», все они ставились крайне редко, преимущественно для дебюта или в бенефис какого-либо актера. Так, 8 декабря 1819 г. на петербургской сцене в первый бенефис А. М. Колосовой была дана «Заира». ¹⁸⁰ 24 мая 1820 г. в Москве была представлена «Меропа», в которой роль Эгиста «для первого дебюта» исполнил актер Баранов, ¹⁸¹ а три года спустя в этой же роли дебютировал воспитанник Московского театра Виноградский. ¹⁸²

4 февраля 1821 г. в Москве «в пользу актрисы девицы Мочаловой» была представлена (и затем дважды повторена) «Заира» — в новом ремесленническом переводе И. И. Полутарского, которому, естественно, не удалось namного продлить жизнь этой трагедии на русской сцене. ¹⁸³

¹⁷⁷ Грибоедов А. С. Полн. собр. соч., т. 3, с. 158—159.

¹⁷⁸ См.: Бочкарев В. А. Русская историческая драматургия, гл. 7.

¹⁷⁹ Ср.: Арапов П. Н. Летопись русского театра. СПб., 1861, с. 353—354.

¹⁸⁰ См.: там же, с. 289.

¹⁸¹ См.: Моск. ведомости, 1820, 19 мая, № 40.

¹⁸² См.: там же, 1823, февр., № 10. — Роль Нарбаса в московских спектаклях исполнял актер П. Р. Колпаков. Восторженный отзыв о его игре см. в одной из женеvских корреспонденций А. Г. Глаголева (Вестн. Европы, 1823, ч. 131, № 20, с. 265), впоследствии почти без всяких изменений воспроизведенной в его «Записках русского путешественника» (ч. 3. СПб., 1837, с. 152).

¹⁸³ См. объявление о спектакле (Моск. ведомости, 1821, 29 янв., № 9), в котором трагедия эта называлась «новой». Перевод Полутарского был

22 января 1825 г. в бенефис Я. Г. Брянского в Петербурге был дан «Китайский сирота», двумя неделями раньше в бенефис В. А. Каратыгина состоялось возобновление «Семирамиды».¹⁸⁴ Эта трагедия была также включена в программу спектакля, устроенного 13 мая 1831 г. московскими «любителями искусств» с благотворительной целью. В заглавной роли выступила Семёнова — тогда уже кн. Гагарина.¹⁸⁵

О постановке «Магомета» в 1821 г. в Петербурге сообщает Арапов: «17 ноября кн. Шаховской вывел в трагедии» Магомет, в роли Пальмиры, воспитанницу театрального училища Величкину; дебют ее был довольно удачен».¹⁸⁶ В следующем году эту роль исполнила М. А. Азаревичева, выступление которой (равно как и спектакль в целом) вызвало долгую полемику в журнале «Благонамеренный», явившуюся продолжением известного скандала на представлении трагедии Озерова «Поликсена».¹⁸⁷ 18 января 1823 г. «Магомет» был дан на московской сцене в пользу актера Колпакова.¹⁸⁸ Однако к середине 20-х гг. пьеса эта была «оставлена», причем положение не изменилось и после того, как директор императорских театров Н. Ф. Остолопов попытался обновить перевод Потемкина, прослуживший более полувека.¹⁸⁹

«Имея обязанность спешествовать лучшему ходу театральных представлений, — предупредомлял Остолопов читателей, — я принял намерение исправить оставленную за обветшалостию слога трагедию Магомет; но как сия переделка показалась мне весьма трудною, то я решился сам приняться за перевод. Охотники сличать и справляться найдут у меня несколько рифм и полустий, сходных с прежним переводом: сие последовало частию от первоначального покушения моего исправлять оный,

вскоре издан (М., 1821). В 1820-х гг. «Заиру» перевел И. Е. Великопольский, второстепенный литератор пушкинской поры (см.: Модзалевский Б. Л. И. Е. Великопольский. СПб., 1902, с. 8, 54), но труд его не попал ни на сцену, ни в печать. На издание своего перевода Великопольский, по-видимому, продолжал надеяться довольно долго: хранящаяся в ПД рукопись свидетельствует о его настойчивом стремлении улучшить текст путем последовательного освобождения от всякого рода архаизмов (ПД, 32091/ССХ1, б. 7, л. 1—50). Отзвуки этой трагедии Вольтера см. в поэме А. А. Шишкова «Дагестанская узница» (Шишков А. А. Соч. и переводы, ч. 1. СПб., 1834, с. 91—110).

¹⁸⁴ См.: Арапов П. Н. Летопись русского театра, с. 367.

¹⁸⁵ Восторженный отзыв и стихотворение, посвященное этому спектаклю, см.: Молва, 1831, ч. 1, № 20, с. 3—4.

¹⁸⁶ Арапов П. Н. Летопись русского театра, с. 309.

¹⁸⁷ См.: там же, с. 327—329; Благонамеренный, 1822, ч. 20, № 45, с. 226—230; № 47, с. 307—315; № 50, с. 403—416.

¹⁸⁸ См.: Моск. ведомости, 1823, 13 янв. (№ 4). — Другой спектакль состоялся 17 сент. того же года (Погожев В. П. Столетие организации имп. московских театров, вып. 1, кн. 2, с. 218).

¹⁸⁹ В 1821 г. «Невском зрителе» (ч. 6, апр., с. 35—43) был напечатан перевод одной из самых значительных сцен «Магомета» (5-е явление 2-го действия), сделанный — в очень тяжеловесной манере — Ф. М. Сильниковым.

а частью от того, что зная почти всю трагедию наизусть, принимал я иногда чужие выражения за мои собственные. Заметив такую неосторожность уже по окончании перевода, не рассудил я приниматься вновь за перемены, и оставил все так, как было написано».¹⁹⁰

Сказанное не вполне соответствовало истине: в переводе Остолопова было огромное количество всевозможных заимствований у его предшественника. Но и то новое, что он внес в перевод, мало чем отличалось от старого. Для современников слог самого Остолопова тоже был весьма архаичным.

С поразительным единодушием это отметили все критики, отозвавшиеся на появление в свет остолоповского перевода. Первым (характеризуя фрагмент перевода, напечатанный в «Драматическом альманахе»¹⁹¹), произнес свое суждение «Московский вестник»: «Отрывок из „Магомета“ напоминает нам эпитафические стихи Сумарокова. Не его ли шестистопный ямб звучит или, лучше сказать, стучит в первых стихах сего отрывка?».¹⁹² «Прежний перевод заключал в себе много стихов, написанных таким языком, который теперь был бы понятен только в староверческих скитах», — констатировал рецензент «Сына отечества», но он сожалел при этом, что и Остолопов, в свою очередь, «не часто советовался с ухом нынешних посетителей театра: стихосложение и язык, которые нравились современникам Рослава и Сорены, теперь уже считаются анахронизмами».¹⁹³ Не отвергая «трагедию Вольтеру», хотя он и видел в ней немало недостатков, критик предлагал лишь по возможности реформировать ее язык.¹⁹⁴

Уничтожающей была рецензия «Московского телеграфа». «Никогда и нигде... — говорилось в ней, — не видано такого странного явления!»; а затем следовали примеры, красноречиво подтверждавшие эту мысль.¹⁹⁵ Впрочем, даже «Северная пчела», находившая, что «как литературное произведение перевод трагедии „Магомет“ не без достоинства», указывала на множество «отступлений» от «настоящего смысла подлинника» и отмечала, что в переводе «слог вообще не столь легок, как в подлиннике, и фактура стихов русских не имеет той гладкости и заманчивости, как у наших поэтов нового времени, которым Жуковский и Пушкин проложили новый путь в области стихосложения».¹⁹⁶

¹⁹⁰ Магомет, трагедия в пяти действиях, в стихах. Сочинение Вольтера. СПб., 1828, с. 111.

¹⁹¹ Драматический альманах для любителей и любительниц театра... на 1828 год, с. 63—72. — В следующем году в другом альманахе — «Зимцерля» (с. 17—23) появился перевод двух первых сцен 5-го действия трагедии Вольтера «Брут».

¹⁹² Моск. вестн., 1828, ч. 7, № 2, с. 198; ср. также ч. 12, № 21—22, с. 109—110.

¹⁹³ Сын отечества, 1828, ч. 121, № 18, с. 189.

¹⁹⁴ Там же, с. 189—190.

¹⁹⁵ Моск. телеграф, 1828, ч. 23, № 17, с. 116.

¹⁹⁶ Сев. пчела, 1828, 13 ноября (№ 136).

Искренне уверенный в том, что причиной исчезновения русского «Магомета» из театрального репертуара явилась обветшалость его слога, Остолопов надеялся вдохнуть в него новую жизнь. Но этого не произошло. Перевод был принят к постановке на петербургской сцене, роли распределены (Магомет — Каратыгин, Зопир — Борецкий, Омар — Толченев и т. д.); однако едва Остолопов покинул директорский пост, интерес к его литературному опыту ослабел, если не пропал вовсе.¹⁹⁷

Один «Танкред» ставился по тем временам довольно часто. Этому способствовали своеобразие трагедии, подчас воспринимавшейся как трагедия «романтическая», а также перевод Гнедича, явившийся примечательным фактом русской литературы.¹⁹⁸ Не случайно в роли Танкреда дебютировал крупнейший трагический актер эпохи — В. А. Каратыгин. (Это был его третий дебют: во время предыдущих он играл Фингала и Эдина). «Роль эта, — отмечал в своих «Записках» его младший брат, актер и драматург П. А. Каратыгин, — не так сильна, как две первые, но очень эффектна, симпатична и выгодна для дебютанта: личность благородного, честного и несчастного Танкреда возбуждает в зрителе невольное к нему сочувствие».¹⁹⁹ Как сообщает Арапов, «Аменаиду представляла Колосова». Каратыгин и Колосова выступали в этой трагедии 5 октября 1823 г., а 27 октября 1824 г., гастролируя в Москве, Колосова исполнила роль Аменаиды, в которой, по словам Арапова, «была превосходна».²⁰⁰ «Прекрасной» назвал ее игру в «Танкреде» (и «Мизантропе») И. И. Дмитриев.²⁰¹

Успехом трагедия пользовалась и позднее. Этого не отрицал, например, рецензент «Северной пчелы» М. А. Яковлев²⁰² в своем отзыве о спектакле, состоявшемся в петербургском Малом театре 27 декабря 1830 г. Но, отдавая должное исполнителям (хотя В. А. Каратыгина он упрекал в «излишнем напряжении голоса, доходившего даже до хриплого рева», А. М. Каратыгину — в «неприятном вскрикивании» в сценах «оскорбленной любви» и т. д.), Яковлев изложил в более чем иронических тонах самую трагедию,

¹⁹⁷ О возобновлении «Магомета» в переводе Потемкина в Москве в 1830 г. см.: Дамский журн., 1830, ч. 29, № 8, с. 139—142.

¹⁹⁸ См. перепечатку фрагмента трагедии Гнедича в «Собрании образцовых русских сочинений и переводов в стихах» (ч. 5. Изд. 2-е. СПб., 1822, с. 257—266). На это же указывает переписка Пушкина и Вяземского по поводу одного из стихов русского «Танкреда» (ПНСС, т. 14, с. 23, 24).

¹⁹⁹ Каратыгин П. А. Записки. Л., 1970, с. 90.

²⁰⁰ Арапов П. Н. Летопись русского театра, с. 296, 342, 360.

²⁰¹ Дмитриев И. И. Соч., т. 2. СПб., 1893, с. 287. — См. также: Бочановский В. Ф. К истории русского театра. Письма П. А. Катенина к А. М. Колосовой. 1822—1826. СПб., 1893, с. 47.

²⁰² О нем см.: Могилянскй А. П. Пушкин и М. А. Яковлев. — В кн.: Пушкин и его время, вып. 1. Л., 1962, с. 270—273.

представив ее сплошной цепью всевозможных нелепостей.²⁰³ Читатель рецензии должен был испытать сострадание к даровитым актерам, которым пришлось играть такой вздор. На это, по-видимому, и рассчитывал критик.²⁰⁴

Вообще неприязненное отношение к Вольтеру было весьма характерно для печально знаменитой газеты Булгарина (позднее Булгарина и Греча). «Безнравственный писатель», «вред от чтения Вольтеровых сочинений в нравственном отношении неисчислимо»,²⁰⁵ «сочинения его в нравственном отношении не достойны уважения»,²⁰⁶ — подобные суждения встречаются на ее страницах неоднократно.

Мысль эта не отличалась особой новизной: она на разные лады варьировалась в русской печати начала века; сочувствовал ей и ряд журналов антипросветительской ориентации, издававшихся на протяжении 1820—1830-х гг.²⁰⁷

Для «Вестника Европы» Вольтер-философ был «самохвалом» и «самозванцем», а его «дерзкие сочинения» — одним из доказательств существовавшего во Франции минувшего века «всеобщего разврата». ²⁰⁸ «Легкомысленное и насмешливое неверие, распространенное Вольтером и его последователями», «Вольтеровское вольнодумство» (равно как и «разрушительное» направление философии XVIII в. в целом) осуждал «Европеец». ²⁰⁹ «Сатанинским писателем» называла Вольтера «Библиотека для чтения», — впрочем, находившая у него несравненно больше достоинств, чем у представителей «юной словесности», которым фернейский старик достоин был служить «образцом безнравственной философии». ²¹⁰ Между тем «Телескоп» с возмущением писал о «школе неверия, известного под именем философии осмынадцатого века, коей Ферней был средоточием», предпочитая «безнравственному» наследию Вольтера «картины безнравственности, составляемые нынешнею французскою школою» (т. е. современной французской литературой и «неистовой словесностью» прежде всего). ²¹¹

²⁰³ Сев. пчела, 1831, 2 янв., № 1. — О весьма немногочисленных петербургских постановках «Танкреда» в первой половине 1830-х гг. см.: там же, 1833, 18 дек., № 290—291 и 21 дек., № 294; 1834, 4 янв., № 3.

²⁰⁴ Отзыв о трагедиях «Олимпия», «Триумвират» и «Скифы», относящийся к 1829 г., см. в дневнике пушкинского приятеля А. Н. Вульфа. Там же — редкий для этого времени сочувственный отзыв о вольтеровских «романах» (Вульф А. Н. Дневники. М., 1929, с. 219).

²⁰⁵ Сев. пчела, 1825, 25 июня, № 76.

²⁰⁶ Там же, 1826, 1 мая, № 52.

²⁰⁷ Об этих изданиях см.: Березина В. Г. Русская журналистика второй четверти XIX века. Л., 1965, с. 24—42.

²⁰⁸ Вестн. Европы, 1822, ч. 124, № 9—10, с. 55—56; 1824, ч. 133, № 1, с. 26, 35—37.

²⁰⁹ Европеец, 1832, ч. 1, № 1, с. 18.

²¹⁰ Библиотека для чтения, 1834, т. 1, отд. 2, с. 63—65.

²¹¹ Телескоп, 1831, ч. 2, № 8, с. 543—544; 1834, ч. 21, № 19, с. 149—150, 165. Ср. выразительнейший фрагмент знаменитой диссертации Н. И. Надеждина «De poesi romantica»: «Ныне, когда дух человеческий, отрекаясь

Что же касается «Северной пчелы», то в ее истолковании вольтерьянство оказывалось «практической философией» высшего общества XVIII в. — екатерининских вельмож, некогда побывавших во Франции и возвратившихся оттуда (как скажет впоследствии Ф. Ф. Вигель) «с клеймом Версаля и Фернея»,²¹² но также в какой-то мере их потомков и духовных наследников — представителей «аристократической партии», которым Булгарин и его единомышленники противопоставляли свой «официальный демократизм».

С большой отчетливостью проявилось это в булгаринской прозе. Воплощением «духа философии XVIII века» были Лука Иванович Вороватин, «адские свои правила» прикрывавший «названием новой философии» («Иван Выжигин»),²¹³ граф Хохленков, «философ XVIII века», знавший наизусть Вольтера, Даламбера, Гельвеция, Руссо и всех энциклопедистов («Петр Иванович Выжигин»),²¹⁴ и особенно князь Петр Андреевич Камышенский из повести «Победа от обеда», «ученик и последователь школы энциклопедистов, почитавшей патриархом своим Вольтера». «Нарочно» ездивший в Ферней «поклониться этому великому разрушителю нравственной природы человеческой», близкий друг барона Гольбаха, державшего «притон всем так называемым философам, которые усердно трудились для ниспровержения общественного порядка в уверенности, что они преобразовывают мир к лучшему», он «испил до опьянения из чаши энциклопедической философии» и «ничему не верил, кроме своего желудка». «В сердце его, иссушенном безнадежностью и софисмами, не было ни зла, ни добра: была пустота, которую он думал наполнить чувственными наслаждениями и светским рассеянием».²¹⁵

Сходные мотивы можно найти и у других беллетристов 1830-х гг. — в первую очередь у М. Н. Загоскина в его романе

от сыновней любви к бесконечному, предается весь самому себе — он обрекает себя в добычу неумолимому эгоизму, который, изощряя жало свое на все сущее, погребает наконец самое я свое под развалинами подкупанного им бытия и гибнет в бездонной пучине мрачного ничтожества. Таковое поетическое отступничество в наши времена породило в области подновленного классицизма — Вольтера; в области же омоложенного романтизма — Байрона. Сии две зловещие кометы, производившие и производящие доселе столь сильное и столь пагубное давление на век свой... отсвечивают мрачное пламя одной и той же эстетической преисподней. Кошун французский представляет печальное зрелище духа, который, прорвавшись вне себя, на безбрежный океан бытия и не имея пред очами путеводительной звезды, коей мог бы верить, закруживается и начинает вымещать свое бесприютное скитание шутовским глумлением и арлекинскими выходками против всего, что ни попадает под руки» и т. д. (Вестн. Европы, 1830, № 1, с. 30—31).

²¹² Вигель Ф. Ф. Записки, т. 1. М., 1928, с. 127.

²¹³ Булгарин Ф. В. Полн. собр. соч., т. 1. СПб., 1839, с. 45.

²¹⁴ Там же, т. 4. СПб., 1839, с. 53.

²¹⁵ Сто русских литераторов, т. 2. СПб., 1841, с. 157—158.

«Искуситель».²¹⁶ Отрицание вольтеровской «философии» составляло также основной пафос одной из строф стихотворения Н. И. Иванчина-Писарева «Мудрость», в которой содержалась полемика с «Поэмой на разрушение Лиссабона»,²¹⁷ и огромной поэмы А. Е. Баталина «Послание к Урании против Послания к Урании Вольтера», изданной отдельной книжкой в 1829 г.

«Надобно согласиться, — писал Баталин в предисловии к поэме, — что Вольтер имел великие дарования и обширные сведения. Но нельзя также не согласиться, что он совершенно предан был в плен страстей, из коих славолубие была в нем главной, для которой он готов был жертвовать священнейшими истинами».²¹⁸ «Такой умнейший человек», он был не в состоянии «различить веры от суеверия» и испытывал «величайшую ненависть» к «религии христианской». Как правило, полагал Баталин, Вольтер скрывал свое истинное намерение «под личиной беспристрастия» и вел читателя к «ужасной бездне» для него неприемлемо, «по цветам обольстительной поэзии», и лишь в нескольких сочинениях изменил себе — «сорвал с себя покрывало и показался в настоящем своем виде».²¹⁹ К этим сочинениям и относилось, по его мнению, «Послание к Урании», опровержению которого была посвящена его поэма.

Баталин надеялся споспешествовать «нравственному усовершенствованию» соотечественников, особенно юных, и убедить российских писателей «обратить свои дарования на предметы важнейшие и полезнейшие».²²⁰ Но усердие его, по-видимому, пропало втуне. Во всяком случае единственный отклик на книгу, появившийся в «Московском телеграфе», был далеко не восторженным. «Против остроумия, ловкости, хитрости Вольтера, — указывалось там, — г-н Баталин выставляет — свои стихи, тяжелые, вялые, представляющие набор слов, без всякой логики. Автор хватается и за философию, и за Библию; рассуждает и доказывает текстами библейскими без рассуждений; то бранит философов, то сам ссылается на Вольтера, Беля, Эпикура».

Дело было, однако, не только в этом: самые усилия Баталина рецензент находил бессмысленными и бесцельными. «Мы, новое,

²¹⁶ См.: Загоскин М. Н. Искуситель, ч. 2. М., 1838, с. 128—130, 173, 228—229; ч. 3, с. 163—165. — См. также его прозаический отрывок «Любители словесности» (Тр. Вольного о-ва любителей рос. словесности, 1820, ч. 9, кн. 3, с. 297, 306). Ср.: Тукалевский И. А. Воспоминания. СПб., 1834, с. 85. — Вышедшая в 1833 г. неоконченная «историческая повесть протекшего времени» И. Д. Ертова под названием (данном ей издателем) «Русский Кандид, или Простодушный» к Вольтеру отношения не имела. На это справедливо указал «Московский телеграф» (1833, ч. 50, № 6, с. 247).

²¹⁷ См.: Иванчин-Писарев Н. И. Соч. и переводы в стихах. М., 1849, с. 16.

²¹⁸ Баталин А. Е. Послание к Урании против Послания к Урании Вольтера. М., 1829, с. V.

²¹⁹ Там же, с. VII—VIII.

²²⁰ Там же, с. XV.

молодое поколение, — писал он, — совершенно чужды старого безбожия, безверия французского... Не только французская философия прошла, но даже и из моды вышла повсюду. Вольтера теперь читают, и всегда будут читать, как поэта, умного писателя, но не философа».²²¹

Подчеркивая старомодность вольтеровской (и вообще просветительской) философии, «Московский телеграф» не столько характеризовал реальное положение вещей, сколько обнаруживал свое отношение к отечественным «вольтеристам», в которых видел пережиток прошлого, один из типичнейших атрибутов чуждой ему эпохи. Сам же Вольтер был величайшим выразителем этой эпохи и потому заслуживал уважения: «Вольтер был весь в современности, всю ее выразил, обнял собою», — писал Полевой в «Новом живописце общества и литературы», формулируя более отчетливо мысль, неоднократно возникавшую на страницах его журнала.²²² Но уважение отнюдь не означало бессмертия: в отличие от Данте, Тассо, Шекспира и других «вечных гениев», «Вольтер, — утверждал Полевой в том же очерке, — уже совершенно умер для нас... Вольтер весь жил для толпы своего века, властвовал над толпою своего века и умер с толпою своего века!».²²³

Впрочем, Полевой не мог не признать при этом, что Вольтер явился и одним из предтеч «всеобщего литературного преобразования», иными словами — той «романтической реформы», которой он сочувствовал и за которую неустанно сражался.²²⁴ На это он указывал в рецензии, посвященной «Стихотворениям» М. А. Дмитриева, в которой Вольтер был назван в числе «людей, пробивавших новые пути», в то время как «тысячи рифмачей писали за поем пошлости и лоском посредственности сглаживали все»,²²⁵ а немного позднее — в статье «О романах Виктора Гюго и вообще о новейших романах», полемизируя с Шове, который сожалел об «ужасном безначалии», царящем в «литературной республике», и обвинял современных французских писателей в «дерзком своеправии».²²⁶ «Вольтер, обкрадывавший Шекспира, Дюсис и Делиль, общипывавшие Шекспира и Мильтона, Летуэрнер, восхищавший французов переделкою Оссиана... все это были литературные анархисты, ломавшие треножник классицизма», — писал Полевой. «Если же назовем это анархию, то как не ви-

²²¹ Моск. телеграф, 1829, ч. 29, № 18, с. 252—253.

²²² См., например: там же, 1827, ч. 13, № 4, с. 349; 1831, ч. 37, № 1, с. 14; ч. 38, № 6, с. 161.

²²³ Новый живописец общества и литературы, составленный Николаем Полевым, ч. 5. М., 1832, с. 235.

²²⁴ Об этом см. подробно: Козмин Н. К. Очерки из истории русского романтизма. Н. А. Полевой как выразитель литературных направлений современной ему эпохи. СПб., 1903.

²²⁵ Моск. телеграф, 1831, ч. 37, № 4, с. 520.

²²⁶ См.: Chauvet. Des romans de M. Victor Hugo. — Rev. encyclopédique, 1831, т. 50. p. 81—97.

дать нам, что не нынче только началась сия мнимая анархия, нет!».²²⁷ Представлениям Полевого соответствовали и некоторые суждения о Вольтере в опубликованных им статьях Фердинанда Экштейна и Виктора де Бройля, появившихся в разгар борьбы за романтическую драму. Совсем к Вольтеру не расположенный, Экштейн «уловил», однако, в его драматургии «романтические тенденции»: «Вольтер, иногда с редким счастьем изображавший рыцарские предметы средних веков, показал в „Альзире“, в „Танкреде“, в „Заире“, в „Аделаиде Дюгесклен“, как естественен был бы на французской сцене романтический род и какое народное направление можно было бы ему дать, если бы странные предрассудки не воспротивились тому. Вольтеру не удалось поболее перейти границы искусственных приличий и потому только сочинения его не перенеслись в чистый и простой романтический элемент».²²⁸ На эти же тенденции обращал внимание читателей В. де Бройль, напоминая, что Вольтер «пытался писать трагедии без любви» и «хотел, однажды навсегда, представить нам греков древней Греции, римлян римских, и для большего успеха ему не доставало только лучшего знания их», а также «старался вызвать народные чувства и воспоминания, и в этом имел он много последователей».²²⁹

Однако А. А. Бестужев (теперь он выступал под псевдонимом А. Марлинский) не поддержал и этих более чем скромных попыток «оправдания» Вольтера, присоединившись к точке зрения Полевого, выраженной в «Новом живописце». В напечатанной на страницах «Московского телеграфа»²³⁰ программной (хотя и несколько запоздалой) для русского романтизма статье «О романе Н. Полевого „Клятва при гробе господнем“»²³¹ Бестужев констатировал, что, как ни велика была повсеместно власть Вольтера над современниками, он «не опередил своего века». Иронизируя над теми, кто считает его, «жалкого болтуна, величайшим философом», он не признавал в нем ни творца французской эпопеи, презрительно отзываясь о «надутой Генриаде, этой выношенной до нитки аллегории, которой рукоплескал XVIII век до мозолей,

²²⁷ Моск. телеграф, 1832, ч. 43, № 2, с. 213.

²²⁸ Там же, 1829, ч. 27, № 9, с. 12.

²²⁹ Там же, 1830, ч. 34, № 15, с. 366. — Нечто подобное отмечал в статье «О театре» (возражая А. В. Шлегелю) П. А. Катенин: «Вольтер... вовсе не представитель французского театра, он был первый раскольник, предтеча романтиков»; но в отличие от Полевого Катенин говорил об этом с осуждением, противопоставляя «лже-новаторству» Вольтера «простые, строгие и трудные правила его предшественников», т. е. Корнели и Расина (Лит. газ., 1830, т. 2, № 69, с. 268). См.: Вишневская Г. А. Эстетические взгляды П. А. Катенина. — В кн.: Вопросы романтизма в русской литературе. Казань, 1963, с. 84—116.

²³⁰ Моск. телеграф, 1833, ч. 52, № 15, 16; ч. 53, № 17, 18.

²³¹ См.: Богданова А. А. А. А. Бестужев как переводчик, рецензент и критик. — Учен. зап. Новосиб. пед. ин-та, 1945, вып. 1, с. 104—132; Базанов В. Г. Очерки декабристской литературы. Публицистика, проза, критика. М., 1953, с. 497—503.

зевая под шляпою, и над которой мы даже не зеваем, оттого, что спим», ни драматурга («Зажмурьте глаза — и вы не узнаете, кто говорит: Оросман или Альзира, Китайская сирота или камер-юнкер Людовика XIV»). Вольтер был для него лишь «трибуном своего века», «представителем своего народа». Представителем же романтизма «в эту пору вещественности» являлся, по его мнению, «независимый чудак» Руссо.²³²

В том же лагере находился другой писатель-декабрист — В. К. Кюхельбекер, относившийся к Вольтеру без большого энтузиазма с юных лет. Правда, Вольтер присутствовал в его лицейском «Словаре» — обширной серии выписок по всевозможным философско-этическим и литературно-эстетическим вопросам, почерпнутых у различных авторов, древних и новых,²³³ и упоминался в нескольких его статьях 1820-х гг., но в «Словаре» Вольтер цитировался меньше, нежели Вейс, Шиллер и Ж.-Ж. Руссо; в статье «Взгляд на текущую словесность» утверждалось, что высокие достоинства вольтеровских речей в стихах не спасают жанр, к которому они относятся, — «поэзию дидактическую, или поучительную», столь излюбленную в XVIII в.;²³⁴ в другом очерке о самих этих временах, «временах Вольтера и Фридриха», говорилось с осуждением, как об эпохе «мнимого просвещения»;²³⁵ наконец, в статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» Вольтеру, «который был чужд истинной поэзии», противопоставлялся «достойный наследник древних трагиков» Расин.²³⁶ В отличие от Расина, в отличие от «исполина между исполинами» Гомера, в отличие от «великого Гёте» и «огромного Шекспира», Вольтер, по мысли Кюхельбекера, не мог дать новому, романтическому направлению в русской поэзии — и вообще литературе — ничего.²³⁷

На протяжении 1830-х гг. эти тенденции получают дальнейшее развитие, подкрепленное все усиливающейся религиозностью Кюхельбекера и обстоятельствами его жизни: из тюремного каземата, из далекой сибирской ссылки Вольтер кажется ему неким чудовищем, воплощением бессердечия, лицемерия и эгоизма; человек же, пишет он в этой связи матери 28 июня 1834 г. из Свеа-

²³² Бестужев-Марлинский А. А. Соч., т. 2. М., 1958, с. 571, 583, 585. — Отрицательную оценку Вольтера-историка см. в его письме к Н. А. и М. А. Бестужевым (там же, с. 666). С целью показать несовершенство вольтеровской «Истории Российской империи при Петре Великом» были дважды напечатаны тогда замечания на это сочинение Ломоносова, в обоих случаях сообщенные П. А. Мухомовым. См.: Моск. телеграф, 1828, ч. 20, № 6, с. 151—159; Моск. вестн., 1829, ч. 5, с. 158—163.

²³³ См.: Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники, с. 248—251.

²³⁴ Невский зритель, 1820, ч. 1, № 2, с. 119.

²³⁵ Там же, с. 44.

²³⁶ Мнемозина, 1824, ч. 2, с. 41.

²³⁷ См.: Мордовченко Н. И. Русская критика первой четверти XIX века. М.—Л., 1959, с. 218—219.

борга, «трудно отделим от писателя: скудость сердца вредит, конечно, и таланту».²³⁸

Однако в названном письме характеристика Вольтера была приведена главным образом для выражения возросшей неприязни к «позднему Гёте», «Гёте-олимпийцу». «Гёте... Вольтер немец», — так формулирует свою мысль Кюхельбекер, впрочем отказываясь поставить между ними знак равенства («Велика все-таки разница между Гёте и Вольтером: Гёте — поэт, Вольтер — нет»).²³⁹

Непосредственно Вольтеру было посвящено другое письмо (точнее — его первая половина), написанное 28 февраля 1836 г. из Баргузина племяннице — А. Г. Глинке: «Ты спрашиваешь, почему не желаю, чтоб вы прочли или перечли трагедии Вольтера, — и полагаешь, что в них нет ничего безнравственного. — Безнравственность писателей бывает двоякая. Одна откровенная, искренняя или, если угодно, бесстыдная. Эта гораздо менее опасна, потому что сама по себе отвратительна. Книги, в которых господствует она, сами выпадут из рук ваших и для вас едва ли могут быть вредны. Ею напитаны Вольтеровы сказки, его Кандид etc. etc. — В трагедиях он все тот же Вольтер, но гораздо чопорнее и осторожнее. Тут у него третье слово *vertu, humanité* и пр. Между тем и тут он проповедник безверия; и тут вооружается в так называемых *vers à retenir* противу всего, что удерживает и обуздывает человеческие страсти. Его Альзира энциклопедист, переряженный и довольно неловко в американку. Магомет написан с тем, чтобы выставить напоказ всю пагубность религиозного энтузиазма. Заира, чтоб доказать, как противуестественны некоторые постановления латинской церкви. Не вступаю за эти постановления, — но из всего сказанного видишь, каково направление его трагедий и самых даже лучших. — Везде философия 18 века, везде сам Вольтер: природы, действующих *живых* лиц, сердца человеческого — не ищи; они изредка только, почти противу воли автора, являются в стихах, где Вольтер, человек с огромным талантом, забывается, где на минуту из его памяти изглаживается, что он оракул и патриарх своих приверженцев и поклонников. Не верь, чтобы тот, кто сегодня черен, мог вчера или завтра быть белым».²⁴⁰

Таков был приговор Кюхельбекера «веку Вольтера» и в первую очередь самому фернейскому мудрецу, вынесенный, впрочем,

²³⁸ Лит. наследство, т. 59, с. 427—428 (пер. с нем.). — Ср. в письме С. П. Трубецкого к А. Ф. фон дер Бриггену (сент. 1846): «Поэты с горячими чувствами долго не живут. Долго жили Гёте, Вольтер, люди холодные» (там же, с. 474).

²³⁹ См.: Жирмунский В. М. Гёте в русской литературе. Л., 1937, с. 150—153.

²⁴⁰ В. К. Кюхельбекер в крепостях и в ссылке (новые материалы). Публикация В. Н. Орлова. — В кн.: Декабристы и их время. Материалы и сообщения. М.—Л., 1951, с. 61.

не без колебаний и сомнений, в какой-то мере отразившихся в его дневнике, в записях от 19 сентября 1832, 8 февраля и 29 марта 1834, 8 мая 1839 гг.²⁴¹ В несколько сглаженной форме приговор этот проник и в печать: он был заключен в мистерии «Ижорский».²⁴²

Критика Вольтера с романтических позиций присутствует и в некоторых других стихотворных сочинениях 30-х гг.,²⁴³ а также в ученых трудах — переводных и оригинальных: в «Очерке французской литературы XVIII века» Проспера де Баранта, с одной стороны, в «Очерке русской словесности XVIII столетия» Н. Стрекалова и «Чтениях о словесности» И. И. Давыдова — с другой.

Рассматривая (в отличие от историков и публицистов консервативного направления) французскую литературу XVIII в. не как причину революционных «экспессов», а как «следствие внутреннего расстройства в общественной организации», как один из «симптомов общественной болезни» (именно так — весьма точно — определил его замысел русский переводчик книги Ф. Молдинский), Барант инкриминировал Вольтеру полнейшую зависимость от «мнений». С необычайной щедростью одаренный природой, «окруженный необыкновенною славой», «по-царски располагавший литературою», он был увлечен «потоком своего века» и «вдался в цинизм, извинительный еще в своевольной молодости, но никак не приличный сединам — символу мудрости и чистоты». Вместо того чтобы «призывать» молодое поколение к «здравому вкусу и доброму чувству порядка и приличий», он «хотел смеяться над всем», — впрочем, не помышляя все ниспровергать. Новому веку Барант желал «меньше славы и блеска, но больше добродетели и счастья», Вольтер же мог способствовать этому лишь в самой незначительной мере.²⁴⁴

«Зиждительному» XIX веку отдавал предпочтение Н. Стрекалов. Он осуждал «ложное учение энциклопедистов, имевших такое странное понятие о боге, человеке и природе», — Кондильяка, Дидро, Даламбера и других, выступавших «под знаменем Вольтера», «великого представителя и славы и бесславия своего вре-

²⁴¹ См.: Дневник В. К. Кюхельбекера. Л., 1929, с. 77, 166, 173, 254.

²⁴² Ижорский. Мистерия. СПб., 1835, с. 25.

²⁴³ См., например, стихотворение Е. П. Зайцевского «Швейцария» (Телескоп, 1832, ч. 8, № 7, с. 322) и «Размышление над головою Вольтера, подаренной мне Кат. Ник. Орловой» В. П. Горчакова (кашиновского знакомого Пушкина), написанное в 1839 г. (впервые напеч. Новые Прописи, т. 1. М., 1923, с. 15—16). См. также «Взгляд на поэзию» Феофила Доброхотова (М., 1838), где «Виландам, Байроном, Волтерам», которые «умом не светят, лишь блестят», противопоставлялись «истинные поэты» — «Клопштоки, Данты, Ламартины, Мильтоны», «яркие картины» которых «блестят... светлой мысли чистотой».

²⁴⁴ См.: Барант. Французская литература в течение XVIII столетия. СПб., 1837, с. 33, 46, 174. — Ср. посвященный Вольтеру фрагмент в «Essai sur le caractère du XVIII siècle» Фр. Ансильона, опубл. в «Московском наблюдателе» (1838, ч. 15, кн. 1, с. 315—319).

мени». Для Стрекалова Вольтер — прежде всего «философ», разрушавший «в умственном мире все прежние формы». Даже поэзия служила ему лишь трибуной, лишь «средством»: во всех его поэмах и трагедиях нашла отчетливое выражение «мысль современной философии». Вольтер, полагал Стрекалов, был единственным замечательным поэтом своего чуждого поэзии века, но как далеко было ему до «великих народных гениев» — Шиллера и Гёте!²⁴⁵

«Новой» — романтической — литературе сочувствовал и профессор Московского университета И. И. Давыдов,²⁴⁶ независимо от того, говорил ли он о поэзии эпической, или драматической, или о прозаических жанрах. Признавая достоинства Вольтера и его художественные открытия, он все же ставил много выше Милтона — творца «Потерянного рая», Клоппштока — творца «Мессиады»,²⁴⁷ Шекспира и Кальдерона — создателей «народного и самобытно утвердившегося театра»,²⁴⁸ а также Гофмана и Тика, авторов «повестей», «где жизнь представляется торжественным оправданием высших философских идей, философией в лицах», тогда как «философическая повесть» минувшего века, «увлекаясь духом ложной, односторонней системы ... умышленно отрывала от великой картины лоскутки, не имевшие целостности, и лукаво заставляла их лжесвидетельствовать в свою пользу».²⁴⁹

Таким образом, в сочинениях самых разных жанров, несходных по своей направленности, манере и художественному уровню, звучал в 1820—1830-х гг. голос русских противников «злобного фернейского писателя» — «дерзкого» Вольтера.²⁵⁰ Конечно, всех их, к каким бы общественным и литературным кругам они ни принадлежали, вдохновляло сознание «необходимости» и «полезности» этой борьбы (к тому же встречавшей неизменно благосклонное отношение властей).²⁵¹ Однако действовала

²⁴⁵ См.: Стрекалов Н. Очерк русской словесности XVIII столетия. СПб., 1837, с. 45, 65, 66. — Ранее Вольтера и Гёте — в ином плане — сопоставлял в речи памяти Гёте, произнесенной «в торжественном собрании Академии наук, ее президент и будущий министр народного просвещения — С. С. Уваров. Вольтер, полагал он, «умы своего века покорил... угодивостью», Гёте — «открытым и постоянным противоборством»; всегда и во всем автор «Фауста» оставался аристократом, «явно обнаруживая презрение к торжествующим мнениям черни» (О Гёте. М., 1833, с. 15—18; пер. с франц.).

²⁴⁶ О нем см.: Ковалевский М. М. Борьба немецкого влияния с французским в конце XVIII и в первой половине XIX столетия. — Вестн. Европы, 1915, № 10, с. 144—145; Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский, т. 1, ч. 1. М., 1913, с. 21—68.

²⁴⁷ Давыдов И. И. Чтения о словесности, курс 3-й. М., 1838, с. 277—282.

²⁴⁸ Там же, курс 4-й. М., 1838, с. 169—184, 200. (Ср.: Яковлевский Н. Театр во Франции от XIV до XIX столетия. — Вестн. Европы, 1840, с. 140).

²⁴⁹ Давыдов И. И. Чтения о словесности, курс 3-й, с. 342.

²⁵⁰ Памятник отечественных муз. СПб., 1828, с. 276; Гераков Г. В. Путевые записки по многим российским губерниям. Пг., 1828, с. 142.

²⁵¹ См., в частности: Николай Михайлович, вел. кн. Император Александр I. Опыт исторического исследования, т. 1. СПб., 1912, с. 543,

здесь и сила инерции: Вольтера все меньше переводили у нас и переиздавали, и одновременно все более вялой становилась борьба за него на страницах русских журналов, еще недавно писавших о нем с благожелательностью и даже восторгом.

Такие дифирамбические суждения о Вольтере встречались в «Трудах Вольного общества любителей российской словесности»,²⁵² «Благонамеренном»,²⁵³ «Атенее»,²⁵⁴ в «Дамском журнале» П. И. Шаликова и журнале С. Е. Раича «Галатее».

В «Дамском журнале» с этой точки зрения примечательны изложение «Записок о Вольтере и его сочинениях» Лоншана и Вальера; диалог «Вольтер и Тассе», в котором речь шла о Вольтере — авторе «Генриады» и вообще о его судьбе при жизни и после смерти; наконец, «Повесть странника о страннике» С. Н. Глинки, где Вольтер был назван «исполином-литератором осьмнадцатого столетия»,²⁵⁵ и др. Что же касается «Галатеи», то Вольтеру в ней была посвящена обширная статья (заимствованная из «одного иностранного журнала»).

Словно в «старые добрые времена», в этой статье о «недостатках» Вольтера упоминалось лишь вскользь, между тем о великих его достоинствах и заслугах перед человечеством говорилось подробно и в самых высоких тонах. «Вольтер одним собою представляет осьмнадцатое столетие. Он прошел его почти все от начала до конца; наполнил его своими произведениями и влиянием, был в сношениях с замечательнейшими людьми сего времени; ускорил достопамятные перемены, ознаменовавшие его», — указывалось в начале статьи, а затем в соответствующих выражениях характеризовались все важнейшие его произведения и в том числе «романы, в коих нравouchение скрыто под формами новыми и пленительными», а также все без исключения виды деятельности этого «Протея времен новейших».²⁵⁶

Ничего подобного в следующем десятилетии на русском языке не появлялось. Более других Вольтеру сочувствовал «Сын отечества», но и он постоянно колебался в своих оценках.²⁵⁷ К тому же сочувствие журнала подчас сводилось к ссылкам и ци-

547, 555; Врангель Н. Н. Искусство и государь Николай Павлович. — Старые годы, 1913, июль—сент., с. 57.

²⁵² См.: Тр. Вольного о-ва любителей рос. словесности, 1820, ч. 11, кн. 9, с. 276—277; ч. 17, кн. 25, с. 83; 1821, ч. 19, кн. 29, с. 68; 1824, ч. 27, кн. 3, с. 286.

²⁵³ См.: Благонамеренный, 1825, ч. 30, № 22, с. 286—287; ч. 31, № 37—38, с. 365—370; 1826, ч. 32, № 5, с. 259—217.

²⁵⁴ См.: Атеней, 1829, ч. 3, июль, с. 6—7, 8, 10; ч. 4, окт., с. 42—43; дек., с. 525.

²⁵⁵ См.: Дамский журн., 1826, ч. 14, № 8, с. 79—86; 1828, ч. 23, № 16, с. 148—153; 1832, ч. 38, № 20, с. 100.

²⁵⁶ Галатее, 1830, ч. 11, № 3, с. 123—132; № 4, с. 183—202; № 5, с. 241—257.

²⁵⁷ См.: Сын отечества, 1831, т. 24, № 45, с. 35; № 47, с. 142, 151; 1834, т. 45, № 39, с. 295; 1835, т. 50, № 30, с. 170, 176, 177, 186, 187, 189; 1836, т. 179, № 29, с. 65; 1837, т. 186, № 15, с. 323; 1838, т. 6, отд. 3, с. 142—186.

татам, а это почти ничего не означало: трудно назвать издание тех лет, где не было бы всевозможных вольтеровских реминисценций, равно как и анекдотов о нем, издавна имевших хождение в русской читательской среде. Далеко не всегда о вольтерьянстве свидетельствовало теперь и традиционное для русских путешественников посещение Фернея.²⁵⁸

«После обеда ездили мы в Ферней, — сообщал в опубликованных на страницах альманаха «Полярная звезда» «Письмах о Швейцарии» Н. И. Греч, который побывал там в сентябре 1817 г. — Надобно иметь самое пылкое и творческое воображение, чтоб представить себе в этом небольшом обветшалом доме бывшую столицу Европейского Философа, из которой он переписывался с государами, трогал, смешил, дурачил и обманывал Европу... Осмотрев все уголки знаменитого издателя Фернея и повторив замечание, сколь тленны и скоропреходящи величие и слава в сем мире, мы сели в *chag-à-banc*... и воротились в Женеву».²⁵⁹

Еще сдержаннее был В. А. Жуковский в «Отрывках из письма о Швейцарии», также напечатанных в «Полярной звезде» (в основе этого фрагмента лежала дневниковая запись от 24 августа 1821 г.).²⁶⁰ Правда, анонимный автор «Выписки из рукописи под заглавием: „Поездка в дилижансе из Парижа в Экс-Савойский“, „вошед в комнаты Вольтера не мог... воздержаться от некоторого душевного волнения“, но и вступление к отрывку, и юмористический рассказ об англичанине, который из стены дома выломал на память камень, снижали впечатление, как, впрочем, и самое описание вольтеровского замка: «Кровать, картины, портреты, и аллея, по коей он любил гулять, не разгорячили моего воображения, и после мгновенного энтузиазма я глядел на все прочее, как на дом, сад и утварь обыкновенного помещика».²⁶¹ С предельным лаконизмом осветил в дневнике свою поездку в Ферней 10/28 октября 1835 г. Н. А. Муханов.²⁶²

²⁵⁸ См.: Алексеев М. П. К истории русского вольтерьянства в XIX в. — В кн.: Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры, с. 302—341. — Попутно отметим упоминания о Вольтере в связи с посещением Потсдама — в «Походных записках русского офицера» И. И. Лажечникова (СПб., 1820, с. 280—281) и в «Прогулке за границу» П. И. Сумарокова (ч. 1. СПб., 1821, с. 108). Последнее сочинение заключало в себе одну из самых злобных в литературе тех лет характеристик Вольтера — вдохновителя революции, «изопренным ножом» которого «отделилась от тела» глава несчастного Людовика XVI (там же, с. 130—133).

²⁵⁹ Полярная звезда. М.—Л., 1960, с. 97—98 (1823 г.).

²⁶⁰ См.: там же, с. 583—584 (1825 г.). — Ср.: Жуковский В. А. Дневники. СПб., 1903, с. 136—137.

²⁶¹ Лит. газ., 1830, т. 2, № 37, с. 4—5. — Ср. переводную статью «Поездка в Ферней» в газете «Бабочка» (1829, 8 июня, № 46, с. 183; другой вариант: Галатея, 1829, ч. 10, № 51, с. 235—242), а также «фернейский эпизод» в мемуарах Ж. Дюкре (Записки г-жи Дюкре о императрице Иозефине, о ее современниках и дворах Наварском и Мальмезонском. СПб., 1834, с. 193—199).

²⁶² См.: ГИМ, ф. 117, № 83, л. 75.

Сильнее других «присутствие» Вольтера в этих давно им покинутых стенах почувствовал Н. В. Гоголь. На это указывают первая фраза соответствующего отрывка в письме к Н. Я. Прокоповичу от 27 сентября н. ст. 1836 г. («Сегодня поутру посетил я старика Волтера») и строки, посвященные описанию комнат фернейского патриарха, которые показались Гоголю «жилыми». «...мне так и представлялось, что вот-вот отворятся двери и войдет старик в знакомом парике, с отстегнутым бантом, как старый Кромид, и спросит: „что вам угодно?“».²⁶³

Однако это было скорее исключением из общего правила. Во всяком случае А. Г. Глаголеву посещение «фернейского замка» в основном послужило поводом для пространных рассуждений о Вольтере — по преимуществу критического свойства. «Ничто не может, — восклицал, в частности, «русский путешественник», — оправдать Вольтера в его преступных покушениях подрывать и потрясти основания христианской веры, столь чистой по своим догматам, святой по своей древности и благодетельной по влиянию на нравственность рода человеческого» и т. п.²⁶⁴ В том же духе высказывался М. П. Погодин в «дорожном дневнике» 1839 г. Словно отвечая И. И. Лажечникову, утверждавшему двумя десятилетиями раньше, что «Эрменонвиль, Ферней, Эванка будут иметь особенную прелесть до тех пор, пока жить будут имена Руссо, Вольтера, Державина»²⁶⁵ (и вступая в противоречие с Гоголем, сообщавшим матери, что «путешественники до сих пор стекаются толпами»²⁶⁶), он констатировал спад интереса к Фернею и, ничуть об этом не сожалев, предрекал ему — в недалеком будущем — полное забвение.²⁶⁷

²⁶³ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. 11. М.—Л., 1952, с. 63.

²⁶⁴ Записки русского путешественника А. Г. Глаголева, ч. 3. СПб., 1837, с. 17—33.

²⁶⁵ Походные записки русского офицера, с. 275—276. — См. также: Лажечников И. И. Соч., т. 1. М., 1963, с. 33, 527.

²⁶⁶ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. 11, с. 67 (письмо от 24 сент./6 окт. 1836 г.). Ср. в Лит. прибавлениях к «Русскому инвалиду» (1837, № 13, с. 126): «Путешественники все еще толпами посещают это святилище остроумия, которое долго озаряло Европу». Заметка вызвана сообщением «Сына отечества», что «Ферней продана с аукционного торга» (1837, ч. 183, № 3, с. 416). Об этом же свидетельствует пародийно-сатирическое изображение «падомничества в Ферней» в «Сенсациях и замечаниях госпожи Курдюковой за границей, дан л'этранже» (рубеж 1830—1840-х гг.):

Пред усадьбой очутилась,
Где жил некогда Вольтер.
Делать нечего, ке фер!
Надо будет восхищаться,
Чтоб ученой показаться,
Хоть и нечему.

(Мятлев И. П. Стихотворения. Сенсации и замечания госпожи Курдюковой. Л., 1969, с. 360).

²⁶⁷ См.: Погодин М. П. Год в чужих краях. 1839. Дорожный дневник, т. 4. М., 1844, с. 161—163.

Таким образом, и в эпоху, прошедшую «под знаком романтизма», Вольтер отнюдь не исчез с горизонта русского общества и русской культуры: его переводили, ставили на сцене, ему подражали, о нем рассуждали и спорили, на него ссылались, к нему обращались в поисках эпитафий и афоризмов.

Однако почти во всех этих проявлениях интереса к Вольтеру весьма отчетливо обнаруживались признаки охлаждения, разочарования, спада. Из всего огромного наследия фернейского патриарха в это время заново было переведено лишь очень немногое: ряд стихотворений, по преимуществу лирических, и самая лирическая из его трагедий — «Заира», а также несколько фрагментов. По-прежнему пользовался успехом у театрального зрителя «Танкред» в переводе Гнедича, но «Магомет», «Альзира», «Китайский сирота», «Семирамида» едва удерживались в репертуаре, да и то в основном благодаря замечательным исполнителям — Семеновой, Каратыгину, Брянскому. Подражали Вольтеру теперь довольно редко. Что же касается споров о нем, то они становились все менее острыми: «закоснелых вольтерьянцев старого века» оставалось сравнительно мало; между тем ровесникам века нового, подпавшим под его «мощные обаяния», он обычно внушал смешанное чувство восхищения и неприязни. Это можно наблюдать даже у Пушкина и Вяземского, хотя в целом оба они относились к Вольтеру с глубочайшим пиететом, ощущая свою близость к нему сильнее (а Вяземский и дольше) других современных им русских поэтов.

Правда, для некоторых участников русского романтического движения Вольтер был неприемлем совершенно. Его искусство казалось им безнадежно устарелым и бесполезным, а сам он — человеком, лишенным сердца и таланта. Но подобная точка зрения являлась все же крайней и относительно редкой. Наиболее типичной была двойственная, сложная оценка Вольтера (да и французского Просвещения вообще), признание его и осуждение одновременно, стремление совместить опыт минувшего века с художественными открытиями недавних лет.

Лишь с окончательной победой реализма эстетическая ценность вольтеровского творчества почти перестала у нас ощущаться, а сфера его воздействия предельно сократилась. «Русский Вольтер» как живое литературное явление утратил свои — некогда столь прочные — позиции и постепенно ушел в прошлое, оставив в русской литературе на редкость обширный и глубокий след.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



«Славнейший пиит», «удивительный Протей словесности», «всеобъемлющий гений» в глазах современников Сумарокова, Карамзина и Пушкина, фернейский мудрец продолжал привлекать к себе русских людей и позднее. Однако теперь он выступал преимущественно в качестве «передового мыслителя», «агитатора», «смелого, неустрашимого борца». «Разрушитель старого», «провозвестник революции», «глашатай нового времени», который «первый соединил и повел за собой читающую Европу к светлому будущему», он служил образцом писателя откровенно тенденциозного, подчинившего свое творчество «утилитарной цели», направившего литературу на служение общественной пользе, писателя «популярного» и «понятного для всех».

Особый интерес к этому «патриарху свободно-европейской мысли», к этому «великому отрицателю, пробившему первую и главную брешь в толстой стене предрассудков и суеверий», к этому неутомимому «работнику прогресса» возникал в годы общественного подъема — на рубеже 1850—1860-х гг. и накануне революции 1905 г., а также в юбилейном 1878 г. И все же в сравнении с предшествующим периодом «вольтеризм» этот выглядел весьма скромно. «Эпохой Вольтера» в России было «екатерининское» и «александровское» время. Так думали многие и в середине, и во второй половине прошлого века.

С наибольшей отчетливостью эта точка зрения запечатлелась в русской художественной литературе. Вольтер как излюбленная тема бесед и споров; сочинения его — печатные и рукописные — как почти обязательная принадлежность частных библиотек; вольтеровские реминисценции и афоризмы как характерная особенность речи, — все это неоднократно встречается у поэтов и писателей, классиков отечественной литературы и полузабытых ныне беллетристов, воссоздававших русскую действительность тех лет.

Один из ранних примеров — «Сказка для детей» М. Ю. Лермонтова, по определению В. Г. Белинского — «лучшее, самое зрелое из всех его произведений». Хозяин старинного дома «близ

Невы», где некогда теснилась «былая знать минувшего двора, забытых дел померкшие герои»,

Старик худой и с виду величавый,
Озлобленный на новый век и нравы...
С домашними был строг неумолимо;
Всегда молчал; ходил до двух часов.
Обедал, спал... да иногда томимый
Бессонницей, собранье острых слов
Перебирал или читал Вольтера.¹

Другой пример — повесть А. И. Герцена «Долг прежде всего». Михайло Столыгин, которого двоюродная тетка его отца, княгиня, «выпросила... к себе воспитывать со своим сыном» под «управлением» француза-гувернера Дрейяка («рекомендованного самим Вольтером Шувалову, Шуваловым княгине Дашковой, Дашковой нашей княгине»), преуспел во французской словесности настолько, что «Дрейяк чуть не плакал, видя, как ловко Миша цитирует места из „Кандида“, из „Девы Орлеанской“, из „Жака Фаталиста“». ² Происходило это в середине 1780-х гг.: завершив свое образование, герои повести отправились в Париж и там сделали невольными свидетелями революционных событий.

В связи с изображением русских людей, сформировавшихся в конце XVIII—начале XIX в., о Вольтере не раз вспоминал И. С. Тургенев. Вольтера (а также Дидро, Руссо, Гельвеция и других энциклопедистов) прочно усвоил (под воздействием своего наставника, бывшего аббата-эмигранта) молодой Иван Лаврецкий — к ярости его отца, который в «странном поведении» возвратившегося из Петербурга в деревню Ивана видел следствие порочного французского воспитания. «А все оттого, что Вблтер в голове сидит», — восклицал этот «простой степной барин», который «особенно не жаловал Вольтера да еще „изувера“ Дидерота, хотя ни одной строки из их сочинений не прочел: читать было не по его части» («Дворянское гнездо»). ³ Переписку Вольтера, наряду с другими «французскими сочинениями прошлого столетия», заставлял читать себе в начале 1820-х гг. свою «маленькую лектуру» Иван Матвеевич Колтовский — «совершенный француз», который «жил в Париже до революции, помнил Марию Антуанету, получил приглашение к ней в Трианон; видел и Мирабо» («Несчастная»). ⁴ Наконец, дважды упоминается у Тургенева «„Кандид“ в рукописном переводе 70-х годов». Его вместе с прочими «любопытными» вещами обнаружил Павел Александрович Б., вернувшийся в свое «старое гнездо» после девятилетнего

¹ Лермонтов М. Ю. Соч. в 6-ти т., т. 4. М.—Л., 1955, с. 178. — В первоначальной редакции непосредственно после двух вводных строк следовало: «Вольтера он любил» (там же, с. 368).

² Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 6. М., 1955, с. 274—275.

³ Тургенев И. С. Полн. собр. соч., т. 7. М.—Л., 1964, с. 151.

⁴ Там же, т. 10. М.—Л., 1965, с. 108.

отсутствия («Фауст»)⁵. Такую же «вещь» хранил под изголовьем «в заветном ящике» Фомушка (Фома Лаврентьевич Субочев), «поклонник Вольтера», как его иронически называет Маркелов («Новь»)⁶. Факт этот в обоих случаях был подсказан Тургеневу рукописной книгой, находившейся в его родовой библиотеке в Спасском-Лутовинове и некогда принадлежавшей его двоюродному деду с материнской стороны, А. И. Лутовинову.

К Вольтеру обращался в процессе создания «Войны и мира» Л. Н. Толстой. Так, о нем шла речь в одной из ранних редакций ночного разговора Пьера и Андрея в доме Болконских (т. 1, ч. 1, гл. 6). Пренебрежительно отзываясь о Гёте, которым восторгается Пьер, князь Андрей противопоставляет ему Расина, Руссо — автора «Общественного договора» и Вольтера: «Эту поэзию я понимаю. C'est grand». Для Пьера же поэзия — в равной мере и Гёте, и Вольтер; речи приятеля кажутся ему «святотатственными», он слушает Андрея «с ужасом»: «Нет, ты лишен этого. В тебе нет этого чувства».⁷ Другой эпизод, позднее совершенно исчезнувший, — ссылка на «Альзиру» в беседе Пьера с французским офицером в оставленной русскими войсками Москве (т. 3, ч. 3, гл. 29).⁸ Однако особенно существенно присутствие имени Вольтера в одном из многочисленных вариантов вступления, который представлял собой краткую характеристику начала века: «Пишу о том времени, которое еще цепью воспоминаний связано с нашим, о времени, когда матери наши в робах с короткими талиями при свете восковых и спермацетовых свеч танцевали матрасуры и менуэты, восхищались романами m-me Redcliff и m-me Suza и знали наизусть тирады Racine, Boileau и Corneille, когда отцы наши восхищались мыслями Rousseau и Voltair'ом и еще помнили Екатерину, Фридрихов, Суворовых и Потемкиных так, как мы помним Александров, Наполеонов, Мюратов и Кутузовых. Я говорю о времени первых годов царствования Александра I-го в России и первых годов могущества Наполеона во Франции».⁹

В аналогичной связи можно назвать еще роман А. И. Эртеля «Гарденины», а также «Хронику четырех поколений» Вс. С. Соловьева, «Разоренный год» А. Разина¹⁰ и ряд других, но и при-

⁵ Там же, с. 11.

⁶ Там же, т. 12. М.—Л., 1966, с. 134, 137.

⁷ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 13. М., 1949, с. 230—231. — В окончательном тексте эти рассуждения были сведены к фразе: «Ежели часто Пьера поражало в Андрее отсутствие способности мечтательного философствования (к чему особенно был склонен Пьер), то и в этом он видел не недостаток, но силу».

⁸ См.: там же, т. 14. М., 1953, с. 430.

⁹ Там же, т. 13, с. 75.

¹⁰ Эртель А. И. Гарденины, их дворня, приверженцы и враги. М., 1960, с. 77; Сочинения Вс. С. Соловьева, т. 4. СПб., 1887, с. 19, 90, 140; т. 7, с. 139; Разин А. Разоренный год. Повесть из русской истории. СПб., 1893, с. 23.

веденных случаев достаточно для того, чтобы убедиться, до какой степени интерес к Вольтеру — писателю и человеку — в представлении русских людей второй половины XIX в. был присущ их прадедам, дедам и отцам.

Шли годы, проходили десятилетия; одни общественные идеалы сменялись другими, эволюционировали художественные вкусы, но вклад великого французского просветителя в русскую духовную культуру «осмнадцатого столетия» не забывался. В русском сознании он был своего рода приметой времени, типичным атрибутом, едва ли не символом далекой исторической эпохи.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- БАН — Библиотека Академии наук СССР.
- ГБЛ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина.
- ГИМ — Государственный Исторический музей.
- ГПБ — Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
- ПД — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР.
- ТБ — Ленинградская Театральная библиотека им. А. В. Луначарского.
- ЦГАДА — Центральный государственный архив древних актов.
- ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.
- ЦГИА — Центральный государственный исторический архив СССР.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Август 179
 Авсоний 176
 Аддисон Дж. 85
 Адемар 55
 Азаревичева М. А. 209, 212
 Акохов Т. Е. 116
 Александр I 82, III, 140, 223, 230
 Александренко В. Н. 7, 8
 Алексеев М. П. 4, 30, 37, 97, 145, 178, 180, 187, 225
 Алексеев П. А. 103
 Алексей Петрович 82, 112
 Анастасевич В. Г. 144
 Андре Ш. 48
 Анненков Н. Н. 207
 Ансильон Ф. 222
 Антипатр Фессалоникский 145
 Антипов В. 30
 Антоновский М. И. 103, 104
 Апраксин С. С. 153
 Арабаджин К. И. 31
 Арапов П. Н. 41, 81, 154, 156, 159—162, 164, 211, 212
 Аржанс Ж.-Б. 19
 Ариосто Л. 175
 Аристотель 181
 Арсеньев А. В. 87
 Артамонов С. Д. 5, 44
 Асарк Ж.-П. 166
 Ахматова А. А. 178, 179
- Базанов В. Г. 173, 195, 204, 219
 Байрон Д.-Г.-Н. 169, 202
 Бантыш-Каменский Н. Н. 68
 Баранов В. В. 207
 Баранов Д. О. 99, 100
 Баранов 211
 Барант П. 222
 Баратынский Е. А. 204—208
 Бардовский Я. И. 128
 Барков Д. Н. 166
 Баррюэль О. 125—127, 131
 Барсков Я. Л. 79
 Барсов А. Д. 30
- Бартелеми Ж.-Ж. 121
 Бартенев П. И. 133
 Барятинский А. П. 173
 Бассевич Г. 184
 Баталин А. Е. 217
 Батюшков К. Н. 89, 138, 144, 145, 177
 Бахмутский В. Я. 35
 Бахтин И. И. 53
 Бахтин Н. И. 168, 209
 Бахтин Н. Н. 5
 Башилов С. С. 59, 60
 Бейль П. 217
 Белинский В. Г. 97, 228
 Белоозерская Н. А. 58
 Белье А. 152
 Белляев А. П. 172
 Беницкий А. П. 148
 Бентам И. 171
 Бергманн Б. 110
 Бердяев Н. С. 14
 Бередников Я. И. 157
 Березина В. Г. 16, 215
 Бержерак С.-С. 32
 Берков П. Н. 4, 7, 12, 18, 21, 26, 71, 180
 Бертенсон С. Л. 210
 Берто Ж. 206
 Бертье Г.-Ф. 35
 Бестужев (Марлинский) А. А. 179, 210, 219, 220
 Бестужев М. А. 220
 Бестужев Н. А. 220
 Бестужев-Рюмин М. П. 170
 Бехтеев Ф. Д. 10
 Бечаснов В. А. 171
 Бибииков А. И. 183
 Бланк Б. К. 149
 Бланшар П. 130
 Блудов Д. Н. 87, 196, 197
 Бобринцев-Пушкин Н. С. 171
 Бобров Е. А. 97
 Бобров Е. П. 152
 Богданова А. А. 219
 Богданович И. Ф. 30—33, 42, 77, 104

- Богданович П. И. 59, 61, 65, 106
 Бокаччо Дж. 119
 Болотов А. Т. 81
 Болтин Д. С. 136
 Болтин И. Н. 67
 Болтина Е. Ф. 36
 Болховитинов Е. А. 48, 67, 79, 80
 Бомарше П.-О. 21, 22, 74
 Бомон Э. 65
 Борецкий И. П. 214
 Борисов П. И. 171
 Борноволоков Т. С. 79, 80
 Бородин С. М. 80, 82
 Боцяновский В. Ф. 214
 Бочарников К. 60
 Бочкарев В. А. 157, 208, 211
 Бригген А. Ф. 221
 Бринкен Д. Ф. 147
 Бройль В. 219
 Бросс Ш. 4, 187
 Брусилов Н. П. 136
 Брюсов В. Я. 178
 Брянский Я. Г. 157, 212, 227
 Брянчанинов А. М. 88
 Буало Н. 7, 13, 172, 186, 230
 Будри Д. 174
 Буженинов П. А. 143
 Булгарин Ф. В. 161, 199, 215, 216
 Бурдин С. М. 12
 Бутурлина В. А. 37
 Бурламаки Ж.—Ж. 170

 Валберхова М. И. 154, 161, 209
 Ваньер Ж.-Л. 224
 Вахрамеев И. А. 64
 Вацуро В. Э. 180, 185, 204
 Вейдемейер А. И. 20
 Вейс Х.-Ф. 170, 220
 Великопольский И. Е. 212
 Вельчикова 212
 Вельяшев-Волынцев Д. И. 157
 Вельяшев-Волынцев И. А. 66, 67
 Венгеров С. А. 31, 100, 176
 Вергилий 48, 95, 101, 137, 138, 176, 190
 Вернадский Г. В. 51, 72
 Вигель Ф. Ф. 124, 216
 Виланд К.-М. 169, 222
 Виллар Л.-Э. 55
 Вильбуа Н. П. 184
 Винкель Г.-Ю. 43
 Виноградов В. В. 95, 142, 186
 Виноградов И. И. 55, 66
 Виноградский 211
 Винский Г. С. 68, 133
 Вишиевская Г. А. 219
 Владимир Святославич 112
 Владимирский Г. Д. 180

 Воейков А. Ф. 95, 113, 114, 153, 164, 186, 190—192
 Войтик П. Д. 173
 Волков Ф. Г. 26, 42
 Вольперт Л. И. 178
 Воробьева М. С. 152
 Воронцов А. Р. 12, 13, 27, 108
 Воронцов М. Л. 8, 10
 Воронцов С. Р. 38, 45, 61
 Восленский Д. И. 131
 Востоков А. Х. 145—147, 205
 Врангель Н. Н. 224
 Вронченко М. П. 208
 Всеволодский-Гернгросс В. Н. 37
 Вульф А. Н. 215
 Вяземская В. Ф. 185
 Вяземский П. А. 93, 145, 153, 155, 158, 181, 185, 187, 189—203, 214, 227

 Гаевский В. П. 177
 Галиани Ф. 199
 Галинковский Я. А. 111, 119
 Галль Ф.-Й 170
 Гальен де Сальморан Т.—А. 65
 Гангеблов А. С. 172
 Геерен А.-Л. 171
 Гельведий Кл.-А. 31, 79, 150, 170, 179, 216, 229
 Гене А. 127, 128
 Геннади Г. Н. 208
 Генрих IV 140, 147, 191
 Гераков Г. В. 223
 Герцен А. И. 97, 229
 Геснер С. 95
 Гёте И.-В. 93, 95, 148, 169, 202, 220, 221, 223, 230
 Гибер Ж.-А.-И. 54
 Гизо Ф. 199
 Гиллельсон М. И. 180, 189, 194, 196—198
 Гинзбург Л. Я. 197
 Глаголев А. Г. 157, 211, 226
 Глазунов И. П. 115
 Глебов Г. С. 176
 Глебов И. 93
 Глебов С. И. 34, 52, 54
 Глинка А. Г. 221
 Глинка С. Н. 37, 48, 77, 133—135, 208, 224
 Глинка Ф. Н. 195
 Глюк К.-В. 100
 Глюк Э. 109
 Гляссе А. 176
 Гнедич Н. И. 155—158, 162, 214, 227
 Гоголь Н. В. 226
 Гозенпуд А. А. 33
 Голенищев-Кутузов И. Л. 59, 60, 62, 122
 Голенищев-Кутузов П. И. 118, 165

Голицын А. И. 45, 49, 141
 Голицын А. Н. 194
 Голицын Д. А. 108
 Гольбах П. 171, 179, 216
 Гомер 49, 89, 92, 95, 137, 140, 176, 220
 Гораций 190
 Горбачевский И. И. 171
 Горихвостов Д. П. 136
 Горчаков В. П. 222
 Горчаков Д. П. 55
 Гофман М. Л. 206
 Гофман Э.-Т.-А. 223
 Грамматин Н. Ф. 113, 150
 Греч Н. И. 193, 194, 215, 225
 Грибовский А. М. 105, 106
 Грибоедов А. С. 210, 211
 Григорьева А. Д. 97
 Громницкий П. Ф. 171
 Гроссман Л. П. 186
 Грот К. Я. 174
 Грот Я. К. 58
 Грузинцев А. Н. 162, 164
 Губерти Н. В. 43
 Гудон Ж. 185
 Гуковский Г. А. 17, 23, 24, 43, 46, 48, 52, 59, 70, 85, 88, 95, 96, 179
 Гурьев И. 91
 Гюго В. 3, 207, 218
 Гюйон К.-М. 124, 125

Давыдов В. Л. 178
 Давыдов Д. В. 206
 Давыдов И. И. 222, 223
 Давыдов Н. 150
 Даламбер Ж. 65, 107, 126, 128, 129, 131, 171, 196, 216, 222
 Далион Л. (Алион Л. д') 109
 Дамилавиль Э.-Н. 65
 Дамогацкий П. Н. 125, 126
 Данкур Ф. 32
 Данте 169, 218
 Данше А. 176
 Дашков Д. В. 113, 144, 148, 153, 190
 Дашкова Е. Р. 31, 47, 52, 83, 229
 Делавинь К. 181
 Делиль Ж. 85, 101, 218
 Делиль де ля Саль Ж.-Б.-К. 170
 Делюк Ж.-А. 131
 Дени Л. 149
 Депрео де ля Кондамин С. 136
 Державин Г. Р. 55, 133, 154, 183, 226
 Державин К. Н. 37, 44, 99
 Детуш Ф. 21
 Дефонтен П.-Ф. 178, 193
 Дехтярев П. С. 82
 Дидро Д. 34, 35, 42, 79, 101, 126, 128, 129, 196, 222, 229

Дмитревский И. А. 41, 42, 67, 87, 197
 Дмитриев И. И. 91, 95, 147, 168, 177, 178, 198, 199, 214
 Дмитриев М. А. 31, 68, 218
 Дмитриев-Мамонов Ф. И. 16
 Добровольский Л. М. 208
 Добровольский 162
 Доброхотов Ф. 222
 Довнар-Запольский М. В. 173
 Долгорукий И. М. 87
 Домашнев С. Г. 30, 48, 52
 Дон-Карлос 112
 Дора К.-Ж. 89
 Драганов П. Д. 55, 199
 Драйден Дж. 85
 Дризен Н. В. 37
 Дружинин Н. М. 173
 Дубасов И. И. 78
 Дубецкий Г. П. 130
 Дубровский А. Л. 37, 38
 Дунаева Е. Н. 173
 Дурон Ал. К. 207
 Дурюлин С. Н. 208
 Дынник Т. А. 41
 Дьяконов П. А. 73
 Дюбарри М.-Ж. 106
 Дюкло Ш. 184
 Дюкре Ж. 225
 Дюпре де Сен-Мор Э. 198
 Дюсис Ж.-Ф. 155, 161, 218
 Дюфрени Ш. 32

Еврипид 175
 Екатерина I 109
 Екатерина II 20, 22, 26, 37, 47, 62, 66, 80, 103—107, 110, 114, 180, 183, 192, 197, 200, 204
 Елизавета Петровна 37, 62, 200, 204
 Елизарова Н. А. 34
 Ельчанинов Б. Е. 21, 32, 34
 Емелях Л. И. 64
 Еремеев И. 150
 Еремин М. П. 188
 Ертов И. Д. 217
 Есинов П. П. 152
 Ефимьев Д. В. 149, 150

Жакино О. П. 137, 138
 Жанлис С.-П. 120
 Жан-Поль (Рихтер Ж.-П.-Ф.) 169
 Жирар Г. 7
 Жирмунский В. М. 56, 221
 Жихарев С. П. 152, 153, 158, 159
 Жозефина Бонапарт 225
 Жоли де Флери О. 35
 Жорж М.-Ж. 158—160, 162
 Жоффруа Ж.-Л. 152

Жуковский В. А. 118, 148, 161, 164,
177, 196, 207, 213, 225

Заборов М. А. 66
Завалишин Д. И. 173
Загоскин М. Н. 216
Загоскин Н. П. 152
Зайцевский Е. П. 222
Залкинд Г. 97
Западов В. А. 55, 63
Звегинцев А. 208
Зоил 193
Зорич С. Г. 53
Зотов В. Р. 162

Иаков II 114
Иван VI 62
Иванов И. И. 171
Иванов Ф. Ф. 160
Иванчин-Писарев Н. И. 217
Иевлев В. Т. 43, 44
Измайлов А. Е. 133, 136
Измайлов В. В. 95, 136
Измайлов Н. В. 182
Илличевский А. Д. 177
Ильин Н. И. 41
Иоиль (Быковский И.) 71

Кадлубовский А. П. 4, 89, 179
Кайсаров А. С. 118
Калас Ж. 4, 64—66, 147
Калиграф И. И. 41
Кальдерон П. 223
Камарго М.-А. 99
Каменев Г. П. 97
Камозанс Л. 46, 137
Кандорский И. М. 132
Кантемир А. Д. 7—9, 137
Кантен де ля Тур М. 233
Карабанов П. М. 39—41, 59, 86, 151,
153, 190
Карамзин Н. М. 32, 49, 90—102, 105,
120, 192—196, 202, 228
Каратыгин А. В. 156
Каратыгин В. А. 162, 212, 214, 227
Каратыгин П. А. 214
Каратыгин П. П. 42
Каратыгина А. Д. 151
Карин Ф. Г. 38, 58
Карл V 181
Карл XII 11, 109—111, 181, 184
Каррье Ж.-Б. 114
Картавов П. А. 5
Карцев Ф. И. 58
Катенин П. А. 160, 168, 177, 185, 209,
214, 219
Каховский А. М. 82

Кацпржак Е. И. 120
Каченовский М. Т. 112, 178, 191—
195
Кашпирев В. В. 104
Квашнин-Самарин А. А. 144
Квирина Дж. 9
Кино Ф. 21
Кипренский О. А. 233
Киреевский В. И. 133
Киреевский И. В. 133
Киреевский П. В. 133
Кирпичников А. И. 177
Кислицына Е. Г. 157
Клаудий Хр. 121, 122
Клошток Ф.-Г. 95, 223
Клочков М. В. 81, 82
Клушин А. И. 85
Княжнин Я. Б. 47, 48, 59, 87, 135,
141, 170, 171, 197
Князькова Г. П. 33
Кобеко Д. Ф. 81
Ковалевский Е. П. 166
Ковалевский М. М. 223
Коган Л. А. 168
Коган Ю. Я. 64
Козельский Ф. Я. 43
Козельский Я. П. 30
Козлов В. И. 157
Козловский Ф. А. 20, 21, 42
Козмин Н. К. 218
Козырев И. А. 116
Колосова (Каратыгина) А. М. 211,
214
Колпаков И. И. 233
Колпаков П. Р. 211, 212
Кондильяк Э. 222
Кондорсе А.-Н. 176
Кононович С. С. 121
Констан Б. 179
Конфуций 57
Корнель П. 7, 13, 17, 19, 21, 23, 87,
89, 93, 197, 199, 219, 230
Корнилович А. О. 173
Коровин Г. М. 9
Корш Ф. Е. 178
Костров Е. И. 54, 59
Костыра 171
Коцебу А. 119—121
Кочеткова Н. Д. 55
Кочубей А. В. 203
Краснопольский И. 74
Кребильон П. 44, 135, 161, 166
Крестова Л. В. 71
Кривцов Н. И. 177
Кропотов А. Ф. 135
Крылов А. А. 140
Крылов В. 130
Крылов И. А. 55, 85, 153, 198, 199
Крюков Н. А. 170
Кузьмина В. Д. 57, 71

Кулакова Л. И. 88
Кульман Н. К. 198
Кунин Н. 156
Купреянова Е. Н. 206
Куракин Ф. А. 81
Кутузов А. М. 79
Кюхельбекер В. К. 220—222

Лабомель Л. 186
Лагарш Ж.-Ф. 93, 101, 128, 144, 165,
174, 196

Лажечников И. И. 225, 226
Лазаревич В. В. 53
Лакретель Ж.-Ш.-Д. 134, 170
Ламартин А. 207
Ланкло Н. 209
Ланской Д. С. 67
Лантье Э.-Ф. 145, 172
Лафатер И.-К. 193
Лафинов И. Б. 53
Лафонтен А. 120
Лафонтен Ж. 85
Лашоссе П.-К. 21
Лебедев Е. Н. 68
Лебрен П.-Д. 64, 121
Левашев П. А. 11
Левек П.-Ш. 111
Левин Ю. Д. 30, 59, 96
Левицкий Н. Е. 59, 61, 108, 116, 122
Левченков Ф. 53
Левшин В. А. 72
Лежнев А. З. 186
Лейбниц Г.-В. 55, 105
Лекен А.-Л. 83
Леклерк А.-Г. 67
Лекуврер А. 209
Лемьер А. 44
Ленге С.-Н.-А. 84
Ленц Я. 93

Лермонтов М. Ю. 228, 229
Лернер Н. О. 179, 181, 187, 204
Летуриер П. 218
Лефран де Помпьян Ж.-Ж. 148
Ливанова Т. Н. 100
Лихоткин Г. А. 103
Лобанов М. Е. 158
Лозовский А. П. 207
Ломоносов М. В. 9—12, 46, 137, 150,
220

Лонгинов М. Н. 51
Лоншан С. 224
Лопухин И. В. 72, 79
Лорер Н. И. 173
Лотман Ю. М. 85, 96, 111, 131, 179,
191
Лукаш 46, 137, 139
Лукин В. И. 21, 32, 33
Лутовинов А. И. 230
Львов Н. А. 55

Люблинский А. 171
Люблинский В. С. 4, 104, 187
Люблинский Ю. 171
Людовик XIV 220
Людовик XVI 225
Люлли Ж.-Б. 100
Люпенко Е. П. 139
Ля Барр Л.-Ф. 64
Ля Мартиньер А.-О. 148

Мабли Г. 115
Магомет 57
Майков В. И. 42, 43, 59, 89
Майков Л. Н. 43, 198
Макаров М. Н. 152
Макаров П. И. 145
Макогоненко Г. П. 34, 39
Малеванов Н. А. 174
Мандевиль Б. 98, 147
Мариво П. 32
Марин С. Н. 159—161
Мария-Антуанетта 229
Маркс К. 3
Мармонтель Ж.-Ф. 119, 120, 139
Мартынов Б. Ф. 78
Мартынов И. И. 104, 165
Марциал 190
Маршан Ж.-А. 75
Медведева И. Н. 160
Мейлах Б. С. 174
Мейснер А.-Г. 120
Меллиссино И. И. 37
Мелон Ж.-Ф. 98
Меншиков А. Д. 109, 113
Мережковский Д. С. 82
Мерзляков А. Ф. 139, 169
Мерсье Л.-С. 115, 143
Местр Кс. 198
Метьюрин Ч.-Р. 179
Мещевский А. И. 164
Мещерский В. П. 66
Милонов М. В. 140, 150
Мильтон Дж. 8, 46, 95, 137, 218, 223
Минье Ф. 182
Мирабо О.-Г. 131, 171, 229
Митропольский С. 164
Михайловский Н. М. 11
Михельсон И. И. 183
Мицкевич А. 199
Могиланский А. П. 214
Модзалевский Б. Л. 166, 210, 212
Молдинский Ф. 222
Мольер Ж.-Б. 7, 10, 21, 27
Монбальи Ф.-Ж. 64
Монтескье Ш. 126, 170, 171
Мордовченко Н. И. 120, 220
Мориц К.-Ф. 121
Москотильников С. А. 97, 147
Мочалов П. С. 157

- Мочалов С. Ф. 152
 Мочалова М. С. 211
 Муравьев А. М. 171
 Муравьев М. Н. 88, 89, 145
 Муравьев Н. М. 173
 Мусин-Пушкин А. И. 20, 67
 Муханов Н. А. 225
 Муханов П. А. 220
 Мюллер Й. 171
 Мятлев И. П. 226
- Надаль О. 176
 Надеждин Н. И. 215
 Наполеон Бонапарт 132, 230
 Нарезный В. Т. 134
 Нахимов А. Н. 132
 Невзоров М. И. 131
 Нелединский-Мелецкий Ю. А. 58,
 86, 90, 157, 158
 Немиров С. А. 130
 Неплюев Н. 67
 Нечаев В. Н. 45
 Нечаева В. С. 189
 Нечкина М. В. 5, 171
 Никитенко А. В. 134
 Николай I 184, 188, 224
 Николай Михайлович, в. кн. 223
 Николев Н. П. 25, 38, 89, 205
 Новиков И. 30
 Новиков Н. И. 33, 34, 38, 44, 51, 72,
 78
 Ноннат Кл.-Ф. 35
- Овидий 179
 Огарева Е. С. 190
 Огневский Д. М. 54
 Одоевский А. И. 173
 Одоевский В. Ф. 223
 Озеров В. А. 154, 164, 197, 198, 212
 Ольховский С. В. 58
 Опочинин И. М. 56
 Орлов А. С. 56
 Орлов В. Н. 221
 Орлов Г. Г. 39
 Орлов М. Ф. 173
 Орлов Ф. Г. 39
 Орлова Е. Н. 222
 Осипов Н. М. 116
 Осипов Н. П. 82
 Оссиан 85, 169, 218
 Остервальд Т. И. 37
 Остолопов Н. Ф. 137, 147, 148, 212—
 214
 Отвей Т. 85
 Офман Ф.-Б. 167
 Офрен Ж. 37
- Павел I 81, 82, 103, 105, 114
 Павлов Ф. М. 34
- Павлов-Сильванский Н. П. 170
 Палицын А. А. 29, 107, 142
 Панин Н. И. 183
 Панин П. И. 183
 Панкуч Ш.-Ж. 74
 Панова 153
 Парни Э.-Д. 178, 179
 Паткуль И.-Р. 110
 Пенчко Н. Л. 68
 Перетц В. Н. 5
 Персиц М. М. 64
 Пестель П. И. 173
 Петр I 11, 105, 109—113, 137, 181,
 182, 184, 185
 Петр III 113
 Петров А. А. 91
 Петровский Н. М. 40
 Петрунина Н. Н. 184
 Пибрак Г. 196
 Пигаль Ж.-Б. 70
 Пигарев К. В. 39, 206
 Писарев А. А. 145, 148, 149, 165
 Плавильщиков П. А. 83, 152
 Платон 176
 Платон (Левшин П. Е.) 63
 Плетнев П. А. 148
 Плещеев А. А. 79
 Плещеев М. И. 91
 Плиний Младший 148
 Победоносцев П. В. 110
 Погодин М. П. 226, 227
 Погожев В. П. 210, 212
 Подлисецкий А. И. 107
 Познанский Ю. И. 164, 208
 Покровский М. М. 176
 Полевой Н. А. 218, 219
 Полежаев А. И. 207
 Полонская И. М. 4, 78
 Полторацкий С. Д. 4, 5, 90, 109, 140,
 177
 Полугарский И. И. 211
 Полуниин Ф. А. 59, 61, 81
 Померанцев В. П. 41
 Поп А. 85
 Попов М. И. 59, 60
 Попова М. Н. 12
 Порошин С. А. 37, 81
 Потемкин П. С. 41, 42, 54, 59, 151,
 190, 212
 Потемкин С. П. 42
 Прийма Ф. Я. 8, 11
 Прозоровский А. А. 45
 Прокопович Н. Я. 226
 Протасов А. Я. 28
 Пруайяр (Проярт) Л.-Б. 125
 Путачев Е. И. 183
 Пучкова К. Н. 135
 Пушкин А. С. 3, 4, 174—189, 198,
 199, 201, 203, 204, 206, 213, 214,
 220, 227, 228

- Пушкин В. Л. 148, 153, 168, 185, 186
 Пушкин Л. С. 178
 Пушников Н. О. 21
 Пушин И. И. 176, 177
 Пыпин А. Н. 5
- Радищев А. Н. 13, 48, 56, 57, 78, 170, 175
 Радклиф А. 85, 169, 230
 Раевский В. Ф. 173
 Раевский Н. Н. 145
 Разин А. 230
 Райч С. Е. 224
 Рак В. Д. 53
 Рамо Ж.-Ф. 99, 100
 Расин Ж. 7, 10, 13, 17, 19, 21, 23, 44, 87, 89, 93, 94, 101, 135, 165, 166, 197, 219, 220, 230
 Распопова Н. Н. 27, 37
 Рафаэль (Рафаил) 141
 Рахманинов И. Г. 52, 75—78, 115, 116, 122
 Резанов В. И. 118, 179
 Реизов Б. Г. 183
 Рейналь Г. 42, 171, 196
 Рейхель И.-Г. 30, 31
 Репин Н. П. 171
 Репинский Г. К. 82
 Ржевский А. А. 32, 137, 138
 Ржевский Г. П. 208
 Риголе де Жювины Ж.-М. 127, 129
 Рижский И. С. 84, 85
 Ричардсон С. 119
 Робертсон В. 181
 Рогожин В. Н. 81
 Родзянко А. Г. 204
 Родзянко С. Е. 117, 118
 Родина Т. М. 156
 Розальон-Сошальский 162
 Розанов И. Н. 51, 157
 Рознотовский Е. В. 65, 71
 Ролли П. 7, 8
 Ронсар П. 189
 Рубцов Н. 30
 Румянцев П. А. 183
 Руссо Ж.-Б. 113
 Руссо Ж.-Ж. 30, 31, 33, 42, 71—74, 84, 85, 99, 119, 121, 126, 142—144, 158, 169, 170—173, 190, 195—197, 204, 216, 220, 227, 229, 230
 Рылеев К. Ф. 157, 173
 Рюпельмонд М.-М.-Э. 8
 Рюффе Ж.-Ж.-Р. 188
- Садиков П. А. 82
 Сакулин П. Н. 157, 223
 Саларев Д. 177
 Салтыков Б. М. 200
- Салтыков П. С. 22
 Самойлов А. Н. 78
 Сандунов Н. Н. 187
 Санковский В. Д. 26
 Сахаров Н. Д. 152, 154, 159
 Светлов Л. Б. 16, 44
 Свечин Н. П. 159
 Свистунов П. С. 26, 27
 Сегюр Л.-Ф. 171
 Сей Ж.-Б. 171
 Селивановский Н. С. 121
 Селивановский С. И. 121
 Селис Н.-Ж. 75
 Семевский В. И. 173
 Семеновников В. П. 33, 47, 48, 64, 67, 70
 Семенов Н. Н. 172
 Семенова Е. С. 156, 158—162, 212, 227, 233
 Сен-Дидье И.-Ф. 176
 Сен-Ламбер Ж.-Ф. 85, 101
 Сен-Пьер Ш.-И. 54
 Сериньи Ш. 36
 Сигал Н. А. 28
 Сидорова Ю. Н. 49
 Силлий 46
 Симсон П. Ф. 67
 Синельников Ф. М. 212
 Синовский В. В. 4, 16, 93, 172
 Сирвен П.-П. 4, 64, 65
 Сиряков И. И. 137, 138, 140, 141
 Скаррон П. 92
 Скотт В. 169
 Смиренский Б. В. 187
 Смирнов С. А. 111, 112
 Смирнов Ст. 127, 128
 Снегирев М. М. 128
 Снытко Т. Г. 82
 Соколов А. Н. 46
 Сократ 195
 Соловьев Вс. С. 230
 Сомов О. М. 162, 206, 209, 210
 Сосницкий И. И. 209—211
 Софокл 52, 164, 197
 Спиридов М. Г. 60
 Сталь Ж. 169, 182, 190, 202
 Станкевич А. И. 39
 Сташук Н. И. 78
 Стендаль Ф. 202
 Степанов В. П. 11, 59
 Степанов Н. Л. 198
 Стерн Л. 119
 Стефанович В. Н. 196
 Стороженко Н. И. 117
 Стрекалов Н. 222, 223
 Стремоухов И. В. 150
 Строев П. М. 5, 139
 Струйский Н. Е. 87
 Суворов А. В. 137, 183
 Суза-Ботело А.-М.-Э. 230

- Сумароков А. П. 14, 15—25, 42, 43, 46, 49, 84, 108, 135, 197, 213, 228
 Сумароков П. И. 225
 Сумароков П. П. 53, 90
 Сумцов Н. Ф. 142
 Сухомятинов М. И. 137
 Сушков М. В. 56
 Сытин И. Я. 120
- Тальма Ф.-Ж. 233
 Тарасов Е. И. 173
 Тассо Т. 46, 137, 175, 218, 224
 Тацит 148
 Тейльс Андр. 97
 Теплова В. А. 104
 Тепляков В. Г. 206, 207
 Терновский Ф. А. 80
 Тик Л. 223
 Титов А. А. 36, 64
 Тихонравов Н. С. 39, 45, 96
 Толмачев Я. В. 124
 Толстой Л. Н. 230
 Толстой Я. Н. 197, 210
 Толченов П. И. 214
 Тома А.-Л. 196
 Томашевская Р. Р. 176
 Томашевский Б. В. 4, 174—176, 178—180, 182, 183, 186, 188, 189
 Томсон Дж. 34, 35, 95
 Тредиаковский В. К. 7, 18, 46, 66, 68, 137
 Трефолов Л. Н. 56
 Трубецкой С. П. 221
 Трубле Н.-Ш.-Ж. 190
 Тукалевский И. А. 217
 Туманская С. Г. 204
 Туманский В. И. 203, 204
 Туманский Ф. О. 40
 Тургенев Александр И. 187, 192—194, 198, 199
 Тургенев Андрей И. 118
 Тургенев И. С. 62, 205, 229, 230
 Тургенев Н. И. 172, 173, 187
 Турковский П. Е. 67
 Тучков С. А. 162
 Тынянов Ю. Н. 176, 220
 Тютчев Ф. И. 206
- Уваров С. С. 194, 223
 Умкин А. Д. 5
 Урбанский И. 67
 Уткин Н. И. 233
- Фабнан И. А. 104, 106
 Федоров Б. М. 148, 208
 Фейнберг И. Л. 184
 Филанджери Г. 170
 Филдинг Г. 119
 Филипп II 112
- Флориа Ж.-П. 119
 Фонвизин Д. И. 34, 38, 39, 42, 54, 60, 170, 199—201
 Франклин Б. 171
 Фрейдкина И. С. 39
 Фрерон Э.-К. 28, 148, 178, 185
 Фридрих II 10, 54, 64, 89, 106—108, 126, 208, 220
 Фризма Л. Г. 206
 Фуэре де Монброн Л.-Ш. 18, 19
 Фукидид 148
- Ханьков В. В. 89
 Хардер Х.-Б. 52
 Хвостов А. С. 155, 201
 Хвостов Д. И. 64, 137, 151, 209
 Хемницер И. И. 25, 58
 Херасков М. М. 30, 49—51, 137, 139, 204, 205
 Хитрово Е. М. 182, 189
 Хованский Г. А. 55, 56, 86, 90
 Хованский П. В. 37
 Храповицкий А. В. 103
- Царский И. Н. 5
 Цейтлин А. Г. 157
 Цявловский М. А. 175, 181
- Чайнова О. Э. 41
 Чеботарев Х. А. 77
 Черепнин Л. В. 27
 Черны В. 11
 Чернышев И. Г. 35
 Чернышева Т. П. 52
 Черняев Н. И. 177
 Чосер Дж. 181
 Чуди Т.-А. 12
 Чулков М. Д. 73
 Чхейдзе А. И. 184
- Шабанов М.-П.-Г. 101
 Шаден И.-М. 91
 Шаликов П. И. 85, 135, 224
 Шамрай Д. Д. 16
 Шатле Э. 145, 209
 Шатобриан Ф.-Р. 136, 144, 179
 Шаховской А. А. 154, 158, 161, 164, 208—212
 Шекспир В. 35, 44, 47, 85, 91—95, 101, 148, 166—169, 199, 218, 220, 223
 Шеллер А. И. 140
 Шенье А. 190
 Шереметев Б. П. 109, 113
 Шереметев Н. П. 34
 Шеффер П. Н. 178
 Шиллер Ф. 167, 169, 220, 223

Шильдер Н. К. 82
Шипшов А. А. 212
Шипшов А. С. 134, 148
Шкловский В. Б. 73
Шлегель А.-В. 167, 219
Шлионский Л. И. 178
Шляпкин И. А. 5
Шмидт Х. 155
Шмурло Е. Ф. 11, 80
Шове 218
Шолье Г. 187
Шоме А.-Ж. 35
Штевер Д. 136
Штейнгель В. И. 170
Штранге М. М. 65, 79
Шубников С. А. 146
Шувалов А. П. 108, 229
Шувалов И. И. 9, 42, 108, 109, 112, 184, 200

Щеглова С. А. 27
Щеголев П. Е. 174
Щеников А. Г. 152
Щенкин М. С. 210
Щербатов М. М. 80, 81

Экштейн Ф. 219
Эмин Ф. А. 68, 70
Энгельс Ф. 3
Эпикур 217
Эпине Л.-Ф. 199
Эро-Сешель М.-Ж. 101, 102
Эртель А. И. 230
Эсхил 52
Эфрос А. М. 185

Юм Д. 28
Юнг Э. 47, 85, 95, 96, 169

Языков Д. Д. 4, 117, 122
Яковлев А. С. 151, 154, 156, 159
Яковлев М. А. 214
Яковлев М. Л. 183

Яковлевский Н. 223
Якубович Д. П. 176, 184
Якубович Л. А. 207
Якушкин И. Д. 171
Ясинский Я. И. 182
Ястребцов И. И. 106, 107, 124, 125
Яценко Г. М. 194

Achinger G. 30

Bachman A. 29
Baldensperger F. 91, 125
Behne H. F. Th. 44
Besterman Th. 8
Billaz A. 155
Boss V. 8

Davis R. M. 65
Domergue A. 134

Egilsrud J. S. 74
Ehrard M. 7

Fields M. 100

Girdlestone C. 100
Grasshoff H. 8

Hoffmann P. 11
Howard P. 100

Jusserand J.-J. 91

Labriolle-Rutherford M.-R. 98
Lang D. M. 23
Lowenstein R. 23
Lozinskij G. 8

Mazon A. 7
Mc Kee K. N. 24

Patouillet J. 21

Tieghem P. van 96
Thiergen P. 49
Torrey N. L. 35

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВОЛЬТЕРА *

- Abeilles, Les 147
 A Boileau, ou Mon testament (1769) 186
 Adélaïde du Guesclin (1734, 1766) 45, 88, 219
 Adieux à la vie (1778) 207
 A l'Impératrice de Russie Catherine II (1771) 33, 104
 Alzire (1736) 17, 23—25, 30, 36, 37—41, 44, 45, 81, 89, 151, 153, 190, 200, 219, 227, 230
 A Madame Denis... La vie de Paris et de Versailles (1748) 149
 A Madame du Châtelet (1741) 51, 89, 151, 177, 203
 A Madame la marquise du Châtelet («Tout est égal...») 151
 A Madame la princesse Ulrique de Prusse (1743) 89, 90, 177, 203, 208
 Amélie, ou Le duc de Foix (1752) 19
 A Monseigneur fils unique de Louis XIV (1706 или 1707) 55
 A Monsieur le cardinal Quirini (1751) 9
 A Monsieur le maréchal de Villars (1721) 55
 A Monsieur le marquis d'Adhémar (1757) 55
 Anciens et les Modernes, ou La Toilette de Madame de Pompadour, Les (1765) 56, 121
 André Destouches à Siam (1766) 63
 Anecdotes sur Bélisaire (1767) 77
 Annales de l'Empire depuis Charlemagne (1753) 67, 183
 Apologie de la fable (не позднее 1765) 146
 A propos de la guerre présente en Grèce (1770) 208
 Au roi de Prusse («On dit que tout prédicateur...», 1751) 9
 Au roi de Prusse (1756) 9
 Au roi de Prusse, sur son avènement au trône (1740) 89
 Autre jour, au fond d'un vallon..., L' 148
 Aventure de la mémoire (1733) 63, 76, 77
 Aventure indienne (1766) 59, 121
 Azolan, ou Le Bénéficiaire (1764) 54
 Bababec et les fakirs (1750) 58
 Béguenue, La (1772) 95
 Blanc et le Noir, Le (1764) 60, 61, 121
 Brutus (1730, 1731) 17, 23, 24, 37, 43—45, 52, 82, 89, 213
 Candide, ou L'Optimisme (1759) 58—60, 62, 70, 71, 81, 91, 94, 119, 124, 134, 148, 178, 186, 201, 229
 Catéchisme de l'honnête homme (1763) 64
 Ce qui plaît aux dames (1764) 51, 52
 Chevaux et les ânes, ou Etrennes aux sots, Les (1761) 208
 Commentaires sur Corneille (1764) 23, 165
 Così-Sancta (1746) 122
 Crocheteur borgne, Le (1746) 122
 Défense de mon oncle, La (1767) 121
 De l'horrible danger de la lecture (1765) 63
 Deux amours. A Madame de Rupelmonde, Les (1725) 8

* Все названия и даты приводятся по изд.: Voltaire. Oeuvres compl. Nouv. éd. vol. 1—52. Paris, 1877—1885. Для драматических произведений указываются дата первой постановки и дата выхода в свет.

- Deux consolés, Les (1756) 63
 De votre esprit la force est puis-
 sante... 208
 Dialogue de Pégase et du vieillard
 (1774) 54
 Dialogues et Entretiens philosophi-
 ques 63, 64, 86, 121, 122
 Dictionnaire philosophique, Le (1764)
 4, 110, 169, 171, 172
 Dîner du comte de Boulainvilliers, Le
 (1767) 64
 Discours en vers sur l'homme (1738)
 30, 52, 53, 150, 195
 Droit du seigneur (1762, 1763,) 179
- Ecossaise, L' (1760) 27—29, 45, 156
 Eléments de la philosophie de New-
 ton (1738) 8, 53, 146
 Eloge funèbre de Louis XV (1774) 67
 Eloge funèbre des officiers qui sont
 morts dans la guerre de 1741
 (1748) 67
 Eloge historique de la raison (1774)
 63
 Enfant prodigue, L' (1736, 1737) 27,
 86
 Epigramme sur la mort de M. d'Au-
 be, neveu de M. de Fontenelle
 207
 Epître aux Romains (1768) 172
 Essai historique et critique sur les
 dissensions des Eglises de Po-
 logne (1767) 66
 Essai sur la poésie épique (1726)
 8, 47, 104, 140
 Essai sur les mœurs et l'esprit des
 nations (1756) 66, 67, 182, 183
- Fanatisme, ou Mahomet le prophète,
 Le (1741, 1742) 41—43, 56, 84, 88,
 89, 151, 152, 190, 211—214, 227
 Femme qui a raison, La (1749) 9
- Galimatias pindarique... (1768) 151
- Henriade, La (1723—1728) 17, 19, 26,
 30, 46—49, 51, 83, 85, 88, 89, 91,
 94, 95, 100, 119, 137—141, 143, 171,
 190, 208, 209, 224
 Histoire (1765) 115
 Histoire de Charles XII (1731) 4, 8,
 10, 67, 109, 110, 181, 184
 Histoire de Jenni, ou L'Athée et le
 sage (1775) 59, 61, 62, 121, 122,
 135, 172
 Histoire de l'Empire de Russie sous
 Pierre le Grand (1759—1763) 10,
- 67, 69, 70, 110, 111—113, 115, 181,
 184, 220
 Histoire des croisades (1753) 66
 Histoire des voyages de Scarmentado
 (1756) 59, 62
 Histoire d'un bon bramin (1759) 59,
 63
 Histoire du Parlement de Paris
 (1769) 183
 Homme aux quarante écus, L' (1768)
 59, 61, 62, 121, 122
 Huron, ou L'Ingénu (1767) 58, 59, 61,
 115—117, 122
- Indiscret, L' (1725) 27, 45
 Inscription pour une statue de
 l'Amour dans les jardins de Mai-
 sons (не позднее 1731) 29, 32, 89,
 95, 148
 Instruction du gardien des capucins
 de Raguse... (1768) 64
 Irène (1778, 1779) 39
- Jean qui pleure et qui rit (1772) 90,
 173, 204, 206
 Jeannot et Colin (1764) 59, 60, 122,
 135
- Lettres d'Amabed, Les (1769) 77, 172
 Lettres philosophiques (1734) 29, 30,
 83, 85, 104
 Lois de Minos, Les (1773) 153
- Mariamne (1724, 1725) 17, 209
 Mémoires pour servir à la vie de M.
 de Voltaire, écrits par lui-même
 (1759) 55, 107
 Memnon, ou La Sagesse humaine
 (1750), 13, 59, 61, 86, 121
 Mérope (1743, 1744) 8, 17, 22—25, 30,
 37, 44, 45, 56, 83, 89, 153, 159—
 161, 163, 211
 Micromégas (1752) 12, 14, 16, 17, 52,
 67, 76, 77, 86, 186
 Mondain, Le (1736) 98—100, 179
 Monde comme il va. Vision de Ba-
 bouc, Le (1746) 59
 Mon Henri quatre et ma Zaïre...
 (1745) 55, 208
 Mort de César, La (1743, 1736) 43—
 45, 82, 87, 164, 165
 Mule du pape, La (1733) 89
- Nanine, ou Le Préjugé vaincu (1749)
 27—29, 32, 33, 45, 156

Oedipe (1718, 1719) 26, 37, 45, 91, 94, 209
Olympie (1764, 1763) 88, 215
Oreilles du comte de Chesterfield, Les (1775) 77, 172
Oreste (1750) 162, 164
Orphelin de la Chine, L' (1755) 45, 88, 153—155, 211, 227
Oui, j'en conviens... 181

Pandore (1740) 87
Pauvre diable, Le (1758) 78, 178
Philosophe ignorant, Le (1766) 63
Poème sur la loi naturelle (1752) 30, 55, 142
Poème sur le désastre de Lisbonne (1756) 29—31, 73, 76, 77, 143, 217
Portrait de Madame de Saint-Julien (1769) 206
Pour et le Contre. A Madame de Rupelmonde, Le (1722) 64, 68, 208, 217
Précis de l'Ecclésiaste (1759) 49—51, 95—97, 208
Précis du siècle de Louis XV (1768) 67, 113, 118
Princesse de Babylone, La (1768) 58, 59, 61, 71, 81, 115, 119, 122
Profession de foi des théistes, La (1768) 172
Pucelle d'Orléans, La (1755) 51, 57, 61, 74, 113, 130, 149, 169, 172, 174, 175, 177, 178, 180, 181, 186, 229

Questions sur l'Encyclopédie (1770—1772) 121, 148

Russe à Paris, Le (1760) 78

Samson (1732) 100
Saül (1763) 36, 45
Savez-vous pourquoi. Jérémie... 148
Scythes, Les (1767, 1766) 45, 215
Sémiramis (1748, 1752) 153, 161, 162, 211, 212, 227
Sermon des cinquante (1782) 64
Sermon du pape Nicolas Charisteski (1771) 53
Siècle de Louis XIV, Le (1752) 67, 88, 110, 113, 118, 165
Socrate (1756) 85
Socrate (1759) 34—36, 45

Stances-impromptu fait à un souper dans une cour d'Allemagne (1750) 203
Stances, ou Quatrains, pour tenir lieu de ceux de Pibrac... 198
Sur la guerre des Russes contre les Turcs en 1768 208
Sur Laïs qui remit son miroir dans le temple de Vénus 176
Sur la paix de 1736 77
Sur Léandre qui nageait vers la tour d'Héro pendant une tempête 177
Sur le fanatisme (1732) 77
Sur les sacrifices à Hercule 145, 177
Sur un plus grand théâtre il aurait pu paraître... (1758) 94
Sur une statue de Niobé 177
Sur une statue de Vénus 177

Tactique, La (1773) 53, 54
Tancrede (1760) 30, 45, 89, 153, 155—157, 161, 165, 168, 211, 214, 215, 219, 227
Taureau blanc, Le (1774) 91, 117—121, 124
Temple de l'Amitié, Le (1732) 49, 148
Temple du Goût, Le (1733) 76, 94
Thélème et Macare (1764) 89, 146, 205
Timon (1750) 64
Tocsin des rois, Le (1771) 33, 66
Traduction du poème de Jean Plokof (1770) 33, 53
Traité sur la tolérance (1763) 64
Triolet à Monsieur Titon de Tillet 178
Triumvirat, Le (1764, 1766) 48, 215
Trois Bernards, Les 145
Trois manières, Les 95, 148, 149

Vers composés quelques jours après la mort de Madame du Châtelet (1749) 207
Vers mis au bas d'un portrait de Leibnitz 55
Vous de les Tu, Les 48, 150, 208
Vrai dieu, Le (1715) 77, 84

Zadig, ou La Destinée (1747) 13, 15, 59, 60, 62, 115, 122
Zaïre (1732, 1738) 16, 24, 37, 38, 44, 45, 52, 86—89, 91, 93, 94, 102, 153, 158, 159, 161, 165, 166, 209, 211, 212, 219

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Вольтер. Гравюра с портрета раб. М. Кантена де ля Тура. 1780 (*фрон-тиспис*).
2. «Задиг» Вольтера. Анонимный перевод. Заглавный лист списка 1757 г. ГПБ. (с. 15).
3. «История Российской империи при Петре Великом» Вольтера. Перевод 1761 г. Заглавный лист списка 1770—1780-х гг. ГПБ. (с. 69).
4. «Дух, или Избранные философические мысли г. Волтера». Титульный лист части 1. ГБЛ. Редчайший экземпляр. (с. 123).
5. Вольтер. Гравюра И. И. Колпакова. «Цветник», 1810, ч. 6. БАН. (с. 144).
6. Е. С. Семенова в роли Аменаиды. Гравюра Н. И. Уткина с рис. О. А. Кипренского. (с. 145).
7. Афиша спектакля «Меропа» в петербургском Большом театре. ЦГИА. (с. 163).
8. Вольтер. Рисунок А. С. Пушкина 1825 г. ПД. (с. 176).
9. Ф.-Ж. Тальма в роли Магомета. Гравюра из кн.: Парижские театры, или Собрание замечательнейших театральных костюмов. М., 1829. БАН. Редчайший экземпляр. (с. 177).

О Г Л А В Л Е Н И Е

ПРЕДИСЛОВИЕ

3

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ

7

ГЛАВА ВТОРАЯ

ОТ КЛАССИЦИЗМА К РОМАНТИЗМУ

79

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

РОМАНТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

170

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

228

Список сокращений

232

Указатель имен

233

Указатель произведений Вольтера

242

Список иллюстраций

245

**Петр Романович
Заборов**

**РУССКАЯ
ЛИТЕРАТУРА
—и—
ВОЛЬТЕР**

**XVIII—
ПЕРВАЯ ТРЕТЬ
XIX
ВЕКА**

*Утверждено к печати
Институтом русской литературы
(Пушкинский Дом) АН СССР*

Редактор издательства **Е. А. Смирнова**
Художник **Л. А. Яценко**
Технический редактор **Н. Ф. Виноградова**
Корректоры **Г. А. Мошкина** и **К. С. Фридлянд**

ИБ № 8405

Сдано в набор 09.09.77. Подписано к печати 27.02.78. М-16533.
Формат 60×90^{1/16}. Бумага типографская № 1. Гарнитура
обыкновенная. Печать высокая. Печ. л. 15^{1/2}+3 вкл.
(⁹/₁₆ печ. л.)=15.87 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 19.75. Тираж
11400. Изд. № 6675. Тш. зак. № 728. Цена 1 р. 60 к.

Издательство «Наука», Ленинградское отделение
199164, Ленинград, В-164, Менделеевская линия, д. 1

1-я типография издательства «Наука»

199034, Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12

lib.pushkinskijdom.ru

**КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «НАУКА»
МОЖНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАКАЗАТЬ
В МАГАЗИНАХ КОНТОРЫ «АКАДЕМКНИГА»**

Адреса и почтовые индексы магазинов:

480391 Алма-Ата, ул. Фурманова, 91/97
370005 Баку, ул. Джапаридзе, 13
320005 Днепропетровск, пр. Гагарина, 24
734001 Душанбе, пр. Ленина, 95
375009 Ереван, ул. Туманяна, 31
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 303
252030 Киев, ул. Ленина, 42
277001 Кишинев, ул. Пирогова, 28
343900 Краматорск, ул. Марата, 1
443002 Куйбышев, пр. Ленина, 2
192104 Ленинград, Литейный пр., 57
199164 Ленинград, Таможенный пер., 2
199004 Ленинград, 9 линия, 16
220072 Минск, Ленинский пр., 72
103009 Москва, ул. Горького, 8
117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7
630076 Новосибирск, Красный пр., 51
630090 Новосибирск, Академгородок, Морской пр., 22
620151 Свердловск, ул. Мамина-Сибиряка, 137
700029 Ташкент, ул. Ленина, 73
700100 Ташкент, ул. Шота Руставели, 43
634050 Томск, наб. реки Ушайки, 18
450075 Уфа, Коммунистическая ул., 49
450059 Уфа, ул. Р. Зорге, 10
720001 Фрунзе, бульв. Дзержинского, 42
310003 Харьков, Уфимский пер., 4/6

*Для получения книг почтой заказы просим
направлять по адресу:*

117464 Москва, В-464, Мичуринский пр., 12
Магазин «Книга — почтой» Центральной конторы «Академкнига»

197110 Ленинград, П-110, Петрозаводская ул., 7
Магазин «Книга — почтой» Северо-Западной конторы «Академкнига»